

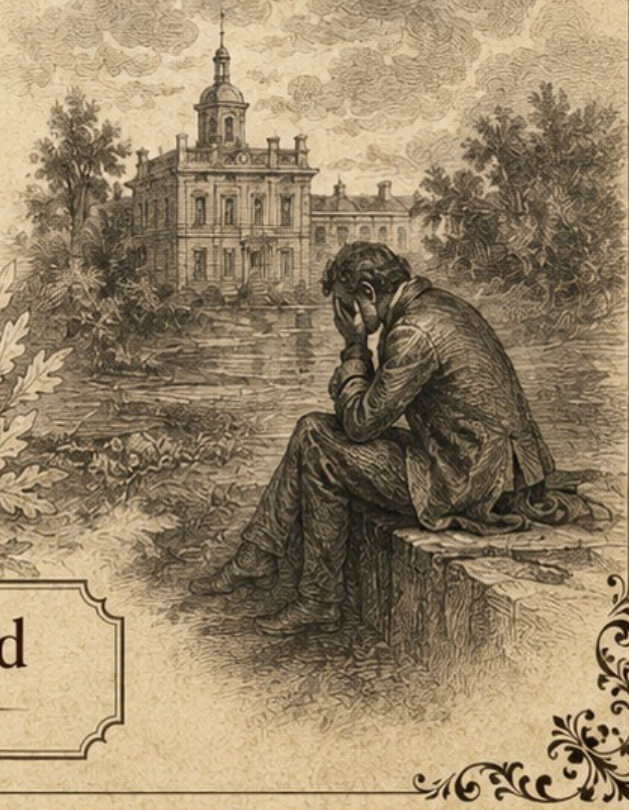
Франсуа Жозеф Виктор Бруссе

О РАЗДРАЖЕНИИ И БЕЗУМИИ.

Сочинение, в котором связи
между физическим и нравственным
установлены на основаниях
физиологической медицины

Перевод с французского

Оригинальное издание
1828 года.



Echafaud

— 2026 —

Франсуа Жозеф Виктор Бруссе

О раздражении и безумии.

Сочинение, в котором связи между физическим и нравственным установлены на основаниях физиологической медицины

Перевод с французского

Оригинальное издание 1828 года.

Содержание

Содержание	1
Предисловие	2
Часть I. Раздражение, рассматриваемое в его применении к здоровью и болезням	12
Глава первая: Понятие о раздражении	12
Глава вторая: История учения о раздражении	14
Глава третья: Принципы физиологической доктрины	36
Глава четвертая: О функциях нервной системы в инстинктивных и интеллектуальных явлениях	45
Глава пятая: О принятых теориях умственных способностей	62
Глава шестая: Развитие связей, существующих между нервным аппаратом и явлениями инстинктивными и интеллектуальными	97
Глава седьмая: О том, как инстинктивные и интеллектуальные явления соотносятся с раздражением	111
Глава восьмая: О роли возбуждения в возникновении болезней.	126
Часть II. О безумии, рассматриваемом согласно физиологическому учению и соотнесенном с феноменом раздражения	155
Глава первая: О причинах безумия	155
Глава вторая: Об инкубации безумия: две формы, заслуживающие внимания	159
Глава третья: Признаки безумия	163
Глава четвертая: Течение, продолжительность, осложнения и исход помешательства	178
Глава пятая: Патологоанатомические исследования умерших безумцев ...	184
Глава шестая: О теориях безумия, согласно воззрениям древних и современников, вплоть до эпохи физиологической медицины	187
Глава седьмая: Теория безумия согласно физиологическому учению	202
Глава восьмая: Прогнозы при безумии	225
Глава девятая: О лечении безумия	230
Дополнения	242

Предисловие

После долгих блужданий медицина, наконец, встает на ту единственную дорогу, которая способна привести её к истине: *наблюдение за взаимоотношениями человека с внешними воздействующими факторами, а также органов человека между собой.* Повсюду этот метод берет верх — как в ученых трудах, так и во врачебной практике, — признают ли это открыто или же уклоняются от признания сего факта. Это — физиологический метод, ибо ему невозможно следовать без изучения самой жизни, которая одна лишь сообщает органам способность подобным образом изменяться. Тем не менее, не стоит впадать в заблуждение: изучать надлежит не абстракцию под названием «жизнь», но живые органы. Если наблюдатель изнуряет себя размышлениями о свойствах и силах, рассматриваемых в отрыве от органов или тел природы, оказывающих на них воздействие, он, несмотря на великие труды, не достигнет своей цели: он не познает ни органов, ни действующих начал; он познает лишь грезы собственного воображения, и разум его будет полон иллюзий. Именно так заблуждались древние, в чем можно будет убедиться из сего труда; ученые нового времени также не избежали этой ловушки, и даже поныне ее готовятся расставить на пути наших современников.

Поскольку подлинное медицинское наблюдение есть изучение органов и факторов, изменяющих их состояние, оно является наблюдением за физическими телами и может осуществляться лишь при посредстве чувств. Следовательно, именно чувства должны поставлять материал, а суждению надлежит выводить из него умозаключения. Однако здесь и кроется ловушка: если врач не выводит умозаключения должным образом или если он имеет несчастье забыть об источнике, из которого они проистекают, он в тот же миг сбивается с пути и устремляется по той ложной дороге, на которую мы только что указали. Сие заблуждение становится тем легче, что сей ложный путь оберегается именами людей выдающихся — личностей, чьи имена внушают почтение и, казалось бы, предписывают полное доверие к их доктринам. Именно под сенью этих почтенных имен, иные из которых дороги всей Франции, *познание через посредство чувств* обесценивается и рискует окончательно впасть в немилость. Однако не следует забывать об одном важном различии, о великой истине практического применения. Если абстрактные понятия — такие как права, законность, свобода, бескорыстие, величие души — могут направлять лишь к деяниям благим, полезным для общественного блага и славы нации, то совсем иное дело слова: жизненные свойства, жизненные силы, врачующая природа, специфические средства, заражение и им подобные. Они также являют собой абстракции человеческого разума, но ими чрезвычайно легко злоупотребить; иными словами — под их прикрытием можно навязать живому организму изменения, пагубные как для здоровья каждого отдельного человека, так и для блага общества в целом. Таким образом, метод философствования, который мог бы иметь успех в политике или

дипломатии, не всегда применим к медицине; и если в этих двух науках, так же как и в искусствах, достаточно позволять чувству прекрасного, великого, справедливого направлять себя, не стремясь углубиться в то, как возникли эти понятия, то в медицине дело обстоит иначе - особенно когда речь идет о предписании режима и лечения страждущему человеку или о решении вопросов, касающихся общественного здоровья. Эти вопросы не могут быть решены чувством или вдохновением. Средства воздействия не влияют непосредственно на такие отвлеченные сущности, как *жизненная сила, природа, первоначало*. Они влияют на них только после воздействия на органы, и, если удар разрушил последние, тогда зло, порожденное абстрактной идеей, отныне будет непоправимо. В политике же, напротив, результаты применения ложного принципа могут быть оценены прежде, чем он поставит под угрозу существования общественного организма, потому что нации более крепки, чем индивиды. Безусловно, без жертв не обходится, однако их страдания становятся заметны, если соблюдается свобода прессы, и тогда массы можно оградить от подобных бедствий.

Общество может, таким образом, совершенствоваться посредством эмпиризма, вне зависимости от первых принципов: его можно сделать равно счастливым или несчастным во имя Бога, во имя государя или во имя законов; лишь последующий опыт определяет, какой из этих трех побудительных мотивов приносит наиболее прочное благо или же зло, которое легче всего исправить. Впрочем, в политике крайне мало значит, исходит ли идея справедливого и несправедливого из чувственного восприятия или из внутреннего откровения. Необходимо лишь, чтобы законы были благими, а опыт вскоре вынесет свой вердикт об их достоинствах и недостатках; каждый сможет их засвидетельствовать, и каждый будет вынужден с ними согласиться. Совсем иначе обстоит дело в медицине, пока вред, приносимый модификаторами, враждебными нашим органам, может быть приписан неким сущностям болезней; причина тому кроется в том, что врач-эмпирик не извлекает уроков из своих ошибок; опыт для него потерян; он ограничивается тем, что жалеет своего больного, и продолжает со спокойной совестью поражать другие жертвы. Таким образом, главной целью врача является точное определение самого понятия болезни, и он не может достичь этого, не осознав того, как эта идея сформировалась в его уме, то есть не углубившись в смысл слов *жизненные свойства, жизненные силы, жизненные законы*, чтобы узнать смысл слов *гнилостные лихорадки, злокачественные лихорадки* и т. д. и т. п.

Поэтому крайне необходимо, чтобы врач всегда держал в уме материальную природу органов и никогда не забывал, что абстрактные идеи науки, которую он изучает, пришли к нему через чувства, и что он не может без опасности приступать к изучению человека на основе принципов *a priori*.

Цель этого труда состоит прежде всего в том, чтобы сделать эту истину очевидной и уберечь медицину от того вреда, который способна причинить ей философская секта, по самой своей природе склонная к экспансии. Отсюда для нас

возникает необходимость дать молодым врачам, которых могут обольстить ложные системы, представление о психологической доктрине, которая наступает на них с развернутым знаменем и уже льстит себя надеждой на легкую победу.

Вступив на путь наблюдения благодаря идеям Декарта о методе и советам Бэкона, просвещенные относительно природы познавательного инструмента трудами Локка и Кондильяка, французы ревностно и единодушно трудились над расширением круга всех полезных знаний. Именно этому единству усилий физика, химия и естествознание обязаны теми успехами, что выделяют их в нашем отечестве и дали столь мощный толчок развитию промышленности. Настал черед и медицины: исследования в этой науке, прежде всегда бывшие расплывчатыми, начинали становиться точными с тех пор, как к экспериментальному методу великого Галлера она добавила сравнение больных органов с симптомами, а также изучение жизненных свойств и сил при патологических изменениях. Профессор Шосье в своих превосходных таблицах так хорошо наметил путь физиологического наблюдения, что казалось невозможным даже помыслить об отступлении от него; Пинель предпринял попытку философского анализа болезней, и если он не вполне преуспел в этом великом предприятии, то, по крайней мере, высказал некоторые идеи, которые гений Биша удачно оплодотворил и которые позволили ему заложить прочные основы патологии путем подлинного анализа тканей, составляющих человеческое тело. Мы все вели наблюдения согласованно, руководствуясь собственными чувствами; мы пользовались наставлениями Кондильяка, дабы совершенствовать наш научный язык; рассудительный и глубокий Дестют де Траси оказывал нам мощную поддержку в этой трудной задаче, завершение которой одно только может гарантировать человечеству сохранение тех знаний, которые дались ему с таким огромным трудом.

Ученые изыскания Кабаниса обеспечили нашему отечеству такое философское первенство, которое, казалось, должно было оградить нас от вторжения чужеземных сект. Благодаря его трудам прекрасное учение о связи физического и нравственного начал принадлежало нам в не меньшей степени, чем Англии; ибо наш Кабанис сделал шаг за пределы одних лишь внешних чувств. Он признал мощное влияние внутренних органов на мышление — влияние, само существование которого осознал один лишь Эпикур, не сумев, однако, представить его физиологического доказательства. Столь драгоценные труды давали физиологии и медицине исключительное право диктовать законы идеологии и, казалось, навсегда устраняли угрозу повторного вторжения в нашу науку эфемерных систем различных философских школ. В то время едва ли кто-то мог поверить в возвращение былых схоластических тонкостей и тех пустых словопрений, которые заставляли наших предков терять столько времени.

Увы! Мы были далеки от истины. В то время как во Франции мы исследовали тела с должной осмотрительностью, необходимой, чтобы оградить себя от иллюзий и составить верное представление об их природе, в Германии и Шотландии — под

предлогом исправления системы Локка — искажали саму природу человека. Исправить её действительно было необходимо; однако приступать к этому следовало, опираясь на данные Кабаниса, а не заставляя нас отступать назад, к античности, как это было предложено через возврат к системе Платона.

Французы выказывали известное неприятие к туманности системы Канта, которая не раз становилась мишенью для их насмешек. Тем не менее, была предпринята попытка привить её на нашей почве под благовидным предлогом знакомства с первым учеником великого Сократа — этого достойного сочувствия мученика свободы мысли, человека, которого весь мир приветствует именем мудреца и кого даже величали божественным. Разве требовалось нечто большее, чтобы разжечь любопытство нашей молодежи, жаждущей всякого рода познаний! Платонизм, двадцать раз изгнанный из стен учебных заведений, платонизм, на который Франция в особенности взирала с презрением и почитала за благо, что никогда не несла его ига, ныне предлагается нам как простой предмет литературного любопытства. То была лишь приманка, с помощью которой нас вознамерились отвратить от истинного наблюдения, дабы вновь погрузить в иллюзии и химеры онтологии. Физика, химия, естествознание, математика, изучение истории — ставшее ныне подлинно философским — суть медные твердыни, которые канто-платонизм никогда не сможет сокрушить. Тем не менее, воспользовавшись внезапностью, он делает несколько шагов в нашу среду; и если он не расстраивает наши ряды, то всё же пробивает в них бреши. Первой его заботой было нападение на Кабаниса, который для него во сто крат более грозен, нежели были Локк и Кондильяк.

Ибо, хотя Кабанис еще далеко не полностью очистился от бесполезных пут онтологизма, он обладает перед своими предшественниками тем неоспоримым преимуществом, что взывает к фактам реальным, кои каждый волен проверить самолично, не ограничиваясь одной лишь систематической спекуляцией. При вдумчивом созерцании этих фактов невозможно не обнаружить и иные истины, само размышление о которых становится пагубным для онтологии. Канто-платоники предчувствовали это; не ведая даже в малой степени того, что может быть открыто через чувственное наблюдение за человеком, они вознамерились заранее очернить плоды этого наблюдения, воспрепятствовать коим они не в силах. Именно это они и стремятся осуществить ныне, выставляя подле наблюдения чувственного и вознося много выше него так называемое «внутреннее наблюдение». Сие последнее, если верить им на слово, превосходит первое на всю ту высоту, что отделяет нравственное от физического, небо — от земли, а священное — от мирского.

Для того были избраны некие «священные» слова, которые уже вошли в моду; главные из них — «узкий» и «широкий», «низменный» и «возвышенный», «малый» и «великий». Расставлены они весьма искусно. Всё, что относится к философии XVIII века, объявляется узким, низменным и малым; всё же, что проистекает из канто-

платонизма — широким, возвышенным и великим. Они пытаются покорить нашу молодежь оружием, столь могущественным в глазах французов былых времен — насмешкой. Они надеются, что юноши поспешат укрыться в их рядах, лишь бы избежать унижительных эпитетов.

Не знаю, понимают ли они, что предмет насмешек меняется по мере того, как множатся знания, и что слова более не могут иметь над нами той же власти, что в прошлом; несомненно лишь то, что они не ограничиваются одним этим средством. Перенимая тон и язык религиозных фанатиков, место которых они притязают занять, эти люди внушают — что я говорю! — они во весь голос провозглашают, что невозможно быть добродетельным человеком, не принадлежа к их партии. Еще немного, и они чуть ли не объявят достойными виселицы тех, кого они именуют сенсуалистами. Кто же даст себя обмануть тем навязчивым усердием, с коим они — дабы оправдать добродетели своих противников — тщатся отделить в них частного человека от философа? Из этого разделения они выводят мнимое доказательство либо некоей тайной убежденности в правоте противоположных начал, либо достойной жалости непоследовательности.

Искусно множа приманки, коими они считают нужным прельщать нашу изумленную юность, они провозглашают себя эклектиками, предварительно заклеив все прочие системы как «исключительные». Они словно говорят, а подчас и впрямь заявляют: «О вы, стремящиеся к истинному знанию, спешите к нам! Мы раскроем перед вами все доктрины и убережем от несчастья поддаться соблазну какой-либо одной из них. Ибо вам надлежит знать: все прочие философы — лишь мономаны, бредящие одной-единственной идеей, кои неизбежно лишат вас рассудка». Но каков же в действительности их эклектизм? Отныне нам это ведомо, но они заявили об этом даже официально: они располагаются между сенсуализмом и теологией, но с тем обязательным условием, чтобы всегда и прежде всего оставаться спиритуалистами. На сей счет мы можем сказать им лишь одно: если они по самой своей сути спиритуалисты, то они не эклектики, ибо не способны судить о других системах иначе как с позиций спиритуализма — то есть как люди, находящиеся во власти одной исключительной идеи.

Они заимствуют у сенсуалистов факты чувственного опыта, но объясняют их на свой манер; они перенимают у теологов понятие откровения, но модифицируют его согласно собственным взглядам. Это — подлинные реформаторы культа или, если угодно, иллюминаты, притязающие на вселенское господство над человеческой совестью. Будучи приверженцами исключительного спиритуализма, они, тем не менее, создают амальгаму из различных догматов, которые до сего дня считались взаимоисключающими. Таков их «эклектизм». Остается лишь выяснить, достаточно ли прочны его основания и будет ли за ними признано право на те доказательства и свидетельства, которые они присваивают себе и посредством которого ставят себя выше богословов, чей авторитет зиждется лишь на вере. Этот вопрос будет подробно разобран в настоящем труде, однако без вступления в теологические дискуссии, ибо

автор счел своим долгом уважать религиозные верования в работе, посвященной физиологии и фактам, доступным чувственному познанию. Пока же мы скажем, что стремиться следует не к званию эклектика или догматика, но к истине, постигаемой теми средствами исследования, которыми наделяет нас наше естество. Тот, кто устанавливает факт высокой значимости, должен выказывать безразличие к определениям, коими угодно будет наделить его приверженцам различных сект.

Стержень этой так называемой эклектической онтологии заключается в понятии сил; в связи с этим мы представим ряд размышлений, призванных способствовать ясному пониманию предмета нашего исследования.

Французские канто-платоники, выставя напоказ глубочайшее презрение к материи, сами сосредоточены лишь на силах, её одушевляющих, и полагают, что тем самым возвышаются над простыми наблюдателями фактов. Предстоит еще решить, делает ли та напыщенность, с которой они стремятся к этой цели, их на самом деле «легче» последних, или же, напротив, из-за неё они падают еще ниже.

Ибо что же есть сила в самом общем смысле — а на этом вопросе следует остановиться подробнее — как не умозаключение, выведенное наблюдателем из действия некоего начала на тело или внутри тела, вызывающего в нем перемены? Некое внутреннее побуждение заставляет наблюдателя предположить, что это тело движимо чем-то, воздействующим на него подобно тому, как сам он привык воздействовать в определенных случаях на иные тела. Нет сомнений, что каждый испытывает это влечение; невозможно не признать, что никто не в силах ему противиться, ибо к тому нас принуждает аналогия. Иными словами, мы склонны судить о том, чего не знаем, по тому, что нам кажется известным; но именно здесь, и только здесь заканчивается область фактов. Человек, в котором рассудок берет верх над воображением, умеет сдерживать свои порывы; он лишь сокрушается о том, что волей-неволей вынужден оставаться в неведении относительно первопричин. Для такого человека слово «сила» — не более чем формула, знак восприятия, возникшего при наблюдении некоего феномена; и он пользуется этим понятием лишь для того, чтобы отыскать иные явления, кои его чувства могли бы столь же ясно постичь.

Совсем иначе ведет себя человек с преобладающим воображением, наделенный поэтическим складом ума, подобный Платону — будь то древнему или современному. Сперва легковверный, но в еще большей степени — горделивый и неспособный примириться с мыслью о собственном незнании, он стремительно переходит от смутной догадки к непоколебимой уверенности. Более того, он спешит овеществить умозаключение; он персонифицирует его, наделяет волей и заставляет действовать подобно существу одушевленному и живому — словом, подобно человеку. Вслед за тем он выстраивает целое романтическое повествование, героем которого становится эта индукция, превращенная в «осязаемую силу», и исполняется негодования к каждому, кто отказывает ей в своем почтении.

Вот он — фанатизм убеждений; он может различаться по силе в зависимости от характера человека, в котором развивается, но в самой своей основе он неизменен. Все авторы подобного рода — будь то в медицине, философии или в любой иной области — могут сколь угодно долго твердить о своей терпимости, но они на неё не способны. И не могут быть способны: они слишком дорожат вымыслом, столь приятно занимавшим их ум, своей «поэтической прозой» и теми невероятными усилиями, коих стоили им причудливые сопоставления, рассчитанные на живописность и эффект. Им невыносима сама мысль о том, что всё это время они грезили лишь о химерах. Они готовы простить собрата, такого же сочинителя, как и они сами, даже если тот представил их общего кумира в ином свете; но они никогда не пощадят человека сурового, не желающего славить ни одного идола и проходящего мимо пантеона онтологии, не преклонив колена.

Этот образный слог как нельзя лучше подходит для описаний и вымыслов, кои находятся в ведении поэзии; это слог идиллии и даже эпопеи. Пусть так, однако философии этот слог совершенно не подобает: он ей чужд в высшей степени, что не раз подтверждалось на опыте, начиная со времен Платона. Оттого и юные ученики поначалу не могут в нем ничего уразуметь; они в изумлении переглядываются и втайне винят себя в недостатке проницательности. Тем не менее, усердно внимая речам или чтению, иные все же ухитряются вообразить себе те фантастические сущности, которые этот слог призван являть. Эти немногие, коих число неизбежно мало, перенимают язык учителя и преисполняются тем большей гордыни, чем более смиренно они прежде восхищались его «возвышенным талантом». Едва лишь эти новоиспеченные адепты становятся непонятны собственным друзьям; едва их убежденность достигает той грани, когда при именах Локка и Кондильяка они лишь сострадательно улыбаются и пожимают плечами; как только Кабанис в их глазах превращается в заурядного атеиста, которому несказанно повезло избежать смертной казни, а Вольтер, Руссо и Монтескье начинают казаться им не более чем жалкими философами, и когда труды Вольнея начинают вызывать у них негодование, а сухость Дестюта де Траси — отвращение, их образование можно считать законченным. С этого момента им более нет нужды ни изучать, ни даже заглядывать в эти памятники французской славы, разве что ради критики, ибо они не находят в них ничего поучительного. Они возвысились над законодателями мысли и вкуса; то же, чему они не могут научиться у пока еще немногочисленных классиков своей школы, они непременно отыщут в собственной совести, стоит лишь погрузиться в себя, закрыть глаза, удалиться от шума и прислушаться к течению собственных мыслей. Именно тогда, достигнув столь высокой степени совершенства, они обретают особую важность в лице, их чело возносится, взор становится величественным, и они проникаются глубочайшим убеждением, что их разум бесконечно превосходит интеллект тех, кто с изумлением признается им: «Я вас не понимаю».

Нам кажется, что настал момент сорвать завесу, делающую их учителей столь недостижимыми: мы надеемся раскрыть в настоящем труде секрет их мнимого превосходства и причины того странного оцепенения, в которое они повергли весь ученый мир.

Именно врачам мы намерены раскрыть все эти тайны, ибо именно их дело мы защищаем. Лишь врачам-физиологам под силу определить то, что поддается оценке в причинно-следственной связи инстинктивных и интеллектуальных явлений. Мы обращаемся именно к врачам, ибо тот, кто изучал лишь нормальную физиологию, не располагает достаточным количеством фактов для решения подобных задач: Человек познан лишь наполовину, если его наблюдают только в здоровом состоянии; состояние болезни является такой же частью его нравственного существования, как и его существования физического. Посему не стоит удивляться тем грезам, кои излагает онтолог, чуждый познаниям о норме и патологии или же довольствующийся лишь поверхностным знакомством с трудами авторов, судить о которых он не способен. Таковы канто-платоники, и нет ничего более странного, чем те притязания, кои они столь самонадеянно выказывают ныне, пытаясь диктовать законы нашей науке — и это в тот самый момент, когда она претерпевает бурную революцию, смысла которой они до сих пор не в силах постичь. Повсюду кипят споры, но истинный их мотив остается им неведом. Истина и заблуждение, искренность и притворство, благородное бескорыстие и низкая спекуляция, искусно перенимающая чужой слог, сошлись в единоборстве — и происходит это не во всем медицинском мире, но в самом сердце французской столицы: в светских салонах и во всех академиях. У канто-платоников нет ни малейшей возможности разобраться в этом хаосе. Не зная, что представляет собой медицина, они дерзают клеветать на нее и выказывать ей напускное презрение. Они провозглашают, будто «наука о человеке» в их понимании — единственная, обладающая характером достоверности; при этом они не посвятили и десяти лет своей жизни изучению человека в том виде, в каком его знают врачи, — то есть рассматриваемого в единстве его живых и мертвых органов. Они полагают, что одного лишь внешнего наблюдения над взрослым, совершенным и здоровым человеком достаточно, чтобы объяснить человека на стадии эмбриона, ребенка, больного, в состоянии недоразвитого, мертвого или подвергнутого анатомическому вскрытию. Первое из этих наблюдений представляется им единственно реальным, ибо оно принадлежит им самим; второе же — лишь гипотетическим и тщетным или, по меньшей мере, грубым, пригодным лишь для заурядных умов. Необходимо указать им, где сокрыта истина; важнее же всего дать им уразуметь, что привлечение на свою сторону немногих перебежчиков и дельцов, приносящих нашу науку в жертву из-за неспособности её постичь, — это еще далеко, бесконечно далеко от покорения самой медицины.

Мы не нанесем французскому юношеству оскорбления мыслью, будто оно способно целиком подпасть под обаяние высокопарного слога канто-платоников.

Присущий ему запас здравого смысла, несомненно, уберезет его ныне, как оберегал и несколько лет назад. Однако оно может быть оглушено тем звоном фраз, что раздается со всех сторон в его ушей; медицинские же школы могут быть поражены, видя, как этот бесплодный жаргон пытаются внедрить в самое лоно факультета, в то время как с непонятным упорством отвергается ясный и плодотворный метод физиологического учения. Мы стремимся раскрыть для них эту загадку, дать им в полной мере ощутить достоинство науки, которую они возвращают, и окончательно доказать всем тем, кто посвятил лучшие годы своей жизни анатомическим, физиологическим и патологическим исследованиям, что наука, обретенная ими столь тяжким трудом, не является и никогда не должна была быть данницей метафизики. Она не может почерпнуть в ней ничего ценного; и вместо того чтобы принимать от неё законы, она сама должна диктовать их ей — подобно матери, наставляющей неблагодарное дитя, которое не узнает и презирает ту, что дала ему жизнь.

Именно исходя из этой великой истины, мы сочли необходимым связать инстинктивные и интеллектуальные феномены с возбуждением нервной системы; это отводит им важное место среди причин, порождающих раздражение. Посему мы, не колеблясь, избрали основой для предлагаемого труда очерк о раздражении, ранее опубликованный нами в «Прогрессивной энциклопедии» и благосклонно принятый публикой. Однако здесь теория раздражения получила то необходимое развитие, которого не допускал план сочинения, где она была представлена прежде; таким образом, ныне мы предлагаем вниманию наших коллег, по сути, новый трактат о раздражении.

Поскольку из четырех форм раздражения именно нервное получило в данном трактате наиболее обстоятельное освещение — развитие, коего требовала его значимость и в котором мы отказывали ему до тех пор, пока время не принесло нам некоторой зрелости, — мы сочли, что не можем поступить лучше, чем приложить к нему в качестве доказательства описание соответствующей болезни. Мы остановили свой выбор на безумии, как на том состоянии, в котором нервное раздражение играет наиболее значительную роль: эта тема подходила нам тем более, что она придает новую силу аргументам, которые мы противопоставляем амбициозным притязаниям психологов. Впрочем, настало время, чтобы умственные расстройства были окончательно возвращены в лоно физиологического метода.

Наконец, в этом труде мы ставили своей целью: (1) разоблачить ту тайну, под прикрытием которой дурной вкус грозит распространиться в науке о человеке физическом и нравственном; (2) содействовать новым усилием прогрессу физиологической медицины и указать на причины, препятствующие тому, чтобы этот прогресс стал еще более стремительным; (3) и, наконец, уберечь от постыдного порабощения науку, которую мы чтим и славе которой посвятили уже более половины нашей жизни.

Потребовались столь веские мотивы, чтобы заставить нас прервать работу над третьим изданием «Исследования медицинских доктрин», которое мы уже отдали в печать и за столь долгое ожидание коего нам ныне совестно; однако работа над этим трудом будет возобновлена с новым рвением.

Часть I. Раздражение, рассматриваемое в его применении к здоровью и болезням

Глава первая: Понятие о раздражении

Для врачей слово раздражение означает либо действие раздражителей, либо состояние раздраженных живых частей организма. Раздражителями называют все факторы, воздействующие на наш жизненный строй, которые усиливают раздражимость или чувствительность живых тканей и возводят эти явления выше нормального уровня.

Слово «раздражение» применимо ко всем живым телам, поскольку все они наделены раздражимостью; однако в медицинском языке оно используется лишь для обозначения аномального усиления этого жизненного свойства или же чувствительности у животных, занимающих высшее положение на зоологической лестнице. В настоящем труде мы намерены рассматривать раздражение исключительно применительно к человеку, оставляя другим заботу о его приложении к ветеринарному искусству.

Утверждать, что человек восприимчив к раздражению, — значит, несомненно, признавать его обладающим раздражимостью; однако раздражимость, коей наделены все его ткани, не следует трактовать в сугубо патологическом или болезненном смысле. Этим термином обозначают заложенную в тканях способность приходить в движение при контакте с инородным телом, что позволяет говорить о том, будто ткани «ощутили» этот контакт. Галлер приписывал данное свойство лишь мышцам, однако ныне общепризнано, что оно присуще всем тканям без исключения. Когда человек осознает движения, возбуждаемые инородными телами — кои мы часто будем именовать модификаторами, — говорят, что он воспринял впечатление от этих тел, а саму способность воспринимать их называют чувствительностью. Таким образом, чувствительность принадлежит нашему «Я», тогда как раздражимость — всем волокнам человеческого тела. Орган, подвергшийся воздействию инородных тел, может совершать движения без ведома нашего сознания; в таком случае мы имеем дело лишь с раздражимостью. Но если «Я» претерпевает некое изменение, побуждающее человека сказать: «Я чувствую», то налицо и раздражимость, и чувствительность. Чувствительность, таким образом, является следствием раздражимости, тогда как раздражимость не является следствием чувствительности; иными словами, прежде чем стать чувствительным, необходимо быть раздражимым: эмбрион еще не обладает чувствительностью, он лишь раздражим; больной апоплексией уже утратил чувствительность, но все еще сохраняет раздражимость. Мы видим, что раздражимость присуща всем живым

существам, от растений до человека, и что она непрерывна; в то время как чувствительность есть способность, свойственная лишь некоторым животным; она не является непрерывной и проявляется только при определенных условиях. Этими условиями являются наличие нервного аппарата, наделенного центром — то есть головным мозгом, — а также особое состояние этого аппарата; ибо он не всегда способен даровать животному сознание движений, происходящих в его тканях. Доказательством тому служат и пораженный апоплексией, и эмбрион.

Способность волокна воспринимать воздействие стимула без осознания этого самим животным пытались возвести в ранг самостоятельного свойства. Это мнимое свойство обозначали термином «органическая чувствительность», поскольку оно настолько присуще самим органам, что его можно наблюдать даже в тех из них, которые отделены от целого, но поскольку движение стимулируемого волокна — это единственный очевидный феномен; поскольку невозможно отделить ощущение от движения; поскольку слово «ощущать» не имеет здесь иного смысла, кроме слова «двигаться»; и поскольку слово «ощущать», согласно тем же принципам, могло бы быть применено к инертным телам — ведь ничто не мешало бы сказать, что шар, пришедший в движение, «почувствовал» прикосновение ударившего его шара, — то эта органическая чувствительность представляет собой излишнюю абстракцию, которая не может быть допущена в строгом языке философской физиологии.

Модификаторы, приводящие в действие раздражительность, называются возбуждателями или стимулами, а производимый ими эффект — возбуждением или стимуляцией. Возбуждение, рассматриваемое в общем виде, в отрыве от места его проявления и фактора, его вызывающего, носит также название «возбуждения» (excitement). Наконец, когда возбуждение или стимуляция выходят за пределы нормального состояния, они переходят в то, что мы назвали раздражением, а агенты, их обусловившие, получают определение раздражающих. Именно это раздражение составляет сегодня основу физиологического учения; но прежде, чем рассматривать его в патологическом аспекте и прежде, чем приступить к исследованию той роли, которую оно играет в возникновении, течении и лечении болезней, будет полезно бросить взгляд на анналы науки, дабы проследить, по каким ступеням мы достигли того положения, в котором находимся ныне.

Глава вторая: История учения о раздражении

Гиппократ не имел ни малейшего представления про раздражение. Он признавал существование «согласия» между органами, но приписывал его внутреннему началу — ἐνὸρμόν (энормон), которое один современный врач перевел как «движущая сила». Именно этой оккультной силой он объяснял как явления здоровья, так и течение болезней. Догматики, последовавшие за «отцом медицины», признавали существование материальной души — эфирной или огненной, — словом, состоящей из тончайшей материи, и считали, что она управляет всеми жизненными актами. Эта смертная душа долгое время фигурировала в различных школах, то выступая как самостоятельное начало, то подчиняясь душе нематериальной и нетленной. Однако в то время еще не имели ни малейшего понятия об раздражимости, присущей живым тканям.

Теория сжатия и расслабления Темисона, развитая Фессалом, также не имеет ничего общего с учением о раздражении. В ней речь шла лишь о легком или затрудненном движении атомов, проникающих в предназначенные для них поры; и терапия, вытекавшая из этих гипотетических умозрений, была абсурдна и не имела ничего общего с современными теориями возбуждения и раздражения. Врачи того времени задавались целью открывать или закрывать поры всего тела, которые они представляли себе подобными порам кожи, на которую воздействовали чаще всего. Достигалось это с помощью растираний, выполняемых то притягивающими веществами, то вяжущими, отталкивающими или стягивающими средствами. Тело стремились опорожнить посредством рвотных, слабительных и диеты, дабы затем вновь наполнить его в течение определенного количества часов или дней, установленных строгим правилом. Люди, не имевшие ни малейшего представления об анатомии и механизме функций, воображали, будто подобными методами они могут прочистить все каналы тела, опорожнить их, избавить от «старой материи» и ввести новую, более пригодную для поддержания здоровья. Именно этот процесс они называли метасинкризисом или рекорпорацией. Они тешили себя надеждой, что благодаря этой мнимой регенерации придали живым каналам больше силы, гибкости и проницаемости; словом, полагали, что исправили их чрезмерное сжатие или расслабление, дабы привести их в то среднее состояние, что благоприятствует здравью и долголетию. Из этого видно, насколько малообоснованы утверждения тех, кто усматривает в этой системе истоки учений, зиждущихся на явлении раздражимости.

Гален развивал гуморальную теорию элементов, зачатки которой обнаруживаются в трудах, приписываемых Гиппократу. Он стал основоположником гуморализма. Гален постулировал существование сил, воздействующих на

первоэлементы — землю, воду, воздух или пневму, — дабы преобразовывать их в жизненные соки (гуморы), поддерживать их смешение и соотношение, заставляя их служить сохранению жизни и направлять целительные усилия природы во время болезней. Он предавался чрезмерным мудрствованиям почти во всяком вопросе, коего касался, и не имел ни малейшего представления о раздражимости животного тела.

Не в приложении восточной философии, магии или каббалы к искусству врачевания следует искать истоки учения о раздражении; там обретаются лишь нелепости, унижающие человеческий разум. Арабы, столь ревностно развивавшие медицину до турецкого нашествия, были лишь переписчиками или подражателями Галена и древних греков. Все жизненные явления арабы объясняли скрытыми силами, число которых они множили до бесконечности. Они стали основоположниками фармакологии и химии, однако не имели ни малейшего представления о раздражении. Вскрытие тел было им запрещено, а путь экспериментальных исследований оставался неведом. В их распоряжении была лишь анатомия Аристотеля, Галена и врачей александрийской школы. Разумеется, в подобных источниках они не могли почерпнуть сведений о жизненных свойствах человеческого тела.

Нам приходится перешагнуть через целые века варварства, чтобы отыскать в трудах авторов хоть какие-то мимолетные следы явления, занимающего наш интерес. После возрождения наук и искусств некоторые авторы — как, например, Джироламо Фракасторо — упоминали о раздражении, которое гуморы (жидкости) оказывают на твердые части тела; однако они не выстроили на основе этого жизненного акта никакой системы. Слово «раздражение» встречается у них словно бы утонувшим и затерянным в потоке более или менее неудачных выражений, относящихся к стихийным и гуморальным теориям. Речь идет о раздражении, рассматриваемом отвлеченно, а не как о состоянии животной материи в той или иной части тела.

В течение XVI столетия, в эпоху, когда со всех сторон подвергалась нападкам теория Галена, Жубер, профессор факультета Монпелье, — первым выступивший против идеи «боязни пустоты», — прибегнул к понятию раздражения, дабы обосновать природу конвульсий, которые он объяснял реакцией твердых частей против болезнетворных причин. Он также приписывал действие лекарств неприятному впечатлению, производимому на желудок, то есть своего рода раздражению. Тем не менее, гуморализм все еще оставался господствующей теорией: в то время на раздражимости животного волокна не строили никаких систем. Были даже далеки от того, чтобы подозревать о её существовании, хотя само явление и замечали в некоторых функциях организма.

Алхимики и плавильщики металлов долгое время были заняты лишь изобретением специфических средств или панацей для лечения болезней.

Парацельс, их корифей, вообразил некую душу, привязанную к органам и обитающую в желудке: он нарек ее археел и поручил ей управление функциями; однако он не назначил раздражение его служителем, и раздражимость не играла никакой роли в его нелепой галиматье. Тем не менее, именно одному из последователей хемиатрии следует приписать первые четко сформулированные представления о раздражении. Ван Гельмонт принял концепцию архея Парацельса и точно так же поместил его в желудок. Этот врач был первым, кто дал верное представление о локальной причине воспаления. Он приписывал его гневу архея, который, будучи оскорбленным присутствием болезнетворных начал, направляет в органы некий фермент, всегда имеющийся в его распоряжении. Именно этот фермент раздражает ткани, вызывает прилив крови и становится, таким образом, непосредственной причиной воспаления. Чтобы пояснить механизм возникновения воспалительного процесса, автор приводил в пример занозу, вонзившуюся в чувствительную часть тела. Он относил к воспалениям некоторые болезни, которые до того времени считались чуждыми этому феномену; такова, к примеру, дизентерия, которую он первым поставил в ряд флегмазий, утверждая, что она отличается от плеврита лишь местом своего расположения. Его идеи о способе развития воспаления послужили основой для знаменитой статьи «Стимул» (Aiguillon) в «Энциклопедии», которая стала фундаментом для современных трудов о жизненной силе, присущей каждому из наших органов.

Однако эта идея не возымела того успеха, который можно было бы предположить; ибо из системы Декарта возникли химическая физиология Сильвия, механико-математическая школа и анимизм Сталя, которые на некоторое время отвлекли врачей от зарождающейся теории раздражения. По правде говоря, Ван Гельмонт отводил этому явлению лишь второстепенную роль: его «семена» и «фермент» слишком явно перекликались с гуморальными теориями, а его «архей» со всей очевидностью стремился поставить душу во главу всех физиологических явлений. Таким образом, этого автора можно считать главным основателем медицинского спиритуализма, но его трактовка раздражения слишком оторвана от материи, чтобы служить фундаментом для разумной теории, основанной на раздражимости живых тканей.

Сильвий де ле Боэ, в свою очередь, действительно использовал слово «раздражение», дабы дать представление о действии «едких соков». Он полагал, что они возникают вследствие ферментаций, осадений и дистилляций, ареной для которых беспрестанно служит человеческое тело. Однако для того, чтобы притупить эту едкость, он применял пагубные средства, каждое из которых само по себе было более или менее раздражающим. Таким образом, его теория вовсе не зиждется на раздражимости, рассматриваемой как фундаментальное свойство живого тела и движущей силы жизненных явлений; раздражение было для него лишь побочным фактором, зачастую неверно истолкованным. То же самое можно сказать и о его последователях, которые, подобно Флойеру, множили число «едкостей» и повсюду

искали против них специфические средства среди обволакивающих веществ, неизменно сочетая их с раздражающими лекарствами.

В системе Борелли, одного из основоположников механистической школы, раздражение играет важную роль: именно с его помощью нервный флюид, направляемый в мышцы под воздействием мозга, вызывает их сокращение. Раздражение фигурирует и в механизме возникновения болезней, поскольку нервный флюид, ставший едким вследствие нарушения секреторной деятельности желез (хотя кровь и не разделяет этого состояния), провоцирует лихорадку, раздражая сердце. Однако этим почти и ограничивались тогдашние объяснения, основанные на раздражимости. Все прочее – оценка силы сердца и волокон желудка, рассуждения о процессах растирания пищи, о скорости кровотока, об ударах, которые частицы наносят стенкам сосудов, о влиянии углов и изгибов на движение жидкостей и иные исследования подобного рода, которым неизменно сопутствовали математические расчёты, полностью поглощали внимание врачей, отвлекая их от самого существенного феномена. В ту пору основополагающим свойством живого тела считалась эластичность, понимаемая чисто механически, а вовсе не раздражимость; само же это слово использовалось скорее метафорически, ради наглядности образа, нежели в буквальном смысле для обозначения деятельного начала. Именно поэтому все объяснения данной школы основывались на законах механики. Стоит также заметить, что большинство врачей, принадлежавших к этому направлению, в вопросах патологии оставались эмпириками; они применяли расчёты и данные, почерпнутые из механики, исключительно к изучению физиологии. Отсюда, без сомнения, и возникло бытующее по сей день среди некоторых практиков убеждение, что эта наука не может принести никакой пользы практической медицине.

Тем не менее, ряд врачей, осознав неспособность механико-математических выкладок объяснить движение крови, застойные явления и расстройства секреторных органов, обратились к понятию раздражения. Согласно их взглядам, именно благодаря раздражению кровь устремляется к частям тела независимо от импульсной силы сердца; само же это раздражение представлялось им жизненным явлением, и они более не подчиняли его ферментам, подобным тем, что описывал Ван Гельмонт. Тем не менее, несмотря на эти проблески здравого смысла и витальной физиологии, раздражение все еще оставалось лишь побочным, второстепенным феноменом. Оно еще не мыслилось как нечто столь неразрывно связанное с животным волокном, чтобы возникла необходимость признавать его движущей силой во всех физиологических и патологических процессах. Именно поэтому авторы, не придерживавшиеся механистических взглядов в физиологии, неизменно становились гуморалистами или эмпириками, когда речь заходила о причинах и лечении болезней.

Шталь решительно отрицал, что органы и ткани приводятся в действие стимулами и сокращаются под их влиянием сами по себе. Подобное утверждение

фактически отвергало основополагающий догмат учения о раздражении. Он не признавал никакой иной активной силы, способной породить движение, кроме души, идею которой он заимствовал у Ван Гельмонта. Согласно его воззрениям, именно душа воспринимала внешние впечатления, используя тоничность как единственный агент, способный вызывать движения. И хотя мысль о том, чтобы заставить модификаторы воздействовать непосредственно на нематериальную субстанцию, не считаясь с впечатлением, производимым на живую материю, и призывать последнюю лишь для осуществления реакции духовного существа, кажется странной и противоречивой, изучение системы этого врача убеждает в том, что она была благоприятна для прогресса теории раздражения. Действительно, достаточно было поместить это явление между воздействующими телами и душой — точно так же, как он под именем тоничности поместил его между действием души и движениями, — чтобы заметить, что раздражение одинаково руководит как феноменами здоровья, так и феноменами болезни. Однако свойства различных тканей, составляющих наши органы и системы, были еще изучены недостаточно, чтобы быстро прийти к такому результату. Тем не менее, слово «раздражение» уже употреблялось, дабы дать представление о том, каким образом модификаторы воздействуют на душу: по мнению последователей Штала, именно душа раздражается светом, падающим на сетчатку, и именно она определяет смыкание век и сокращение радужной оболочки. Один из них утверждал, что душа раздражается под впечатлением от едких веществ, воздействующих на нервы (но не раздражающих нервы), и что она возбуждает лихорадку; другой, Роберт Уитт, признавал три рода мышечных движений: одни — естественные, другие — производимые под влиянием нервного и волевого влияния, третьи же — произвольные и вызванные непосредственным раздражением.

Однако «душа» ни на миг не покидала сцены: её неизменно считали первопричиной всех движений. Чтобы объяснить те из них, что происходят в мышечном волокне, отделенном от тела, выдвигалось утверждение, будто душа делима, и именно её присутствие в каждой части рассеченного сердца служит причиной наблюдаемых в нём сокращений. Те же доводы использовались для объяснения повторных сокращений сердца, извлеченного из тела живого животного, даже когда его переставали подвергать уколам. В то время не видели никакой середины между механицизмом и анимизмом: полагали, что если сердце движется не механически, то лишь под влиянием души. При этом совершенно не принималась в расчет раздражимость, имманентно присущая живому волокну. Аналогичным образом объяснялись и раздражения, воздействующие непосредственно на нервы и сохраняющиеся более или менее долго после прекращения действия модификаторов. Следовательно, это всё еще не было подлинной теорией раздражения. Между тем другие исследователи утверждали, что воля всегда выступает в роли раздражителя для органов. Это стало очередным шагом на пути к истине, однако система так и не была обобщена. Да она и не могла быть таковой до тех пор, пока раздражимость рассматривалась в отрыве от живого

волокна; пока тоничность, пришедшая на смену «упругости» механицистов, считалась основным свойством тканей, а раздражение — эта абстрактная сущность в системе автора — подменяло собой раздражимость животной материи.

Соваж был механицистом в физиологии и эмпириком в патологии: он подчинял все механические явления живого тела власти души и изучал болезни, классифицируя их по группам симптомов, о чем свидетельствует его «Методическая нозология». Он так и не пришел к истинному пониманию природы раздражения.

Впоследствии «разумная душа» Шталя была заменена жизненным началом. Однако поначалу сменилось лишь название. Так, Казимир Медикус утверждал, что материя сама по себе неспособна к какому-либо движению, и что раздражение тканей (существование которого уже нельзя было отрицать) ничего не объясняет без посредничества этого первоначального принципа. Другой автор возродил понятие «материальной души» древних, приписав ей те же функции, что и «разумной душе» Шталя. Каждая часть организма была наделена собственным ощущением и воображением, которые находились в полной зависимости от этой общей материальной души. Не прослеживается никакого положенного предела в созидании всех тех сущностей, что помещались между нематериальной душой и волокнами органов. Подобный произвол не мог устоять перед прогрессом физических наук. В нем нельзя усмотреть ничего иного, кроме системы Ван Гельмонта, представленной в ином свете.

Теофиль Бордё признавал за каждым органом особое чувство (sentiment), однако он вовсе не возводил его в ранг интеллектуальной способности: каждый орган, обладая собственной жизнью, имеет также свои частные внутренние агенты раздражения, которые он извлекает из крови, нервов и так далее. Этот автор отводил важную роль железам, наделил кровь деятельным началом и подчинил всё это жизненному принципу, который, по правде говоря, не был ни «разумной душой» Шталя, ни материальным — эфирным или огненным — началом древних. Это было нечто абстрактное, некий общий итог частных жизней каждого органа; но в то же время это была активная сила, направляющая совокупность частных и специфических сил.

Раздражение здесь выступает лишь как вторичное средство. Не оно, отражаясь от одного органа на другие, сообщает движение и поддерживает жизнь; это совершает общая сила, возникающая из частных сил, которая чувствует потребности, требует средств, распоряжается ими, согласует ассимиляционные, очистительные, заживляющие и репродуктивные процессы, а также управляет явлениями питания. Следовательно, это все еще не теория раздражения. Стоит ли упоминать о той призрачной роли, которую автор отводит клеточной ткани; о болях и кахексиях, происходящих от порочной деятельности различных секреторных органов, которые жизненная сила должна устранять путем трудов, более или менее

продолжительных усилий кокции (варения/переваривание), через кризисы, очищения и тому подобное? Очевидно, что теория Бордё, хотя она и значительно превосходит учения его предшественников, несколько не тождественна подлинной доктрине раздражения.

Она все еще несет на себе печать *анимизма*. Здесь словно приписывают разумные намерения и волю некоему началу (или началам), о которых никто не может составить себе четкого представления. Положительная же сторона этого учения заключается в объединении упомянутых принципов, или «частных жизней», с самими органами таким образом, что становится невозможно помышлять о них, не рассматривая одновременно сами органы и их материальные модификаторы. Что же касается теории кокций и усилий, сопряженных с раздражением, то это не более чем пережиток онтологии гиппократовых школ.

Ла Каз, столь превозносимый некоторыми, также рассуждал о раздражении; однако, приписывая почти исключительную роль в порождении жизненных движений сухожильному центру диафрагмы, который он ошибочно почитал нервным образованием, он столь далеко удалился от истины, что мы не находим возможности причислить его к кругу врачей, способствовавших подлинному развитию теории раздражения.

Подобных физиологических заблуждений удалось бы избежать, если бы исследователи стремились строить свои рассуждения лишь на основании твердо установленных фактов. Однако унаследованная от древности мания предугадывать функции вместо того, чтобы их изучать, и не менее пагубная привычка рассматривать их отвлеченно — рассуждая о них долгое время, не помышляя об органах, или же отводя последним лишь подчиненную роль, ставя над ними некую нематериальную сущность, управляющую их движениями, — эта онтологическая мания была еще слишком укоренена, чтобы врачи, наделенные хотя бы крупницей воображения, могли её избежать. С другой стороны, люди благоразумные, будучи лишены аналитической и физиологической анатомии (ибо в те времена никто еще не создал ничего подобного), не имели иного прибежища, кроме эмпиризма или скептицизма; но скептицизм не диктует готовых формул, а больные их требуют; посему в медицине приходилось предаваться эмпиризму, а в физиологии — отречься от разума, довольствуясь лишь поверхностным изучением фактов и повторяя вслед за Горацием: *Permitte divis cætera* («Предоставь остальное богам»).

Бартез, знаменитый последователь учения о витальном принципе, подчинил последнему чрезмерно многочисленные частные силы. Он вывел этот принцип на сцену в облике своего рода разумной души, хотя прежде и заявлял, будто подразумевает под ним лишь причину — какова бы она ни была — жизненных явлений. Сей ученый допускал также гуморальные изменения, основывая их, равно как и свои «силы», отчасти на теории галенистов, отчасти на учении Бордё; ибо он прилагал все усилия, дабы примирить между собой мнения различных авторов. В

раздражении он видел лишь вторичный феномен и отнюдь не сделал его основой стройной системы физиологии и медицины.

Эрнест Платнер в своей монументальной антропологии признает существование «нервного духа» — своего рода материальной души, которую он представляет как всеобщий инструмент души нематериальной. Этот дух поглощается органами из атмосферы: он соответствует «пневме» древних врачей. Он является эманацией мировой души, происходящей из эфира. Эта материальная душа, принимая различные формы в каждом отдельном органе, наделяет его чувством, желанием и отвращением, и объясняет все те явления, в которых раздражение играет лишь незначительную роль.

До сих пор в наших изысканиях касательно раздражения мы встречали лишь неопределенность; однако, обратив взор к трудам Фрэнсиса Глиссона, мы обнаружим нечто более конкретное. Не вдаваясь в подробности системы этого врача-философа, отметим, что он приписывает животному волокну особую силу, которую называет раздражимостью (*irritabilité*), и факторами которой выступают перцепция (восприятие) и аппетит (склонность). Перцепция отличается от ощущения. Она предшествует движению, являющемуся следствием раздражимости, и превращается в ощущение лишь тогда, когда достигает души. Эта перцепция естественным образом заложена в волокнах, ею же обладают и нервы; именно она делает волокна раздражимыми и служит основой естественного движения, которое автор отличает от движения чувствительного, возникающего в результате ощущения. Душа, восприняв ощущение от естественной перцепции, воздействует на нее, дабы привести в движение мышцы, но не влияет на сами мышцы непосредственно. Воля, приводимая в действие душой, воздействует на раздражимые волокна посредством нервов, то есть через их естественное восприятие. Раздражимость подразделяется на естественную, жизненную и животную, и в ней принимают участие гуморы. Существуют жизненные духи, выступающие посредниками между нематериальной душой и органами. Взаимное согласие (симпатии) между последними объясняется передачей животной раздражимости.

Несмотря на подобную онтологию, в учении Глиссона — первой из дошедших до нас теорий раздражения — нетрудно разглядеть зачатки теории возбуждения. Чтобы обнаружить их, достаточно лишь исключить нематериальные сущности, помещенные между воздействием возбуждающих факторов и движением волокна; тогда останется лишь раздражимость самого волокна, следствием которой и будет раздражение. Тем не менее, эта раздражимость все еще слишком универсальна и туманна; надлежало оценить её, определить её меру и роль в каждой ткани, но такая точность могла возникнуть лишь в эпоху, гораздо более близкую к нашей. Таким образом, не Гофману следует приписывать первые идеи о теории возбуждения.

Раздражение занимает важное место в системе данного автора, но отнюдь не служит её фундаментом. В этом можно убедиться. Кровь содержит в себе некий эфирный флюид, который она распределяет по всем частям тела; этот флюид секретруется мозгом и разносится по нервам. Он является перводвигателем жизни; именно он наделяет все ткани свойством раздражимости. Сей флюид служит посредником, с помощью которого нематериальная душа воздействует на физические тела; сам по себе он составляет чувствующую душу, и каждая его частица наделена представлением о механизме всего организма в целом. Исходя из этих представлений, упомянутая материальная душа формирует себе тело для обитания, поддерживает его жизнедеятельность, восстанавливает его и так далее. Очевидно, что мыслящие частицы этой чувствующей души представляют собой монады Лейбница.

Что касается движений, которые Гоффман приписывает своей чувствующей душе, он изучает и объясняет их законами механики и гидравлики. Жизнь, по его мнению, заключается в сохранении состава жизненных соков посредством движения, порождаемого духом, содержащимся в крови. Это же самое движение поддерживает в теле тепло.

Помимо этого движения, Гоффман признавал и другое, которое считал основополагающим, — а именно диастолу и систолу мозговых оболочек, теорию о которых ранее уже выдвигали Паккиони и Бальиви. Это новое движение распространялось в твердой оболочке спинного мозга, которая проталкивает нервную жидкость в различные части тела. Избыток этого движения служил ему объяснением конвульсий. В целом болезни проистекают либо из расстройства этого движения, либо из несовершенного смешения гуморов (жидкостей), вызванного изъятием духа, разлитого в крови, чьим составом он не управляет должным образом. Избыток движения порождает спазм; будучи же слишком слабым, это движение дает начало атонии, тогда как нарушение смешения порождает гуморальные болезни. Отсюда проистекает патология, причудливая и совершенно произвольная. Очевидно, что общее затруднение медиков того времени, к какой бы школе они ни принадлежали, всегда коренилось в убеждении, что они обязаны найти место для нематериальной души и объяснить её взаимодействие со всеми частями тела. Декарт поместил её в шишковидную железу; другие располагали её в иных областях мозга; но Гоффман, изначально воспитанный на системе Ван Гельмонта, желал видеть присутствие души во всех частях тела. Оставалось лишь преодолеть трудность соприкосновения духовной субстанции с материей. В ту пору из этого положения обычно выходили с помощью «духов» — своего рода тонкой материи, более или менее аналогичной эфиру, из которого её нередко и выводили. Поскольку эти своего рода газы могли соприкоснуться, с одной стороны, с душой, а с другой — с органами, оставалось лишь объяснить их действие с помощью химии или физики того времени. Использовалась ли при этом одна душа или две, один род «духов» или два — это ничуть не меняло сути самой идеи. Гоффман превращал свою душу и свои

«духи» то в механиков, то в химиков; в иных же случаях он, казалось, приводил молекулы в движение согласно слепым законам простого жизненного прозябания, словно эти молекулы действовали не под надзором нематериальных начал и, в некотором роде, не под их рукою. Его патологическое учение, к слову, склоняло его к применению возбуждающих средств, хотя он злоупотреблял ими гораздо меньше, чем многие другие. Всё это ничуть не напоминает теорию раздражения, и наш автор продвинулся в этом вопросе даже меньше, чем Платнер.

До сих пор понятие раздражимости рассматривалось слишком неопределенно и неизменно отвлеченно. Но явился великий Галлер и посредством точных опытов установил, какие именно ткани являются раздражимыми. Результат показал, что только мышечное волокно обладает свойством раздражимости. Что же касается прочих тканей, то одни из них — как, например, нервная ткань и те, что ею обильно снабжены, — получили в удел лишь чувствительность. Другие же, и они отнюдь не самые малочисленные, были признаны лишенными обоих этих свойств и наделенными лишь «мертвой силой». Сеть нервных связей, которая, согласно Галлеру, обеспечивает лишь чувствительность, служила ему для объяснения «симпатий», или процесса передачи возбуждения от волокон одной части тела к другой.

Эта теория стала огромным шагом вперед, так как она придала стройность и осязаемость идеям, которые доселе оставались слишком абстрактными, чтобы убедить умы строгие и взыскательные. Однако прежде всего она не давала удовлетворительного объяснения феноменам моторики и тем движениям, которые происходят в многочисленных тканях, лишенных Галлером и раздражимости, и чувствительности ради признания за ними одной лишь «мертвой силы». Ибо что есть «мертвая сила» в живом теле? Клетчатка и органы, из нее состоящие (как, например, сухожилия), согласно автору, не обладали никакими жизненными свойствами. Как же в таком случае объяснить связь этих тканей с теми, что наделены чувствительностью и раздражимостью? Но, помимо этого первого изъяна, система Галлера обладала и вторым, не менее серьезным изъяном. Чувствительность — эта частица души, согласно воззрениям древних, — оказалась материализована через привязку к нервной ткани и еретическим образом поставлена в один ряд с раздражимостью мышечного волокна. Это неизбежно должно было вызвать бурные споры в среде физиологов и философов. Как бы то ни было, несмотря на все предпринимавшиеся в то время усилия по устранению неудобств этой материализации, посягавшей на владения души, она сохранилась до наших дней. Наши философы-спиритуалисты могут избавиться от этой «мучительной занозы» лишь одним способом: поместив душу между Богом и чувствительностью — подобно тому, как древние помещали дух или эфир между душой и материей. Мы еще непременно вернемся к этой теме.

Тем временем последователи Галлера по мере сил совершенствовали его теорию. Один из них возродил концепцию раздражимости Глиссона, сделав её

единственной причиной всех движений и наделив ею все ткани без исключения, тогда как за нервами он признал лишь способность возбуждать её и приводить в действие. Другой вскоре доказал, что раздражимость не зависит от «жизненных духов» и изначально присуща самим волокнам; ибо он продемонстрировал её в зоофитах и растениях. Другие исследователи показали, что сущность человеческого тела заключается в совокупности сил различных его тканей. Они обнаружили, что раздражимость сохраняется в тех частях, где чувствительность была уничтожена путем перевязки или иссечения соответствующих нервов. Было даже установлено, что раздражимость существует повсеместно, независимо от нервной системы; были выявлены внешние агенты, которые возбуждают, ослабляют, гасят или истощают её чрезмерным воздействием (труды школы Винтера). Эти возбудители раздражимости получили название стимуляторов — термин, сохранившийся до наших дней. Некоторые авторы зашли так далеко, что стали отрицать само существование нервного флюида.

Возникло множество споров относительно чувствительности каждой отдельной части тела; её отказывались оценивать на основании опытов над живыми животными, утверждая, что о ней следует судить скорее по боли, возникающей при воспалении, нежели по наличию нервов. Выдвигалось мнение, что сократимость является первичным свойством живой материи и что, следовательно, ею без исключения наделены все части тела. Эта точка зрения нашла множество сторонников. Именно так постепенно закладывались основы теории раздражения.

Как же случилось, что, обладая подобными данными, врачебная наука столь долго коснела в рамках медицинской онтологии? Почему всё вновь и вновь ставилось под сомнение, и как медицина дошла до наших дней, так и не сумев окончательно воссоединиться с физиологией через посредство концепции раздражения?

Пьер-Антуан Фабр, тем не менее, оказал этой теории неоценимую поддержку. Он лучше кого бы то ни было доказал раздражимость капиллярной системы, не зависящую от мозговой иннервации. Наблюдая за лягушками, он заметил, что кровь может двигаться в самых разных направлениях: зачастую она течет в обратную сторону в мелких артериях и в прямом направлении — в венах. Доктор Сарландьер повторил этот опыт в нашем присутствии, поместив брыжейку лягушки под фокус микроскопа. Мы воочию убедились, что частицы циркулирующих жидкостей со всех сторон устремляются и сходятся — даже через вены — к точке, подвергнутой раздражению путем укола иглой. Там они скапливаются, пока не образуется застой (конгенстия); впоследствии же те частицы, что находятся на периферии, могут высвободиться и принять обратное направление, если поблизости от первого очага раздражения создать новый. Этот факт становится решающим для теории многих заболеваний, вызванных раздражением, а также для учения о ревульсиях (отвлекающей терапии). Фабр уже успешно применил это наблюдение к теории воспалений. Если же его попытки применить этот принцип к лихорадкам оказались

менее убедительными, то лишь потому, что он не рассматривал эти недуги как флегмазии (воспаления).

В самом деле, пока лихорадки не сводились к феномену воспалительного раздражения, они оставались в области «жизненного начала» — своего рода нематериальной, но брэнной души, подчиненной душе бессмертной или, по крайней мере, тесно с ней связанной. Это провидческое начало, это внутреннее гиппократово провидение, каждое действие которого имело скрытую цель, подлежащую разгадке, низводило роль врача до уровня *авгуров* и *гаруспиков*. Так обстояло дело в большинстве наиболее выраженных случаев, и особенно в тех, что вызывают живейший интерес по причине многообразия и чрезвычайной изменчивости разворачивающихся в них картин. Каким образом ряд понятий, по большей части столь неполных, мог соединиться с учением о раздражимости, чтобы превратиться в подлинную науку? Не следовало ли прежде всего низвергнуть чудовищный колосс «существенных лихорадок», столь усердно воздвигаемый трудами врачей всех времен, начиная с самых ранних эпох цивилизации?

Впрочем, эта новая теория воспаления, видевшая его причину в местном раздражении, притягивающем жидкости, дала средства для успешного оспаривания системы Бургаве. Последняя рассматривала закупорку мелких сосудов кровяными шариками как основную причину воспалительного процесса. Новая концепция заложила более прочные основы для терапии этих болезней, однако из неё не удалось извлечь всех тех преимуществ, на которые можно было рассчитывать. Причина заключалась в том, что рамки понятия «воспаление» были слишком узки, а существовавшие тогда медицинские системы стремились еще больше сократить число случаев, подпадающих под это определение. Онтология в ту эпоху была слишком могущественна, чтобы позволить теории раздражения получить широкое развитие и породить подлинно физиологическое учение.

Некоторые исследователи устанавливали тождество между нервной силой и раздражимостью, приписывая душе участие во всех актах раздражения. Однако, поскольку было доказано, что раздражимость не зависит от нервного влияния, эти идеи не получили признания. Иннервация в действительности является для волокна лишь причиной возбуждения, которое ограничивается приведением его в действие и делает его раздражимость более выраженной.

Так была подготовлена чисто нервная теория, возникшая в Эдинбурге, автором которой стал знаменитый Каллен. Она берет свое начало в учении Фридриха Гоффмана, ибо последний часто искал причину многих болезней в нервах. Однако теория Каллена отличается тем, что Гоффман ставил нервы в зависимость от твердой мозговой оболочки и объяснял их влияние механическим путем, из-за чего и причины болезней представлялись механическими. К тому же Гоффман допускал существование недугов, вызванных гуморальными причинами, тогда как Каллен

отвергал подобные объяснения, приписывая всё, в принципе, первичным нервным изменениям.

Каллен, собственно говоря, является отцом солидизма, хотя он нередко и отступает от его догм. В своем учении он сочетает идеи Гоффмана с положениями доктрины о силах организма. В своей теории лихорадок он исходит из принципа, согласно которому все причины этих состояний носят изнуряющий характер. Эта слабость локализуется на периферии, и реакция исцеляющей природы возбуждает силы организма и порождает жар; однако слабость периферии сохраняется на протяжении всего течения лихорадок. Слизистая оболочка желудка разделяет эту слабость.

Первопричиной ослабления кожных покровов является снижение энергии мозга. За атонией следует спазм, и именно против обоих этих состояний развивается ответная реакция организма. Таким образом, хина и прочие тонизирующие средства становятся специфическими лекарствами от этих недугов.

Каллен приписывает воспаление раздражению кровеносных капилляров; ревматизм приводится как типичный пример такого состояния, в то время как воспаления внутренних органов (висцеральные флегмазии) игнорируются. Что касается подагры, то она существенно отличается от ревматизма, поскольку рассматривается как системное заболевание: это нервная слабость, вызванная атонией пищеварительного аппарата. Данная атония порождает периодическую реакцию, вызывающую приступы, которые суть не что иное, как прилив крови (конгестия) к суставам.

Раздражение в этой системе становится важным, но почти всегда вторичным фактором. Подобное его использование представляется ошибочным. Автор выводит его из слабости, и тщетно задаваться вопросом, что означает эта «первичная слабость» при таких болезнях, которые успешнее излечиваются истощением сил пациента, нежели их возбуждением, с намерением их укрепить. Раздражение занимает здесь вовсе не то место, которое ему подобает; это еще не подлинное учение о раздражении. Впрочем, Каллен пренебрегает многими болезнями. Вопреки собственным принципам, он допускает существование «гуморальных едкостей» и почти неизменно возвращается к тонизирующему лечению. Именно ему мы обязаны распространением тонизирующей терапии при лихорадках и почти при всех хронических недугах, в которых он всегда усматривал расслабление желудка. Его идеи, закрепленные в системе его ученика Брауна, до сего дня господствовали в европейских медицинских школах.

Атония, вновь появляющаяся здесь на сцене, берет свое начало в понятии *laxum* Темисона, который полагал её средоточием сосуды; однако отныне атония предстает в ином свете. Еще Шталь признавал её как расслабление волокна в целом; Гоффман чаще помещал её в нервах, нежели в сосудах; Каллен же идет дальше и видит её во всех видах тканей. Теперь природа реагирует уже не на застой

жидкостей, как в системе Бургаве, а на расслабление, которое перешло в спазм. По крайней мере, последователи Бургаве признавали наличие энергии в органах. Раздраженное препятствием, преграждавшим путь вытолкнутой им крови, сердце удваивало свою энергию; сообщаемый им импульс становился столь мощным, что следствием того были воспаление и лихорадка. Этот «гнев сердца», пришедший на смену «гневу архея», был, по правде говоря, допущением произвольным, но, по крайней мере, он не заключал в себе внутреннего противоречия. Иначе обстояло дело с атоно-спазматической системой Каллена. Согласно его учению, атония локализовалась не только в коже и в периферических окончаниях сосудов; она поражала также желудок и, что особенно важно, головной мозг. Это — поразительный пример непоследовательности для доктрины, в которой нервная система провозглашалась главным органом жизни и двигателем всякой реакции. Ведь если мозг мыслится в состоянии слабости (*débilité*), то решительно неясно, откуда может исходить реакция, разжигающая лихорадку, дабы победить спазм и рассеять атонию. Будь Каллен анимистом, можно было бы предположить, что он возложил эту роль на душу; однако он рассуждал лишь о природе, жизни и материи. Следовательно, в его системе именно жизненное начало, понимаемое как нечто отличное от материи, должно воздействовать на неё и породить ответную реакцию.

Тем не менее, Каллен оказал медицине неоценимую услугу, направив её по пути постижения истинного образа действия лекарственных веществ. Он предоставил средства для упразднения понятия о специфических лекарствах, утверждая, что медикаменты воздействуют исключительно на нервную силу. Согласно его учению, их первоначальное действие обнаруживается в желудке, который благодаря своим многочисленным симпатическим связям динамически влияет на все части тела и исправляет предрасположенность к болезням. Это означало, что лекарства не воздействуют ни прямо, ни специфически на сами «болезненные сущности». И хотя автор чаще всего стремится лишь поднять тонус желудка, он, тем не менее, не игнорировал расслабляющее и разжигающее действие смягчающих средств, равно как и ту жизненную реакцию, которая превращает вяжущие и наркотические вещества в раздражители. На основании подобных данных со временем неизбежно должны были прийти к выводу, что любые терапевтические средства, каковы бы они ни были, лишь модифицируют жизненные свойства и действуют путем усиления или ослабления возбуждения органов. Таким образом, этот автор заложил для теории раздражения те основы, которым наблюдения его преемников должны были впоследствии придать еще большую прочность.

Джеймс Грегори, профессор из Эдинбурга и один из основателей новой «нервной теории», утверждает, что в живом организме всё есть нерв организма: он объясняет болезни посредством симпатий и сомневается в том, что успокоительные средства напрямую уменьшают раздражение; он склонен полагать, что их первичное воздействие само по себе является раздражающим. Эта идея, ставшая

одной из ключевых в системе Брауна и сохранявшая влияние вплоть до Разори, послужила фундаментом для всех рассуждений о возбуждении (*excitement*).

Самуэль Масгрейв, лондонский врач, принадлежал к той же школе: всё, вплоть до водянки и гнилостных, заразных болезней, зависело от состояния нервной системы, и лекарственные средства оказывали действие исключительно на эту систему.

Де ла Рош («Анализ функций нервной системы») проповедовал схожие принципы. Подобно Грегори, он проводит различие между быстротой и интенсивностью нервных явлений: первая возрастает пропорционально уменьшению второй. Он называет стимуляторами те агенты, которые ускоряют нервную деятельность, и закрепляет название тонизирующих за теми, что, по его мнению, способны придать ей силу. Эта теория получила широкое распространение: и по сей день возбуждение отличают от тонизирующего действия; однако последнее — лишь оттенок возбуждения, которое в силу этого не перестает быть основополагающим и по существу неизменным, как полагают врачи-физиологи.

Согласно Альберту Тэеру, лихорадка есть не что иное, как возбуждение нервов жизненно важных органов, следствием чего становится усиление раздражимости сердца и артерий. Он повторяет вслед за Бальиви, что «сырость» (лат. *cruditas*) при лихорадках является следствием спазматического и нерегулярного сокращения, и что прекращение этого спазма ведет к «варению» (лат. *coctio*). Подобные выражения слишком туманны; локализация спазма не определена. Этот спазм никак не связывается с воспалением; однако в целом очевидно, что учение о раздражении неуклонно стремится стать господствующей системой. Даже Штольц, несмотря на весь свой приверженность гуморализму, разделяет идею о том, что лихорадка и воспаление обусловлены повышенной раздражимостью сердца и артерий, а Зелле без колебаний видит причину лихорадки в особом состоянии нервной системы, которое нельзя определить иначе, как раздражение.

Теория Шеффера, врача из Ратисбонна, гораздо ближе к той, которую мы исповедуем сегодня во Франции, хотя она и существенно отличается от неё во многих важнейших пунктах, как будет показано далее. По его мнению, все болезни зависят от противоестественного раздражения нервной системы; возбуждение, «сырость» (*crudité*), «варение» (*coction*) — всё это имеет исключительно нервную природу. Критические выделения не являются разрешением лихорадочных заболеваний; они суть лишь признак расслабления, вызванного прекращением спазма. У данного автора заметно неуклонное стремление приписывать большее значение пораженным, раздраженным нервам, нежели мнимым «едким началам» (*âcretés*). Лекарственные средства воздействуют на нервы желудка; они приводят в действие симпатические связи при посредстве большого межреберного нерва. Безусловно, это ценные данные для обоснования теории острых болезней, однако

автору недостает сопоставлений, которые позволили бы извлечь из них пользу: из своей теории он делает вывод о необходимости применения рвотных средств как способа произвести сильное потрясение в организме, сокрушить спазм, ускорить «варение» и так далее. Прибегать к раздражающим средствам для преодоления раздражения, не имея целью произвести ревульсию (то есть создать вторичное раздражение), но приписывая им некую специфическую, непосредственно анти-ирритативную силу — как это делал впоследствии Разори — означало иметь ложное представление о раздражимости тканей. Ибо верное представление зиждется на знании образа действия внутренних жидкостей и всех внешних факторов, на те же самые ткани; именно это здоровое понятие и составляет подлинную науку врачевания.

В трудах Джона Гардинера мы находим превосходное применение господствовавшей в ту эпоху «нервической» доктрины. Он приписывает возникновение катара переносу раздражения с кожных покровов на внутреннюю поверхность дыхательных путей. Можно ли выразиться точнее относительно седативного действия холода? И отчего же прочие положения теории не были приведены в согласие с этим выводом?

Некоторые современные систематики воспроизвели систему, в полной мере развитую еще у Вандерхёвеля. Сей автор основывал её на различных отклонениях (абберациях) жизненной силы: роды болезней определялись расстройством общих функций, а виды — расстройством функций частных. Таким образом, выделялись недуги, происходящие от избытка общей раздражимости, и иные — от избытка раздражимости местной, и так далее. Порочность сего метода уже была доказана: невозможно рассматривать жизненные свойства в отрыве от самих органов, дабы представлять их первопричиной их же поражений. Надлежит изучать повреждение этих свойств в больных органах, а не поражение органов как следствие болезни их свойств; ибо подобные болезни могут быть лишь химерами, и это — один из элементов медицинской онтологии. Тем не менее, эти попытки указывают на то, что внимание врачей более не стремится к призрачным вымыслам — хотя они всё ещё поддаются им неосознанно, — но направлено на явления, с которыми мы связываем само понятие жизни. Эти явления в большинстве своём были уже известны; их более нельзя было упускать из виду. Следовательно, вопрос заключался лишь в поиске верного метода их изучения, однако медицина была ещё далека от обладания им.

Отныне «разумная душа» Шталя более не властвовала над болезнями: её место заняли природа и жизненная сила; из анимистов врачи превратились в солидистов. По мнению Вакка Берлингьери, профессора из Пизы, вовсе не следовало уделять основное внимание «гуморам» (жидкостям). Надлежало ограничиться изучением плотных частей организма и сил, их одушевляющих. В циркулирующих жидкостях нет места гниению; оно существует лишь вне сосудов. Атмосферные влияния изменяют гуморы лишь постольку, поскольку воздействуют на плотные части. Берлингьери признаёт некое начало реакции, которое служит причиной всех

перемен, как благотворных, так и пагубных; именно на это начало, тождественное жизненной силе, врач должен воздействовать лекарствами, ибо они не могут оказывать свое воздействие исключительно на этот принцип. Основания этой теории весьма добротны, однако её практическое применение было неудачным. Исследователи всё еще оставались в плену широких обобщений. Вопреки воле ученых, сохранялась тенденция к абстрагированию жизненного начала; раздражение не рассматривалось применительно к каждому отдельному органу, а связи их раздражимости с различными факторами воздействия оставались неизученными.

Гримо, профессор школы Монпелье, также принадлежал к числу виталистов, но его подход заслуживает особого внимания. Он обнаруживает тесное родство между нервными болезнями и лихорадками, усматривая в них один и тот же принцип реакции. Озноб и жар при лихорадке, по его мнению, в равной степени являются поражениями нервных структур. При этом расстройства жидкостей (гуморов) отнюдь не являются следствием патологий твердых частей организма, поскольку жизненное начало воздействует на жидкости точно так же. Следовательно, жидкости имеют свои собственные «жизненные болезни», не зависящие от состояния твердых тканей. Этот новый род гуморализма, который ранее уже проповедовал Бордё, с тех пор неизменно находил своих сторонников. Однако заставлять жизненное начало «парить» над твердыми телами и жидкостями, отделяя его от них, — значит впадать в онтологию; а видеть болезненные сущности полностью сформированными в жидкостях еще до того, как пострадают твердые ткани, — это чистейшая иллюзия и химера. Причина болезни вполне может в течение некоторого времени пребывать в жидкостях, как мы увидим ниже, однако болезнь в строгом смысле слова в них не локализуется. Наконец, попытка воздействовать лечебными средствами на жидкости в отрыве от твердых частей организма — еще одна химера, которую невозможно подтвердить ни одним фактом. Какую бы роль ни отводили живому «солиду» в рамках данной теории, в ней нельзя увидеть ничего, что позволило бы смешать её с учением о раздражении.

Несмотря на все труды солидистов, до сих пор не удалось привести к единству различные феномены животного организма. Большинство врачей, вслед за Галлером, неизменно отделяли нервную силу от раздражимости, которую приписывали исключительно мышечной системе. Вследствие этого раздражение нервов ни в коей мере не уподоблялось раздражению мышц, и врачи не имели ни малейшего представления о раздражении тканей, которые сей автор наделил лишь «мертвой силой». Предпринимались попытки установить столь желанное единство, утверждая, что нервы служат основой всех тканей и что, в конечном счете, всё сводится к нервной субстанции. Однако подобная гипотеза не могла прельстить анатомов и опровергалась наблюдениями практикующих врачей, которые не могли примириться с мыслью, что в основе влияния причин болезней и действия лекарств лежит исключительно нервное изменение. С другой стороны, жизненное начало

казалось недостаточно материальным, чтобы его можно было соотнести с внешними факторами; нельзя было и скрыть того, что попытки воздействовать на него согласно принятым в то время теориям далеко не всегда приводили к ожидаемым результатам.

Неудовлетворенность, порожденная этими тягостными сомнениями, уже склоняла многие выдающиеся умы к эмпиризму, когда система Брауна, поначалу неизвестная и презируемая, начала получать распространение, захватив пристальное внимание большинства медиков.

Браун был учеником Каллена: вслед за своим учителем он усвоил идею о том, что в основе большинства недугов лежит слабость. Однако он не рассматривал спазм как нечто обособленное, видя в нем лишь проявление общей немощи, и полностью отвергал любые гуморальные объяснения. Подобно Каллену, Браун придерживался мысли о неспецифичности лекарственных средств, усматривая в их влиянии на органы лишь изменение жизненного тонуса. Он вовсе не использовал термин «жизненное начало» и не стремился к сведению функций организма к чисто нервным явлениям; он оперировал лишь двумя понятиями — возбуждением и его недостатком, и связал их с двумя другими, ставшими их эквивалентами: избытком силы и нехваткой силы. В прошлом уже существовала теория *strictum* и *laxum*: Браун включил и эти понятия в свою теорию, так что избыток возбуждения и силы стал отождествляться с избытком тонуса, или *strictum*, в то время как *laxum* соотносился с недостатком силы и возбуждения.

Браун прежде всего выдвинул принцип, согласно которому жизнь поддерживается только возбуждением, и что жить — значит не что иное, как быть возбуждаемым. До этого момента всё кажется неоспоримым; вполне очевидно, что всё заставляющее нас жить не имеет иного заметного глазу наблюдателя эффекта, кроме оживления тех явлений, с которыми мы связываем само понятие жизни, когда они начинают угасать и, казалось бы, стремятся к полному исчезновению. Однако, чтобы извлечь пользу из этого принципа, необходимо было изучить все части тела в их отношении к внешним факторам возбуждения, исследовать, как органы взаимно возбуждают друг друга, и внимательно изучить воздействие внешних и внутренних возбудителей на каждую из тканей, из которых состоят эти органы. И вот как раз этого Браун и не сделал; ибо подобный способ изучения возбуждения есть не что иное, как французское учение, именуемое доктриной или, если угодно, физиологическим методом. Посмотрим же, что он предпринял, и попытаемся обнаружить корень его заблуждений.

Браун рассматривал возбуждение отвлеченно, то есть в отрыве от органов, и с самого начала погрузился в область онтологии; затем он перенес на сами органы то, что было лишь плодом его воображения относительно возбудимости. Он утверждал, что возбудимость, рассматриваемая в общем смысле как некое видоизменение жизни, расходуется и истощается под действием раздражителей или самого

процесса возбуждения, и накапливается в состоянии покоя, то есть при отсутствии оно. Из этого принципа он вывел множество следствий, лишь немногие из которых оказались верными. Так, согласно его системе: (1) Умеренное возбуждение поддерживает равновесие сил, с чем никто не станет спорить; (2) Более сильное возбуждение порождает избыток бодрости — источник всех болезней, которые он называет стеническими, или происходящими от избытка сил; (3) Еще более энергичное воздействие истощает возбудимость и порождает слабость, или непрямую астению.

Однако существует и другой род слабости, которую он называет прямой; она неизменно является следствием недостатка возбуждения: и чем сильнее она увеличивается, тем более крайней становится степень возбудимости. Браун дошел до того, что составил двойную шкалу, представляющую, с одной стороны, все ступени возрастания возбуждения под действием стимулов вплоть до высшей точки, которая переходит в слабость, или косвенную астению; а с другой — все степени возрастания возбудимости из-за отсутствия стимулов, результатом чего становится прямая астения, ведущая к крайней немощи, завершающейся смертью. Нетрудно почувствовать, насколько ложна и нелепа теория, полагающая наивысшую степень возбудимости именно в тот момент, когда это свойство готово угаснуть навсегда; однако это лишь малейший её изъян. Главный же порок заключался в том, что она вела последователей Брауна к крайне губительной практике. Ложное допущение, будто жизненная сила неуклонно истощается при высокой степени возбуждения, давая почву для косвенной слабости, побуждало Брауна лечить возбуждающими средствами все воспалительные заболевания, вызывающие упадок сил и невозможность мышечного движения. Столь же ошибочная мысль о том, что всякий раз, когда возбуждающие средства воздействуют на организм в меньшем количестве, чем обычно, возбудимость накапливается, и её необходимо расходовать с помощью возбуждающих средств. Это убеждение обязывало его назначать подобного рода модификаторы всем лицам, страдающим хроническими заболеваниями. В самом деле, Браун ставил все возбуждающие средства в один ряд; пища и жидкости, содержащиеся в сосудах, составляли их главную часть. Отсюда со всей очевидностью следовало, что раз эти больные были более истощены, чем в здоровом состоянии, значит, они получали недостаточное возбуждение, и, следовательно, не было ничего более безотлагательного, чем подвергнуть их интенсивному воздействию возбуждающих факторов. Однако сегодня, благодаря развитию физиологического учения, известно, что большинство длительных болезней представляют собой воспаления, которые были вызваны и поддерживались именно возбуждающими средствами; излечить же их можно лишь путем длительного применения агентов с совершенно противоположными свойствами.

Если бы Браун изучал возбуждение непосредственно в органах, а не рассматривал его как абстракцию, он избежал бы всех этих заблуждений. Он бы

признал, что люди, чей режим жизни излишне возбуждающ, вместо того чтобы становиться менее раздражительными (как он утверждает), делаются таковыми в еще большей степени, и в конечном итоге приходят к состоянию, когда более не могут переносить какое-либо возбуждение. Он бы понял, что возбудимость может быть значительно повышена в одних органах, в то время как в других она снижена; как, например, в следующем случае: когда лица, злоупотреблявшие алкогольными напитками, впадают в оцепенение, сопровождаемое сильной лихорадкой, внутренняя поверхность их пищеварительных органов оказывается крайне возбудимой, хотя внешние органы чувств почти не проявляют чувствительности. Будучи убежденным в этой важной истине, он не стал бы рекомендовать лечение большинства острых заболеваний с помощью вина, хины и других подобных стимуляторов, и человечеству не пришлось бы столь горько сетовать на поразительные успехи, которые его система продолжала делать вплоть до наших дней.

Если бы Браун внимательно наблюдал за больными, истощенными и изнуренными затяжными недугами, он смог бы убедиться, что в большинстве случаев их худоба проистекает из их чрезмерной возбудимости, вызванной избытком раздражения, а вовсе не его недостатком; и что, следовательно, вовсе не подвергая их новому возбуждению, можно надеяться на снижение их возбудимости. Сделай он это замечание, мы бы и в наши дни не встречали многих врачей, лечащих стимулирующими средствами пациентов, страдающих от хронических воспалений, и тем самым ускоряя разрушение их внутренних органов.

Абстрактные умозаключения этого автора о возбудимости не открыли ему истинных законов этого явления. Он не видел, что когда больные, и без того чрезмерно возбужденные, выздоравливают под воздействием возбуждающих лекарств, это происходит лишь благодаря ревульсии — то есть перемещению возбуждения, которое оставляет жизненно важные органы и переходит на ткани вторичного порядка, зачастую приносимые в жертву ради сохранения жизни индивида. Он не замечал, что подобные счастливые исходы настолько редки, что в подавляющем большинстве случаев возбуждающее лечение довершает разрушение главных органов, влечет за собой смерть или вызывает изнурительные болезни, почти всегда неизлечимые.

Но Браун не был ни практиком, ни анатомом; к тому же в его времена знания о степени жизненности каждой из наших тканей были еще недостаточны для того, чтобы иметь возможность должным образом наблюдать феномен возбудимости и составить верное представление о способе, коим они взаимно передают друг другу возбуждение. Необходима была аналитическая анатомия, однако ни одна нация в ту пору еще не явила миру своего Шосье или Биша.

Такова в общих чертах суть знаменитой системы Брауна. Она не была принята во всей строгости во всех медицинских школах: одни модифицировали ее, не меняя,

впрочем, самих основ; другие смешивали ее с гуморальными теориями — в таких случаях лечение направлялось то против «порочных соков», то против избытка или недостатка жизненных сил. Третьи же склонились к своего рода эмпиризму, для которого браунизм служил лишь источником терапевтических указаний. Каждое заболевание рассматривалось не как поражение того или иного органа, но лишь как совокупность симптомов, носящая определенное наименование и неизменно требующая применения либо ослабляющих, либо укрепляющих средств. Следовательно, при осмотре больного врач просто подсчитывал симптомы, не задаваясь вопросом, от какого именно органа они зависят. По завершении этого всей совокупности признаков присваивали имя той болезни, с которой она обнаруживала наибольшее сходство. Сами наименования заимствовались у древних авторов, однако методы лечения целиком основывались на системе шотландского врача. Если болезнь относилась к числу стенических состояний по Броуну, её лечили ослабляющими средствами; если же она причислялась к астеническим состояниям того же автора, предпочтение отдавали стимуляторам — и стоит заметить, что последние случаи встречались несравненно чаще.

Впрочем, этой методике не всегда следовали неукоснительно, так как ни в одной из этих систем не было твердого основания. К примеру, среди лихорадочных заболеваний одни именовались по пораженному органу: пневмонии, перитониты, гепатиты; другие — по состоянию сил больного: лихорадки адинамические, стенические, астенические. Некоторые назывались сообразно материи, истекающей из пораженных частей: катары, слизистые лихорадки, желчные лихорадки; многие — по степени грозящей опасности: пагубные лихорадки; иные — по чувству замешательства или ужаса, который они внушали врачам: лихорадки злокачественные, нерегулярные или атаксические; прочие же — по определенным преобладающим симптомам: лихорадки обморочные, алгидные, нервные и так далее. Такая же путаница наблюдалась и в отношении хронических недугов: существовали диспепсии — болезни, классифицируемые по затрудненному пищеварению; ипохондрии, получившие свое название из-за определенных ощущений, локализованных в области подреберий; застойные явления, причины которых трактовались неверно; лишай и золотуха, чья связь с состоянием внутренних органов оставалась совершенно неясной, и прочее. Когда вопрос касался лечения, врачи порой стремились «рассасывать» уплотнения, не задумываясь о том возбуждении, которое вызывают так называемые «рассасывающие» средства. В других случаях они намеревались воздействовать на кожу, забывая, что потогонные лекарства, прежде чем спровоцировать пот, неизбежно в той или иной степени раздражают пищеварительный тракт. Нередко они притязали на борьбу с неким болезнетворным началом (вирусом) при помощи методов, которые лишь разрушали желудок. Чаще же всего основной целью ставилось восстановление сил и улучшение питания; при этом не замечали, что больному придается лишь мнимая бодрость и обманчивая полнота, за которыми скрывалось глубокое поражение важнейших органов, что лишь делало их

окончательное разрушение более неотвратимым. Одним словом, свойство раздражимости органов совершенно игнорировалось. Лекарства прописывались против пустых наименований, и совершаемые ошибки никогда не служили уроком для предотвращения новых заблуждений.

Эта отталкивающая путаница отвращала от медицины все светлые умы; их ввергали в объятия эмпиризма. Но на что можно было надеяться, полагаясь на эмпиризм, когда само понятие болезни было столь неопределенным? Суть эмпиризма заключается в поиске средства, подходящего для болезни, без стремления объяснить ни природу последней, ни то, каким образом она изменяется под воздействием лекарства. Но какое представление о болезни можно было составить в ту медицинскую эпоху? Если отказаться от всяких объяснений, то болезнь могла казаться лишь совокупностью симптомов или даже одним-единственным симптомом — например, отсутствием аппетита. Однако порой отсутствие аппетита излечивается водой, а порой — вином; иногда — очищением или постом, а в других случаях — употреблением пищи более обильной или возбуждающей, чем обычно, и так далее. Как же быть? Какое принять решение? Если не желать рассуждать или выстраивать теорию, чтобы определить, к какому из этих средств следует прибегнуть, остается лишь испытывать их поочередно. И если по несчастью первым будет выбрано средство неподходящее, оно лишь усугубит недуг и, быть может, сделает его неизлечимым. То, что я говорю здесь о потере аппетита, применимо к большинству других болезней. Таким образом, врачи не могли придерживаться исключительно эмпирического метода: они разделялись на два больших класса. Одни, легковверные и поверхностные, всецело вверяли себя теории — в особенности той, что пользовалась признанием в их стране или которую красноречиво проповедовал с университетской кафедры какой-нибудь профессор. Другие, чье суждение было слишком строгим, а ум — от природы склонным к сомнениям, ударялись в эмпиризм или в опаснейшую эклектику; в глазах ученых мужей они лишь сокрушались о неопределенности и бессилии врачебного искусства. В неустанных поисках и стремлении познать всё о физической природе человека исследователи, казалось, пришли к полному сомнению во всем.

Из этого краткого очерка легко усмотреть, что медицина в ту пору вовсе не являлась наукой, а понятие возбуждения, которое столь трудно поддавалось осмыслению, еще не сделалось основой стройной системы, приложимой в равной степени как к здоровью, так и к болезни. Между тем, не существовало иного пути к созиданию истинной науки, и в этом убедится каждый, когда мы изложим основные догматы физиологического учения.

Глава третья:

Принципы физиологической доктрины

В основе данной доктрины лежит понятие *раздражения*. Прежде всего, мы, вслед за Брауном, утверждаем, что жизнь поддерживается исключительно благодаря возбуждению. Однако мы сразу же расходимся в суждениях с упомянутым автором, поскольку он избирает путь абстракции, постоянно рассуждая о возбуждении как о чем-то отвлеченном и самобытном. Мы же предпочитаем изучать это явление непосредственно в органах и составляющих их тканях или, вернее сказать, наблюдать сами органы и ткани в состоянии возбуждения. Именно такое исследование открывает нам ряд общих истин, которые мы изложим ниже, подкрепив их некоторыми примерами.

Человек может существовать лишь благодаря возбуждению или стимуляции (ибо эти понятия синонимичны), которые оказывают на его органы те среды, в коих он вынужден пребывать. Воздействие этих сред не ограничивается лишь стимуляцией внешней поверхности тела, состоящей из кожных покровов и органов зрения; они проникают внутрь через естественные отверстия, которые сами по себе являясь чувствительными органами, переходят в обширные поверхности, составляющие продолжение кожного покрова. Эти поверхности, которые можно рассматривать как внутренние органы чувств, проникают вглубь многих внутренних органов и, подобно внешним чувствам, воспринимают стимуляцию или возбуждение от инородных тел. По своему строению эти поверхности, как и сама кожа, являются перепончатыми (мембранозными), но отличаются от неё по структуре. К ним относятся: внутренняя оболочка гортани, которая через трахею и бронхи проникает во все легочные альвеолы, и оболочка глотки, спускающаяся через пищевод в желудок и выстилающая весь кишечный тракт до самого анального отверстия. Обе эти поверхности находятся в непрерывном контакте: первая — с воздухом и взвешенными в нем частицами; вторая — с воздухом, пищей, питьем и всем тем, что может быть введено как через рот, так и через анальное отверстие. Результатом этого контакта и является возбуждение.

Оно воздействует на нервное вещество указанных поверхностей, как внешних, так и внутренних, которые мы называем поверхностями соотношения (*surfaces de rapport*). Это нервное вещество, получив возбуждение, передает его нервному аппарату; а тот, либо посредством одних лишь своих нервных ветвей, либо при участии своего центра — то есть головного мозга, — отражает его во всю толщу всех тканей, не исключая и поверхности взаимодействия. Таким образом, эти поверхности оказываются помещены между двумя факторами возбуждения:

внешними телами, с которыми они соприкасаются, и влиянием головного мозга, которое мы назовем иннервацией.¹

Импульсы, возникающие вследствие стимуляции нервного аппарата, на протяжении всей жизни поддерживают те движения, которые начались еще у плода. Эмбрион, с которого берет начало живое существо, поначалу есть не что иное, как крошечная масса живой материи. Но эта материя способна сохранять жизнь лишь благодаря возбуждению, которое производят в ней вещества, служащие для её питания. Эмбрион обретает их прежде в соках матки, которые сами подверглись воздействию внешних модифицирующих факторов; следовательно, его первыми возбудителями служат жидкости уже «анимализированные», словно первые питательные материалы. Но когда благодаря им органы развиваются до определенной степени, ребенок должен начать черпать и то, и другое из самого лона природы. Те возбуждающие начала, которыми он наделен в момент появления на свет — то есть жидкости, содержащиеся в его сосудах, — вскоре истощились бы или утратили свои возбуждающие и питательные свойства, если бы не обновлялись непрерывно. Именно стимуляция поверхностей взаимодействия, именно то возбуждение, которое она вызывает в нервном аппарате, именно впечатление, производимое только что поглощенными чужеродными молекулами, — именно эти совокупные воздействия, присоединяясь к возбуждению, вызываемому кровью или уже усвоенными жидкостями, поддерживают работу сердца, активность всех капиллярных тканей и, следовательно, саму жизнь.

Таким образом, существуют три разряда стимулирующих или возбуждающих сил: Внешние тела — конвергентное (сходящееся) возбуждение, направленное к мозгу; Иннервация тканей мозгом — дивергентное (расходящееся) возбуждение; Стимуляция, возникающая при движении жидкостей (как усвоенных, так и еще не усвоенных) в среде твердых частей организма — общее возбуждение, распространяющееся во всех направлениях. Добавьте к этому влияние органов друг на друга — либо через посредство головного мозга, либо непосредственно через нервные волокна. Подобный род стимуляции также распространяется во всех направлениях, и так вы получите представление об основных стимулах, действующих в организме.

Однако это еще не всё: жидкости в процессе взаимодействия между собой и с твердыми частями тела претерпевают новые соединения, изменения формы и непрерывные превращения. Отсюда проистекает метаморфоза питательных веществ в соки, присущие конкретному индивиду: превращение хилуса в кровь; крови — в различные секреты; жидкостей — в твердые тела; и твердых тел — снова в

¹ Сегодня ставится под сомнение, не является ли возбуждение нервов следствием действия электрического флюида. Мы не будем разбирать этот вопрос; являются ли нервы проводниками электричества или чего-либо иного, феномены раздражения органов от того не перестают быть фактами, которые всегда могут быть предметом наблюдения и констатации, служа истории науки.

жидкости. Все эти молекулярные движения, основанные на сродстве, присущем живым телам, и составляющие то, что мы называем (выделяя это понятие лишь мысленно) органической химией, можно рассматривать как новые причины возбуждения. В самом деле, именно они вызывают выделение теплорода; и теплород, порождаемый внутри тканей по этой причине, служит для тех же самых тканей раздражителем, который стимулирует их точно так же, как и внешнее тепло.

К этим причинам возбуждения — уже весьма многочисленным, но всецело принадлежащим к области витального — примыкают факторы, именуемые нами нежизненными: таковы притяжение и его различные проявления, электричество, а также грубые химические процессы, которые зачастую воздействуют на поверхности соприкосновения вместе с иными чужеродными телами. Эти силы стремятся уподобить органические тела телам косным, и если им не всегда это удастся, то лишь потому, что законы жизни противостоят им, нейтрализуя их влияние. Сама же эта реакция представляет собой не что иное, как акт возбуждения.

Именно под непрерывным воздействием этих многообразных причин возбуждения и поддерживается жизнь. Она зависит от них в такой мере, что стоит этим причинам исчезнуть, как смерть становится неизбежной. Немало похвал было воздано жизненной силе, этой охранительной мощи. Безусловно, она способна вызывать восхищение, однако не следует приписывать ей излишнего. Человека привыкли представлять существом едва ли не самовластным, свободным среди природы, которой он, кажется, повелевает. Желаете ли вы убедиться в его мнимой независимости? Чтобы повергнуть его, нет нужды прибегать к силам сокрушительной мощи, таким как яд, огонь или извержение вулкана; попробуйте лишить его на несколько минут возбуждающего воздействия кислорода и теплорода; а затем предложите ему проявить ту охранительную силу, которую столь часто превозносят при лечении всевозможных недугов. Он черпал средства для неё в физическом агенте; отсутствия этого модифицирующего фактора оказалось достаточно, чтобы лишить его этой силы. Вы не сокрушили орудия его жизненной мощи; вы ничего у него не отняли; вы лишь пресекли ток неведомого, но материального начала, приводившего в движение пружины его существования: вы прервали его лишь на мгновение, и вот уже человек — не более чем груда неодушевленной материи. Пусть же теперь попробуют оспорить коренное положение физиологического учения!

Мы свели к возбуждению проявление всех тех феноменов, с которыми во все времена связывали само понятие жизни: а именно, движения плотной органической материи, упорядоченной в виде волокон — сократимость, и, как следствие, движения жидкостей или подвижной животной материи; осознание этих движений — чувствительность, видоизменения которой обуславливают все наши интеллектуальные операции. Именно от этих явлений зависят все прочие, такие как выработка животной теплоты, питание — или обмен веществ животного организма с веществами иных тел, — размножение и так далее.

Поскольку сократимость является главным орудием вторичных явлений организма (ибо первичными выступают явления молекулярного сродства), представляется крайне важным точно определить само понятие сократимости. В нашей «Физиологии» мы определили её как уплотнение и укорочение животного волокна. Мы также выдвинули положение, что это укорочение не является исключительной принадлежностью лишь мышечного волокна, но обще всем формам живой материи, служащим для построения наших органов и сводящимся к следующим видам: фибрину, желатину и альбумину. Однако, ввиду того что были опубликованы результаты опытов и даже гравюры, призванные доказать, что мышечное волокно при сокращении не претерпевает укорочения, а лишь подвергается особого рода зигзагообразному складыванию, которое не приводит к существенному уменьшению его длины, мы считаем полезным — дабы избавить наших читателей от утомительных изысканий — напомнить здесь о фактах, на которых мы основывались, обобщая понятие сократимости и рассматривая её в вышеизложенном ключе. Впрочем, я должен заметить, что сие объяснение не является строго необходимым для поддержания физиологического учения; оно избыточно. И даже если бы подтвердилось, что мышечное сокращение не представляет собой укорочения волокна, основы сей доктрины не были бы даже поколеблены, а тем паче — низвергнуты, как о том провозглашалось в неких победных гимнах, оценку коих я оставляю на суд людей здравомыслящих. Но обратимся к фактам.

Мышцы суть агенты всякого движения: они производят его, сокращаясь; сокращаясь же, они укорачиваются — в том нас убеждает простое свидетельство очевидности. Если бы кто и вознамерился подвергнуть сомнению сие укорочение у человека или животных, чьи мышцы тянутся от одной кости к другой, то невозможно отрицать его у червей и моллюсков.

Словом, у всех существ, лишенных скелета, укорочение мышечного волокна столь явно, что надобно быть лишенным зрения, дабы оспаривать оное. Тот же, кто стал бы утверждать, что у теплокровных животных процесс укорочения протекает иначе, глубоко заблуждался бы, ибо оно совершенно очевидно в хоботе слона; простая складчатость не могла бы произвести в ней столь значительного сокращения. Никто также не вознамерится отрицать укорочение мышечных волокон желудка, кишечника, мочевого пузыря или матки; ибо более чем очевидно (*si fas*), что сии волокна короче, когда эти органы пусты и их внутренние стенки соприкасаются, нежели когда они растянуты вследствие скопления инородных тел.

Укорочение или уплотнение мышечного волокна есть, таким образом, факт вполне доказанный; и опираться на сей факт при объяснении других явлений вовсе не означает строить выводы на гипотезе; напротив, это есть путь рассуждения весьма последовательного.

Если бы кто-то был искушен приписать сокращение мышц в целом нервным тканям, пронизывающим их у животных с красной кровью — род заблуждения, проповедававшийся прежде и который, быть может, некие люди вздумали бы оживить, — то ответом послужило бы то, что полипы, осьминоги и прочие существа, у коих укорочение столь выражено, вовсе не имеют нервов. Можно было бы также указать на сократительную силу в фибрине, извлеченном из крови, а равно и в фибрине некоторых злаковых растений. Таким образом, укорочение есть свойство мышечного волокна и фибрина в целом: сие свойство обусловлено самой организацией этой формы животной материи; оно не зависит от нервной ткани. Отрицать сии положения значило бы отрицать очевидное, и нет ни одного искусственного опыта, который мог бы хоть в малой степени опровергнуть свидетельства естественных опытов.

Множество различных агентов могут приводить в действие сократимость мышечного волокна; однако именно стимулы, передаваемые посредством нервных тканей, возбуждают её с наибольшей эффективностью. В самом деле, всякий раз, когда животный организм не является совершенно однородным, когда он наделен различными органами, предназначенными для согласованного движения, обнаруживается ткань, передающая возбуждение от одних органов к другим, — и ткань эта есть нервная. Сия ткань наделена центром, именуемым мозгом, и множеством различным образом устроенных разветвлений, известных под названием нервов. Оконечности этих разветвлений выходят на внешнюю поверхность тела, к чувствительным покровам или внешним чувствам, а также внутрь определенных органов, к чувствительным поверхностям внутренним или чувствам внутренним; кроме того, они встречаются и во всех прочих органах, хотя там они не столь многочисленны, и не столь развиты: во всех этих местах нервные окончания воспринимают раздражения; они проводят их к своему центру, который отражает их через другие нервы в мышцы, дабы фибрин последних сокращался или уплотнялся — что, в сущности, одно и то же — и тем самым обуславливал движения, необходимые для отправления жизненных функций.

Некоторые физиологи полагают, что субстанция, пробегающая по нервам для возбуждения мышечного волокна, есть нечто подобное электричеству; другие же отвергают это объяснение, утверждая, что электрический флюид вполне может следовать путем нервов, но не проникает в их внутреннюю структуру. Посему они допускают существование особого флюида, циркулирующего в нервных фибриллах. Доподлинно известно лишь то, что при пропускании электрического тока вдоль главного нерва отделенной от тела конечности происходит сокращение всех мышечных волокон этой конечности, к которым подходят ответвления упомянутого нерва. Однако это обстоятельство никак не проясняет рассматриваемый нами вопрос.

Движения, совершаемые посредством сокращения мышечного волокна, включают в себя все акты локомоции, коим нет числа; звуки голоса, дыхание, акты

глотания; движения, обеспечивающие продвижение принятой пищи по пищеварительному тракту; большая часть актов опорожнения организма; все вольные и невольные движения определенной силы, кои служат для выражения потребностей, страстей — словом, любых сколько-нибудь живых ощущений; а также все те движения, что приводят в движение массы циркулирующих в теле жидкостей, и так далее.

Перед нами — великое множество движений, совершаемых фибрином человеческого тела, составляющим основу мышечной материи; и все они зависят единственно от его сокращения или сгущения. Но разве само это сгущение не вызывается явным образом возбуждением, которое различные агенты сообщают нервам и которое через них передается фибрину? Между тем, избыточность всех этих движений составляет один из видов болезненного возбуждения, своего рода раздражение. Но даже если бы сокращения как такового не происходило, сия избыточность не стала бы от того менее реальной: будучи вызвана теми же причинами и поддаваясь тем же средствам успокоения, она всё так же представляла бы собой один из обширных разделов раздражительных болезней, признанных физиологическим учением, в чем мы вскоре и убедимся. Перейдем к другой форме животной материи.

Эта вторая форма — желатин; он составляет подавляющее большинство тканей, не являющихся мышечными, или, точнее, обнаруживается во всех органах, перемежаясь с иными видами животного вещества. Повсеместно за ним признают свойство сократимости, и эта сократимость, подобно сократимости фибрина, представляет собой укорочение или уплотнение.

Клетчатка и ареолярная ткань, служащие связующим звеном для всех частей тела и вмещающим жир, образованы из желатина. Эта ткань также способна к сокращению: когда при истощении она пустеет, она уплотняется и влечет за собой кожу, которая образует тем меньше морщин, чем моложе и крепче человек. Достаточно вскрыть и сравнить тело тучное с телом худощавым, чтобы обрести уверенность: клетчатка, уплотняясь, стягивается к исходному состоянию, причем это движение охватывает весьма значительное пространство. Она возвращает на прежнее место не только кожу, оттесненную от других органов полностью, серозными выпотами и прочим, но также и все серозные оболочки, предназначенные для облегчения движений органов друг относительно друга, чье положение могло измениться вследствие естественного или болезненного увеличения объема, как то: при наполнении желудка пищей, при беременности, серозных скоплениях или водянках, воспалительных опухолях и так далее.

Фиброзная ткань, служащая основанием кожи, имеет желатиновую природу; каждому известно, с какой силой она сокращается при испуге и иных сильных чувствах, вызывающих так называемую «гусиную кожу», заставляющих волосы вставать дыбом и прочее.

Фиброзные ткани пещеристых тел также состоят из желатина; их сократимость под влиянием холода, гнева, ужаса, стыда и тому подобного столь велика, что половой член кажется совершенно сжавшимся и отвердевшим. Подобное сокращение выражено еще более значительно у животных рода equus (лошадиных).

Сосудистая система образована желатином, за исключением крупных артерий, в которых фибрин представлен в особом своем видоизменении. Существует ли что-либо более способное к сокращению, нежели все эти капиллярные ткани, которые в мгновение ока возвращаются в исходное состояние после того, как были растянуты приливом жидкостей? Или же все эти выводные протоки, которые в иных случаях словно извергают свою жидкость? Таковы протоки слюнные, слезные и прочие. Не все выводные каналы столь стремительно выбрасывают содержимое, однако все они обладают достаточной силой, дабы вытеснить его, направлять и доставлять к месту назначения. И пусть не говорят, будто сие действие не является сокращением их волокон; оно является таковым в столь полной мере, что большинство этих каналов закрываются и облитерируются, как только прекращают действовать. Между тем, именно этот сосудистый аппарат, предназначенный для крови, лимфы или секретлируемых жидкостей, составляет бóльшую часть массы внутренних органов.

Посему было бы излишне настаивать на доказательстве того, что сократимость, заключающаяся в укорочении или сжатии, господствует во всех этих органах и обуславливает в них движение столбов жидкостей, по ним протекающих. Именно посредством нервного влияния, или иннервации, все эти сосудистые движения поддерживаются, оживляются и ускоряются: опыт не оставляет в том ни малейшего сомнения, ибо всё, что возбуждает нервы сосудистой ткани, всё, что способно обострить её чувствительность, привлекает туда жидкости в большем количестве, вызывает либо их накопление, либо их более обильный, чем обычно, выход, либо различные их трансформации и комбинации. Раздражение достигает сосудистых волокон, состоящих из желатина, обладающего природной способностью к сокращению, точно так же, как оно достигает волокон мышечных. Там оно равным образом вызывает сжатие, за которым следует удлинение или расслабление; именно соотношение и чередование этих двух движений объясняют любые перемещения столбов или масс жидкостей, циркулирующих в наших органах. К чему твердить, будто нервы являются единственными двигателями всех этих феноменов и будто процесс сокращения вены или лимфатического сосуда, чей просвет уменьшается по мере убывания объема проходящей через них жидкости, есть явление чисто нервное, к которому желатин не имеет никакого отношения? Это было бы столь же разумно, как и утверждение, будто мышечные волокна совершенно пассивны при сокращении соответствующих органов.

Желатин также образует связки, хрящи и кости: это животное вещество и здесь ничуть не утратило своей сократимости, ибо сие свойство составляет саму суть его существования. Однако проявления этой способности здесь скованы — то

переплетением желатиновых волокон, то их соединением с инертной материей, а именно с фосфорнокислой известью, которая сообщает им твердость. Вот почему часть живой животной материи подготовлена для того, чтобы служить точкой опоры для органов и определять форму и положение тела животного.

Наконец, остается третья форма животной материи — альбумин. Удобнее всего изучать его в головном мозге, так как там он сосредоточен в огромном объеме, и глаз может непосредственно наблюдать его движения. Так, движение сжатия становится там совершенно очевидным, стоит лишь снять верхнюю часть черепной коробки: после каждого биения сердца, после каждого вдоха заметно, как мозг, который до того приподнимался и расширялся, вновь сокращается. Это сжатие происходит в направлении его белых волокон — от периферии к центру и к основанию. Более того, наличие серозной оболочки между складками и различными поверхностями мозговой массы не позволяет ни на мгновение усомниться в том, что по этим волокнам непрерывно пробегает волнообразное движение и что вся масса мозга пребывает в вечном волнении. Нужно быть лишенным всякой способности к сопоставлению и дедукции, чтобы подвергнуть сомнению подобный факт. Мы даже утверждали ранее, и повторяем здесь снова, что эти движения предшествуют появлению серозных поверхностей головного мозга и даже должны обуславливать их возникновение; ибо природа желатинового вещества, составляющего эти мембраны, такова, что две неподвижные относительно друг друга поверхности неизбежно должны были бы срастись.

Поскольку переменные движения сжатия и расслабления присущи белковым массам, они должны быть свойственны и каждой отдельной фибре; невозможно допустить, чтобы они оставались чужды явлениям иннервации. Безусловно, внутри нервных тканей происходит нечто большее; несомненно, нам неведомо, каким образом это «нечто» связано с упомянутыми движениями и как оно использует их в процессе иннервации. Тем не менее, сократимость должна быть признана коренным жизненным свойством нервного вещества. Оболочки мозга, неврилема нервов и сосудистая система того и другого обладают ею как ткани желатиновые. Белок же, или собственно нервное волокно, наделено ею как субстанция альбуминовая. Именно через это важнейшее вещество мы вступаем во взаимодействие с кислородом, с теплотой, с электричеством и иными невесомыми флюидами — словом, быть может, с тем вечным источником жизни, чья сущность остается для нас непостижимой и чьего мгновенного избытка или недостатка достаточно, чтобы нас уничтожить. Нам не дано объяснить эти первоначальные акты жизни, ибо мы не в силах ни возвыситься над тем феноменом, что созидает нас как существ чувствующих, ни над самим актом, посредством которого мы наблюдаем за собой, дабы созерцать этот же самый акт; посему врачи-физиологи никогда и не заявляли подобных притязаний.

Однако всё, что является следствием этого первичного импульса, всё, что осуществляется через движения инструментов этой высшей силы — то есть через

две другие формы животной материи, фибрина и желатина, — проявляется через феномен сократимости. И масштаб этого поистине огромен, как мы только что доказали, ибо нет ни единого трепета мышечного волокна, ни единого биения сосуда, ни единого сопротивления связки, которые не были бы с ним связаны. Именно избыточное усиление всех этих явлений сократимости и составляет суть ирритации в рассматриваемых тканях: посему легко судить о том, до какой степени полезно уметь верно её наблюдать.

В самом деле, все спонтанные акты — будь то инстинктивные или волевые, — чьё совокупное действие обеспечивает выполнение различных функций, направлены либо на то, чтобы оградить человека от постоянно грозящих причин разрушения, либо на удовлетворение чувства любопытства, побуждающего его наблюдать за собой и сравнивать себя с тем, что не является им самим. Все эти акты, повторяясь, суть лишь следствия возбуждения.

Заметьте, что, утверждая это, мы не говорим, будто все эти акты сводятся исключительно к возбуждению. Мы ограничиваемся лишь положением, что они проявляются для нас только вследствие возбуждения. Безусловно, молекулярные комбинации: те, что изменяют химические свойства пищи в пищеварительном тракте; те, что порождают в желчи, молоке и моче такие формы животной материи, которые не встречаются в крови; те, что прикрепляют подвижную и циркулирующую материю к материи фиксированной и организованной; те, что заставляют зародыш развиваться и расти, и прочие — все эти комбинации не могут быть сведены к одному лишь возбуждению, хотя они и проявляются вслед за возбуждением, вызванным контактом с инородными телами. В самом деле, если волокно обладает возбудимостью, то лишь потому, что оно существует в свойственной ему форме. Если же оно существует в таком виде, то лишь потому, что законы жизненного сродства сблизили и удерживают составляющие её молекулы. Таким образом, в развитии каждого животного явление образования структуры предшествует явлению возбуждения; следовательно, эти два явления не тождественны. Нет ничего яснее и проще этого рассуждения, и мы до сих пор не понимаем, как его могли счесть излишне утонченным.

Поскольку мы не намерены рассуждать о первопричине молекулярного сродства, организующего живые тела, но желаем лишь дать представление о явлениях, относящихся к возбуждению человека, рассматриваемого в состоянии его совершенной организации, мы дополним изложение основополагающих догматов физиологического учения некоторыми разъяснениями о чувствительности и о той роли, которую играет нервная система в восприятии и движении. Таким образом, мы рассмотрим вопрос о жизненных свойствах в той мере, в какой это необходимо для правильного понимания феномена раздражения, являющегося основным предметом этой первой части.

Глава четвертая:

О функциях нервной системы в инстинктивных и интеллектуальных явлениях

План этой главы таков: я последовательно рассмотрю в трех разделах: (1) Функции нервного аппарата у взрослого человека; (2) Их развитие от эмбрионального состояния до полного формирования человеческого тела; (3) Причины тех преимуществ, которые выделяют человека среди всех животных. Эти исследования приведут меня к анализу основополагающих тезисов современных психологов, которые станут предметом пятой главы.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О функциях нервного аппарата у взрослого человека.

Роль нервов, которые мы рассматриваем здесь в состоянии их полного развития, заключается в распространении стимуляции по всей жизненной экономике для поддержания функций путем их оживления под воздействием возбуждающих факторов. Вот что демонстрирует нам наблюдение, независимо от какой-либо системы и любого объяснения способа восприятия и распространения этих раздражений. Нам также известно, что результатом, доступным нашему чувственному восприятию, является усиление жизненных явлений как в тех местах, куда передается раздражение, так и в тех, где оно возникает изначально. Исходя из этого, мы можем приступить к изучению функций нервной системы, которые я разделяю на четыре ступени.

1. Если мы начнем с простейших функций нервной системы, то увидим, как возбужденные нервы передают раздражение на небольшое расстояние. Заноза, вонзившаяся под ноготь, может оставаться там без какого-либо осознанного восприятия; однако нервное вещество, которое она раздражает, тем не менее распространяет это раздражение на соседние участки нерва или на иную, удаленную нервную субстанцию, поскольку постепенно происходит прилив жидкостей и образуется застой (конгестия), который становится уже весьма значительным к тому моменту, когда начинает восприниматься как боль. Тот же феномен наблюдается и во внутренних органах: инородное тело, застрявшее в месте, где чувствительность притуплена, вызывает там приток крови (флюкцию), что доказывает распространение раздражения: известно, что нервы всегда сопровождают сосуды. Ограниченное раздражение, локализованное в одной точке

слизистой оболочки тонкого кишечника, вызывает усиление движения не только в капиллярах этой оболочки, но и в соответствующем им участке мышечных волокон.

Таковы примеры раздражений, передаваемых нервами на очень короткие расстояния. Вот другие примеры, охватывающие расстояния несколько более значительные.

2. Раздражение, которое мы предположили в определенной точке пищеварительного тракта, усилилось; оно вызывает более значительный прилив жидкостей; оно распространяется на печень и поджелудочную железу, вследствие чего желчь изливается вместе с панкреатическим соком. Секреция слизи изменяется на еще больших расстояниях; деятельность в брыжеечных узлах становится более интенсивной. Одним словом, возникает расстройство органических функций брюшной полости; иными словами, проявляются органические симпатии, куда более масштабные, чем в предыдущем примере, однако всё еще без каких-либо признаков распространения раздражения за пределы этой висцеральной полости.

3. Черви, обладающие нервным аппаратом без четко сформированного головного мозга, имеющие лишь одно окончание центрального нерва, которое более активно, нежели остальные его части представляют собой пример примерно такого рода. Раздражение передается по нервам, число которых не превышает числа сосудов, вдоль этих самых сосудов; оно достигает точек их окончания в капиллярах или же следует от этой ткани к главному нерву, регулируя распределение питательных веществ. Большого симпатического нерва оказывается достаточно для отправления функций отношений, которые весьма незначительны у животных, ограниченных лишь осязанием и простейшим способом передвижения. Возможно, его жизненная сила здесь менее притуплена, нежели у животных с более развитой нервной системой; однако вполне очевидно, что нервный аппарат в данном случае служит гораздо более питательной жизни, нежели жизни отношений. Эта ступень служит переходным звеном к следующей.

4. Представим себе в брюшной полости раздражение более высокой степени, нежели то, что было описано в последнем примере; оно будет распространяться на сердце, легкие, кожу, конечности и различные секреторные органы, ответственные за очищение; оно достигнет даже головного мозга. Ибо устройство человеческого организма таково, что раздражение, возникшее в одной его точке, не может распространиться на множество органов, если оно недостаточно значительно, чтобы достичь самого энцефалического аппарата (т.е. мозга). Именно здесь, если рассматривать примеры, взятые из человеческой природы, берет свое начало чувствительность; ибо именно на этом этапе восприятие заявляет о себе через болезненные ощущения различных оттенков, проецируемые одни — в первоначально раздраженные внутренние органы, другие — в конечности; словом, в различные области нервной системы, будь то внутренние или внешние. Поскольку

восприятие открыло нам существование чувствительности, мы должны, дабы познать её феномены, изучить её в различных видах нервов, которые взаимодействуют с головным мозгом в процессе её возникновения, и прежде всего — в различных состояниях самого мозга.

Известно, что способность чувствовать может рассматриваться лишь как функция мозга; однако, при условии, что этот орган здоров и полностью развит, он дает нам ощущения, различающиеся в зависимости от того, по каким именно нервам ему было передано раздражение. Располагаясь между двумя разрядами нервов, одни из которых оканчиваются на поверхности тела, образуя чувствительные разветвления, а другие погружаются в ткани внутренних органов, мозг получает два основных вида раздражений, глубоко отличных друг от друга. Если же мы подвергнем исследованию каждый из этих двух разрядов нервов по отдельности, то и в них обнаружим вторичные различия, весьма достойные внимания: они доказывают, что перед мозгом стоят задачи куда более сложные, нежели простой ответ на чувственные стимулы, общепринятые среди физиологов и метафизиков. Каждое внешнее чувство связано с определенным агентом, воздействие которого порождает сенсорную стимуляцию; при этом все они восприимчивы к иному роду раздражения, когда некое ранящее тело проникает непосредственно в нервное вещество органа чувств.

Внутренние нервы также обнаруживают свои различия. Прежде всего мы находим здесь генитальное чувство — наполовину внешнее, наполовину внутреннее, — которое локализуется либо в слизистых оболочках, взаимодействующих с различными видами агентов, либо в эректильных тканях, дающих иные восприятия. Затем мы наблюдаем специфическое чувство в каждой внутренней слизистой поверхности. Чувство дыхания, простирающееся от гортани до самых оконечностей бронхов и меняющееся на этом пути, значительно отличается от чувства поглощения пищи, средоточием которого является внутренняя оболочка желудка. Кишечник, в свою очередь, обладает чувством, которое проявляет свои особенности на всем протяжении от двенадцатиперстной кишки до заднего прохода. Чувство мочевых органов также весьма различно, если рассматривать его в области дна пузыря или ближе ко входу в сей внутренний орган; равным образом и чувствительность уретры, возбуждаемая у мужчины то мочой, то семенной жидкостью, обнаруживает различия, которые еще более множатся сообразно различным степеням жизненной силы внутренней оболочки, выстилающей сей канал.

Помимо внутренних чувств, и без того весьма многочисленных в нормальном состоянии, мы должны признать существование и иных, кои могут быть порождены болезненным состоянием; ибо везде, где развивается раздражение, нервная материя, присутствующая во всех тканях, обретает не свойственную ей прежде активность, становящуюся постоянным источником восприятий. Так, главные секреторные органы — печень, поджелудочная железа и в особенности яички, — а

равно и сердце, серозные оболочки, обволакивающие основные внутренности и облегчающие их движения, мышечные ткани, клетчатка, ткани связок, апоневрозов, хрящей и даже самих костей, становятся при некоторых хронических недугах подлинными внутренними органами чувств. Они посылают в мозг импульсы, соперничающие по силе с теми, что доставляются чувствами обыкновенными. Не будем забывать и о том, что во множестве случаев, когда человек еще не считается больным, некоторые из его нормальных внутренних чувств, и прежде всего чувства пищеварительного аппарата, оказываются настолько возбуждены раздражением, что их воздействие на головной мозг становится в десять или в сто раз сильнее, нежели в нормальном состоянии.

Заметьте теперь, что все нормальные внутренние чувства имеют предназначение, аналогичное предназначению чувств внешних. В самом деле, будучи помещен между этими двумя порядками чувств, мозг устроен таким образом, что при любых внешних восприятиях, связанных с удовлетворением инстинктивных потребностей (кои развиваются первыми), он может определять действие лишь в силу иных восприятий — одновременных или последующих, — исходящих от внутренних чувств; именно это положение нам и надлежит ныне развить.

Установим прежде всего как основополагающий факт данной проблемы: мозг, или, вернее, головной мозг (ибо сие выражение охватывает всё нервное вещество, заключенное в черепной коробке), организован так, чтобы соответствовать этим различным источникам стимуляции. Он лишь медленно и с трудом достигает высшей степени своего совершенства, которая всегда сообразна степени их развития, и угасает более или менее стремительно вместе с ними — всё это со всей очевидностью выявится из последующего изложения.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Последовательное развитие различных функций нервного аппарата от эмбрионального состояния до зрелости.

В первый момент своего существования человек представляет собой лишь малую массу животной материи: он не обладает никакими органами; однако молекулы этой материи распределяются согласно законам сродства, которое мы можем наблюдать лишь издали, таким образом, чтобы последовательно созидать различные ткани. На протяжении всего этого процесса живой химии нервы и головной мозг не могут играть никакой роли; они лишь формируются, и только.

Как только ткани сформированы, они начинают действовать; каждая принимает на себя определенную роль, и нервная ткань, занимающая наше внимание, приступает к своей роли. Она заключается в том, чтобы проводить раздражение для побуждения к движению иных форм животной материи; и всё это ради того, чтобы

питательные материалы доставлялись в то место, где живая химия должна их употребить. Ибо в этот период речь не может идти ни о чем ином, кроме как о том, чтобы сколь возможно деятельнее ускорить развитие индивида человеческого рода.

Таким образом, на первых порах нервы выполняют ту же роль, что и у червей или иных животных низших классов, у которых их только начинают наблюдать. У эмбриона первых недель еще нет конечностей, а потому головной мозг и нервы могут управлять лишь движениями сердца и сосудистой системы.

Однако со временем конечности начинают пробиваться и расти, подобно малым придаткам; роль головного мозга возрастает пропорционально их развитию. Сказать, что он действует активнее, — значит признать, что его масса обретает больший объем и энергию. Раздражения, пробегающие по нервам и отражаемые мозгом, уже могут вызывать движения в конечностях плода. В этом нас убеждает мать, как только срок её беременности достигает третьего или четвертого месяца.

Период вынашивания продолжается: в течение оставшегося времени внутренние чувства, предназначенные для дыхания, питания и очищения организма от излишков, развиваются гораздо основательнее всех прочих, не исключая и внешних органов чувств. Ребенок рождается, и крики, исторгаемые им при первом воздействии воздуха, возвещают нам о его чувствительности. Это дает повод предполагать, что он был чувствителен и до своего появления на свет, и что именно под влиянием какого-либо ощущения он часто двигал своими маленькими конечностями в своем заточении.

Функции нервной системы и головного мозга, как её центра, уже значительно умножились со времени зачатия. Однако не следует приписывать им большего значения, чем то, которое открывается нам через наблюдение и индукцию. Младенец, рожденный ацефалом, не чувствует ни прикосновения воздуха, ни потребности в дыхании, хотя органы осязания и аппарат дыхания у него развиты достаточно и подвергаются внешнему воздействию. Следовательно, крики новорожденного и его первый вдох определяются реакцией головного мозга на эти первичные раздражения. У ацефала кожа и поверхность бронхов возбуждаются воздухом, но полученные ими импульсы тщетно пробегают по нервной системе: нет мозга, который мог бы воспринять их и направить ответный импульс к дыхательным мышцам; здесь нет ни восприятия, ни ощущения.

Вскоре младенца укрывают одеждой, которые сохраняют его тепло и воссоздают, насколько это возможно, ту среду, которую он покинул. Как только болезненное раздражение кожи прекращается, крики смолкают, и дитя погружается в покой, продолжая повиноваться лишь одному внутреннему чувству, пребывающему в то время в состоянии активности — чувству дыхания. Однако этот покой длится недолго: вскоре к мозгу обращается иное внутреннее чувство — чувство пищеварения или первичного усвоения. Как только эта потребность заявляет о себе, младенец вновь начинает кричать. Его подносят к материнской

грудю: едва ощутив прикосновение, он поворачивает к ней лицо, и все движения, необходимые для того, чтобы захватить сосок, произвести сосание и глотание, исполняются с поразительной точностью.

Когда эта вторая потребность удовлетворена, дитя вновь погружается в привычное спокойствие, из которого его пока не способны вывести даже чувства, управляющие отправлениями. Он оставляет излишки пищи в пеленах, в которые окутан, и пробуждается лишь от раздражения, вызываемого этими едкими субстанциями на коже, либо от нового зова желудка — если только на него не подействует какое-либо иное, чрезвычайное раздражение. Физиологам известно, что опорожнение толстого кишечника и мочевого пузыря не может совершаться без известного содействия со стороны дыхательных мышц; необходимо, по меньшей мере, чтобы эти мышцы следовали за органом, который сокращается, ибо между соприкасающимися внутренностями не может возникнуть пустоты; итак, эти мышцы подчинены головному мозгу; следовательно, мозг реагирует на стимулы, исходящие от внутренних чувств очистительных органов, точно так же, как и на стимулы дыхательной системы — то есть без восприятия удовольствия или боли. Напротив, он реагирует с ощущением последней, когда откликается на потребности внутреннего желудочного чувства или на слишком резкое раздражение кожного покрова. Если, однако, возникнет какое-либо препятствие — будь то при дыхании или при дефекации, — иннервация выделительного органа, направленная к мозгу, усилится, и боль будет воспринята с большей или меньшей остротой, в зависимости от того, каких успехов достиг мозг в своем развитии.

Эти первичные восприятия суть инстинктивные восприятия, и движения, проистекающие из них, могут быть отнесены исключительно к области инстинкта. У новорожденного ребенка инстинкт властвует безраздельно, но возможности его еще крайне ограничены. Мы увидим, как он возрастает по мере взросления. Но так как впоследствии инстинкт может быть ошибочно принят за интеллект, необходимо воспользоваться настоящим моментом, чтобы четко их разграничить. Для физиолога инстинкт сводится к стимулам, исходящим от внутренних и внешних чувствительных поверхностей, которые передаются в мозг и отражаются им таким образом, чтобы вызвать мышечные движения; этот процесс осуществляется то с восприятием приятным или болезненным, то без восприятия, доступного взору наблюдателя.

Таким образом, мы можем уже сейчас различить два вида реакций в головном мозге, получающем стимулы через свои нервы: Реакция без восприятия боли или удовольствия; Реакция, сопровождаемая болью или удовольствием. Всё это происходит еще до того, как проявятся первые признаки интеллекта; всё это возможно у всех животных, наделенных нервным аппаратом. Будем же осторожны и не станем предполагать большего, чем есть на самом деле, и продолжим наше исследование развития нервных функций.

Ребенок растет, его конечности развиваются; два внешних чувства, которые до сих пор, казалось, не давали никаких восприятий, начинают изменять состояние головного мозга, развившегося им в соответствие. Ребенок фиксирует взгляд на предметах, следит за их движениями или же, если его туловище перемещают, поворачивает голову, чтобы не терять направления исходящих от них световых лучей: совершать эти движения его побуждает уже более развитый инстинкт. Более того, он становится внимателен к шуму — то есть, согласно тому же принципу, он отдаляется от него или приближается к нему по мере своих сил, либо же сохраняет тело неподвижным, чтобы уловить впечатление от человеческого голоса или звуков инструментов и так далее. Таким образом, в действие вступают два новых чувства, и ребенок, который прежде обладал лишь осязанием и вкусом, теперь обретает зрение и слух.

Это приобретение поначалу, казалось бы, не вызывает никаких новых актов; однако вскоре становится заметно, что когда первичные потребности младенца удовлетворены, он больше не погружается, как прежде, в сон. Он начинает наблюдать за собой; руководствуясь знаками кормилицы, он осознает неудобства, вызванные отсутствием опоры, и учится от них избавляться. Улыбкой он выражает удовольствие, которое приносит ему удовлетворение физических нужд и ласки кормилицы; так он начинает вступать в общение с подобными себе существами. Он стремится ощупать предметы, которые видит, и старается воспроизводить звуки, подражая тем, что слышит. В нем развилась новая потребность — потребность в наблюдении. Ей неизбежно сопутствует другая — потребность в движении. Ребенок упражняет свои двигательные мышцы не только для того, чтобы приблизить к себе предметы, но и чтобы самому приблизиться к ним, хотя часто эти попытки остаются тщетными. К этому его побуждает некий внутренний импульс, чисто инстинктивные побуждения; и даже не имея перед собой ни предмета для изучения, ни цели, которую следовало бы достичь, ребенок постоянно движется, суетится и никогда не пребывает в покое — если только он не спит или если сильное впечатление не принуждает его к мгновенной неподвижности, сообщая его вниманию строго определенное направление.

Но остановимся на этой возможности отвлечь его от собственных ощущений; прежде ее не существовало. Следовательно, в мозгу развилась новая способность, возникшая одновременно с внешними чувствами — зрением и слухом... Вне всякого сомнения, эта способность есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта, связанное с ростом головного мозга, который не только увеличился в объеме, но и начал обретать четкое строение в тех областях, которые прежде были лишь намечены. Эти области представляют собой различные точки передней части мозга, соответствующие лобной кости: по мере того как они развиваются, мимика становится все более выразительной. Взгляд, движения лицевых мышц и даже сам оттенок лица сообщают нам, что у ребенка возникают идеи, имеющие сходство с нашими собственными. Ибо выражение лица не является некой самостоятельной

сущностью, обитающей в чертах, но представляет собой присущую этой части тела способность, которая дает наблюдателю понять, что объект наблюдения наделен идеями. Самые выразительные лица ровным счетом ничего не говорят зрителю скудоумному.

Так проступают первые очертания интеллекта, которые отныне обретают четкость. Мы бы тщетно пытались разглядеть их у новорожденного, хотя тот и явил нам множество свидетельств своей чувствительности. Я прошу читателя не упускать это из виду: из этого факта легко сделать вывод, что чувствительность в корне отличается как от интеллекта, так и от инстинкта. В самом деле, влияние нервов на работу сердца и сосудов, в тесной связи с которыми они развивались, составляет первую ступень нервной деятельности. Вторая ступень проявляется тогда, когда мозг — под воздействием либо внутренних чувств, либо из-за согнутых конечностей, прижатых к внутренним органам (что, как можно предположить, неблагоприятно для общего жизненного строя), — обуславливает движения локомоторных мышц. Новорожденный младенец дает неоспоримые доказательства чувствительности, но лишь через ощущение боли, и совершает действия чисто инстинктивные — это третья ступень нервной деятельности. Наконец, четвертая ступень, к которой мы только что подошли, подготавливается, по-видимому, развитием приятных ощущений, доселе остававшихся незамеченными; именно на этом этапе и проявляется интеллект. Он проявляется через зарождение внимания, акты наблюдения и ту способность, которой отныне обладает ребенок: отсрочивать действия, продиктованные инстинктом ради первичных нужд, дабы совершать иные, вызванные внешними впечатлениями.

Однако этот интеллект все еще крайне ограничен, и было бы глубоким заблуждением считать его равным разуму взрослого человека. Поначалу ребенок воспринимает лишь образы неодушевленных тел; ничто не указывает на то, что он уже способен анализировать их или выделять их абстрактные свойства. Вместе с тем он кажется гораздо более развитым в том, что касается восприятия себе подобных. Задолго до того, как он сможет своими жестами подтвердить понимание цвета, плотности или движения предметов, он уже прекрасно различает благожелательность, неприязнь или гнев в выражении лиц окружающих его людей. Часто он не может без мучительной тревоги, заставляющей его плакать и отворачиваться, выносить вид незнакомых взрослых, особенно если те обладают суровым обликом; в то время как вид другого ребенка или приближение человека с мягким или ничем не примечательным выражением лица не вызывают у него никаких тягостных эмоций.

Это, очевидно, проистекает из того, что развитие инстинкта опережает развитие интеллекта: тот или иной облик пугает ребенка в силу инстинкта самосохранения — точно так же, как испугала бы его пропасть, в которую его как будто намереваются столкнуть, или вид яростного зверя, готового на него наброситься. Он воспринимает эти ощущения наравне с чувством голода, жажды, потребностью в покое или

движении, теплом или холодом, и поначалу повинуетя им без малейшего колебания. Однако потребность в наблюдении, о прогрессе которой свидетельствует неуклонно растущее внимание, вскоре делает его восприимчивым к воспитанию. Это служит знаком того, что ребенка можно будет приучить без страха взирать на любые предметы, которые прежде вызывали у него столь сильное смятение.

Между тем дитя начинает ходить; оно подражает интонациям человеческого голоса и даже всем действиям себе подобных. Более того, ребенок доказывает, что обладает представлениями не только о материальных свойствах тел, но и об обстоятельствах, при которых он их наблюдал. Находясь в окружении людей образованных, он запоминает слова, коими мы выражаем свои суждения о различных сценах общественной жизни, и употребляет их таким образом, что это служит нам доказательством понимания им их смысла. В силу этого можно было бы счесть его интеллект совершенным, но сколь же далек он еще от своего окончательного развития! Чтобы убедиться в этом, попробуйте заставить ребенка выстроить на основе тех слов, которые он так хорошо понимает, хотя бы мало-мальски строгое и последовательное рассуждение; вы тотчас заметите, как его внимание ускользает от навязываемого вами ряда идей и переключается на более простые образы, которыми их подменяет память, либо на впечатления, поступающие от органов чувств. Это объясняется тем, что инстинкт всё еще значительно преобладает над интеллектом: мозг ребенка, не достигшего половой зрелости, устроен таким образом, что субъект находит живое удовольствие лишь в ощущениях, исходящих от материальных объектов. Только они пока способны благотворно возбуждать его нервную систему. Пить и есть; пребывать в постоянном движении, дабы видеть новые предметы и удовлетворять еще смутную потребность в наблюдении или любопытстве; приводить в действие свои члены, как того велит природа; испытывать свои силы и сопоставлять их с силами другого — как для самого упражнения, так и ради удовлетворения возникшего чувства самолюбия, которое, впрочем, пока ограничивается лишь внешними проявлениями: таковы привычки, властно продиктованные инстинктом, к которым ребенок, не достигший зрелости, неизменно возвращается, какие бы усилия ни прилагались, чтобы его от них отвлечь.

Наслаждения, приносимые размышлением, ему еще совершенно не знакомы — за исключением тех, что он добывает хитростью: её он противопоставляет силе всякий раз, когда желает воздействовать на кого-то более могущественного, чем он сам. Этот род удовольствия обладает для него куда большей притягательностью, нежели радость благодеяния, если только в последнем он не находит способа проявить свои господствующие наклонности. Так, например, он может взять под защиту ребенка слабее себя, но лишь для того, чтобы в следующее мгновение начать его истязать. В целом, он предпочитает зло добру, поскольку оно в большей степени тешит его тщеславие и дарит более острые эмоции, в которых он нуждается

любой ценой. Именно по этой причине мы столь часто видим, с каким упоением он предается разрушению неодушевленных предметов. В этом акте он находит двойное наслаждение, зиждущееся на потребности в самоутверждении: видеть, как сокрушается сопротивление материи, и возбуждать гнев благоразумных людей. Подобный исход представляется ему победой, коей он упоительно наслаждается, едва успев бегством спастись от заслуженной кары. Согласно тому же принципу действия, он находит отраду в мучении животных; и с тем же восторгом он смаковал бы муки существ своего собственного вида, если бы его не удерживал страх, ибо инстинкт самосохранения развит в нем весьма сильно. Сострадание также порой сдерживает его, однако в этом возрасте оно слабо развито у мужского пола; гораздо чаще и в куда более выраженной форме оно встречается у юных дев. Я сознаю, что не все деяния детей, не достигших зрелости, отмечены этой печатью порочности: задатки доброго нрава, коим иным суждено обладать в будущем, начинают обрисовываться еще до наступления возраста разума; однако подавляющее большинство именно таково, каким я его только что описал. И чем более юноши полны сил, чем острее ощущают они потребность излить свою энергию во внешней деятельности, тем более они склонны творить зло. Вряд ли найдется ребенок, который не злоупотребил бы своей силой над тем, кто слабее его; таково его первое побуждение. Но слезы жертвы останавливают его — если только он не рожден для свирепости, — пока новый инстинктивный порыв не заставит его совершить тот же проступок.

Дабы исправить все эти наклонности, которые разум и опыт пагубных последствий выправили бы слишком поздно или не смогли бы выправить вовсе, прибегают к средствам двойного рода: им противопоставляют инстинктивную потребность в самосохранении, прибегая к наказаниям, которые вселяют в ребенка ужас и обращают против него же последствия его дурных поступков. Стремясь отвлечь потребность в самодовольстве от тех пагубных привычек, к коим он пристрастился, его внимание направляют на удовольствия, рождаемые наградами и похвалами, получаемыми за послушание, благожелательность, доброту, прилежание в занятиях, а также за усилия внимания, памяти и разума. Эту последнюю способность — разум — заблаговременно упражняют в понятиях о добре и зле, о справедливом и несправедливом, о заслугах и проступках. Сии драгоценные понятия в столь юном возрасте еще туманны и применяются лишь в угоду мелким детским страстям, однако их выправляют, преподнося ребенку плоды размышлений, выработанные трудами философов и мудрецов. Впрочем, успех в этом нелегком деле возможен лишь в той мере, в какой развиваются те отделы головного мозга, которые предназначены специально для интеллектуальных способностей.

И пока воспитатель изнуряет себя в бесплодных усилиях, стараясь ускорить развитие детского ума и привить ему вкус к вещам серьезным, в организме пробуждается новая функция — и природа свершает без труда то, чего не могло бы

достичь никакого искусства: развиваются органы, предназначенные для воспроизводства вида, и головной мозг получает импульс, который должен привести его к высшей степени развития и энергии. Юноша, вступивший в пору созревания, замечает разительную перемену в своем мировосприятии: едва он подпадает под влияние этого нового чувства, как им овладевает смутное беспокойство; взгляды противоположного пола пробуждают в его существе инстинктивные порывы, которые его изумляют. Если мы исследуем состояние его интеллекта, то заметим, что он открывает в словах, которые, как ему казалось, он понимал и прежде, смысл, дотоле им не подозреваемый; он видит связи, последовательность и порядок там, где прежде замечал лишь различия, многообразие и хаос. Ему открываются понятия зависимости и причинности; он увлекается дедукцией, которая становится для него столь же легкой, сколь трудной была прежде, и внезапно выказывает склонность к возражениям и рассудительству. Он начинает находить удовольствие в том, чтобы обращать взор на самого себя, наблюдать за тем, что он делает и о чем мыслит; он проявляет склонность сравнивать себя с другими в отношении этих новых способностей, которые он, как следствие, с удовольствием изучает и в окружающих. И если он находит у себя некое преимущество, он льстит себе этим гораздо более, нежели он был бы польщен превосходством в силе или ловкости, хотя он всё еще более чувствителен к успехам подобного рода, чем будет в дальнейшем; это поразительный переворот, который никогда не был бы совершен одними лишь общими местами мудрости.

Новая легкость, которую юноша обнаруживает в себе при совершении любых умственных операций, редко не прельщает его; она внушает ему веру, будто он изобретает или, в некотором роде, созидает то, что на самом деле лишь открывает для себя. Ему кажется, будто мысль в нем движется быстрее, чем у прочих людей; он с некоторым презрением взирает на интеллектуальную медлительность и осмотрительность зрелого возраста; им овладевают самонадеянность и гордыня. Он вовсе не замечает того, что разум его лишь оперирует множеством понятий, которые с таким трудом прививались ему на протяжении долгого детства. Он еще не успел познать сопротивления, и только опыт может дать ему представление о пагубности поспешных суждений и той легкости, что кажется призванной сокращать любые препятствия.

Поскольку мышечная сила, а также ощущение полноты жизни и здоровья возросли вместе с умственными способностями, юноша видит перед собой необъятную, безмерную перспективу; а порождающая сила, коей он чувствует себя щедро наделенным, лишь льстит его гордости, приумножая радости его разума.

Таков человек в весну своей жизни. Нервная система отныне исполняет все функции, кои ей надлежит выполнять; однако умственные способности достигнут наивысшей степени своей мощи лишь к тридцати годам — к той поре, когда увеличение объема завершит развитие головного мозга во всех направлениях, в которых должны пролечь его волокна. В этот промежуток времени, разделяющий

появление последних интеллектуальных способностей и полный расцвет разумного целого, суждение человека непрестанно совершенствуется. Человек, часто впадавший в заблуждение из-за поспешности выводов, основанных на первых впечатлениях, — то есть вынужденный под влиянием приобретенных новых идей пересматривать свои прежние суждения, — вскоре становится чувствителен к подобного рода унижению. Впервые обнаружив такие ошибки, он спешит исправить их, не испытывая иного чувства, кроме удовольствия от познания нового; но когда он видит, что потребность в исправлениях возникает на каждом шагу, его самолюбие тревожится; он впадает в раздражение и прибегает к хитрости, дабы поддержать авторитет своих прежних суждений; однако в сокровенной глубине души он обещает себе сделать всё возможное, чтобы избавить себя от унижения или гнева, и становится тем, кого называют осмотрительным.

Именно тогда его способности, если они были надлежащим образом развиты, достигают наивысшей степени совершенства. Человек столь щедро одарен природой, что может долгое время наслаждаться ими и обретать такую полноту счастья, о которой прочие животные не имеют ни малейшего представления. Попробуем теперь выяснить, чему именно он обязан столь многими преимуществами.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Причины преимуществ, отличающих человека от всех остальных ЖИВОТНЫХ.

Мы оставили юношу, еще не достигшего зрелости, в его отношениях со всеми материальными объектами, как одушевленными, так и неодушевленными. Он уже самостоятельно различает их внешние свойства, способен постигать даже самые сокровенные физические качества и те обстоятельства, что могут их изменять — правда, лишь в тех случаях, когда на них обращают его внимание. Он превосходно удерживает в памяти все знаки этих интеллектуальных операций и обладает, следовательно, абстрактными понятиями. Однако мы заметили, что он выказывал крайнее нежелание применять эти драгоценные знаки к исследованию тех самых обстоятельств, что обуславливают изменчивость состояния тел, равно как и к наблюдению за собственным разумом в его сопоставлении с разумом себе подобных — иными словами, он не стремился предаваться рассуждению и рефлексии. Говоря иначе, мы видели, что он с легкостью усваивал не только слова, но и сами логические формулы; казалось, он понимал их, но при этом не проявлял никакой склонности к созданию им подобных, даже находясь в благоприятных обстоятельствах. Какая-то непреодолимая сила постоянно возвращала его внимание к кругу идей гораздо менее сложных. Мы также отметили, что в то самое время, когда он обретал способность к размышлению и рассуждению, в нем

пробуждалось новое чувство вместе с новой инстинктивной потребностью. Таким образом, в развитии человека всегда наблюдается один и тот же ход: если он приобретает приращение интеллектуальных способностей, он одновременно получает и расширение способностей инстинктивных. Но природа, по-видимому, неразрывно связала печать совершенства интеллекта с генеративной способностью, вследствие чего юноша не окажется в положении главы семейства прежде, чем обретет силу и разум, необходимые для обеспечения всех нужд своих детей. Исключения из этого правила, хотя они и редки, тем не менее достаточны, чтобы доказать его исключительную важность.

У детей мужского пола иногда наблюдается преждевременное половое созревание, например, в возрасте от пяти до семи лет, которое совпадает с интеллектуальными способностями, обычными для этого периода жизни; зрелище отталкивающее и поистине достойное жалости. Именно через изучение подобных субъектов можно получить решение занимающего нас вопроса. Если исследовать их со всем вниманием, то обнаружится — как это верно заметил доктор Галль, — что мозжечок у них всегда чрезвычайно развит, в то время как передняя доля мозга, этот главный орган интеллекта, завершающий свое развитие лишь при нормальном созревании, развита не более, чем того требует детский возраст. Доктор Галль заключает из этого, что мозжечок является особым органом деторождения; однако следует принять во внимание: (1) Что сердце, вся кровеносная система, дыхательные мышцы и те мышцы, что подвластны воле, достигают своего окончательного развития одновременно с мозжечком, равно как и половые органы; (2) Что если яички будут удалены до наступления половой зрелости, то развитие всех этих органов, равно как и развитие самого мозжечка, прекращается; (3) в-третьих, наконец, что кастрация, произведенная уже после периода полового созревания, не только влечет за собой уменьшение объема мозжечка, но и в определенной степени ослабляет всю мышечную и кровеносную системы.

Исходя из этого, приходится признать следующее: (1) Что мозжечок предназначен не исключительно для инстинкта размножения, но равным образом связан с тем приливом жизненной энергии, который завершает развитие всех органов; (2) Что он не является инициатором этих изменений; (3) Что единственным неизменно наблюдаемым фактом остается одновременность развития мозжечка, кровеносной системы и внешних мышц, следующая за развитием семенников или яичников; при этом обычно и головной мозг получает в то же время свой последний вегетативный импульс, от которого зависит полное развитие интеллектуальных способностей, и прежде всего — способностей к размышлению и индукции.

Этого достаточно, чтобы разрешить вопрос, поставленный нами выше.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

От чего зависит окончательное развитие интеллектуальных и инстинктивных способностей, сопровождающее наступление половой зрелости.

Нам представляется, что развитие семенников и яичников изначально обусловлено обычным ходом питания, которое всегда распространяется от органов, наиболее значимых для существования индивида, к тем, что обладают меньшей важностью; эти органы начинают расти и выделять секрет без каких-либо предварительных потрясений, а затем — либо под влиянием своего нервного вещества, которое, по-видимому, представляет собой некую особенность в сенсорном аппарате, либо вследствие всасывания вырабатываемой ими жидкости — возбуждают во всей совокупности внутренних органов прилив жизненных сил, доводящий тело до высшей степени его развития. Таково было общее мнение до появления системы г-на Галля, который приписывает все эти изменения исключительно мозжечку. Но как можно возлагать на него ответственность за перемены, которые он не способен произвести в одиночку? Почему же он не растет и не определяет телесные формы половой зрелости у евнухов, за исключением, разумеется, того, что относится непосредственно к акту продолжения рода? Почему не сохраняет он эти формы у лиц, достигших зрелости, которых подвергают кастрации? Отчего же сам он уменьшается после этой операции, причем одновременно со всей мышечной системой? Скажут ли, что он использует половые органы лишь как инструмент для воздействия на животную экономию? Подобное утверждение всё равно оставляет в силе признаваемое уже многие столетия влияние яичек на кровеносную систему, на мышцы и даже на головной мозг.

Посему гораздо проще принимать факты в их истинном виде и согласиться: поскольку мозжечок неспособен сам по себе произвести те перемены в формах тела, голосе, цвете кожи, мышечной силе, характере и склонностях, коими знаменуется половое созревание, — значит, перемены сии суть следствие развития той части репродуктивного аппарата, которая призвана поставлять начальный материал для эмбриона. Мозжечок же воспринимает это влияние так же, как и весь остальной головной мозг, однако его развитие, по-видимому, связано более тесно с внутренними функциями, кои управляют питанием организма и определяют обилие и энергию фибрина.

Очевидно, что интеллектуальные способности, подобно инстинктивным, развиваются вместе с нервной системой; что они являются результатом расширения, которое совершается незаметно, от стадии эмбриона до состояния взрослого человека, в функциях головного мозга и нервов, распределенных по различным частям тела; наконец, что для чувств наблюдателя-физиолога они суть не что иное, как феномен передачи раздражения в нервно-мозговом аппарате, рассматриваемый при определенных заданных обстоятельствах.

Последовательность фактов, картину которых мы развернули, служит доказательством этого утверждения; но дабы сделать его еще более наглядным, мы добавим следующие соображения, почерпнутые из того же источника — то есть из строгого наблюдения за фактами.

1. Поскольку степень иннервации, порождающая инстинктивные и интеллектуальные явления, является наивысшей и сочетается с той, что обеспечивает мышечное движение, — эта степень, повторюсь, неизбежно является нарушающей равновесие; она в скором времени поставила бы под угрозу наше существование, если бы не прерывалась по прошествии определенного времени: отсюда возникает необходимость сна, который замещает режим бодрствования иным способом иннервации. Сон, когда он полон, приостанавливает оба этих разряда явлений, хотя и не может воспрепятствовать достаточно сильным раздражениям, воздействующим на разные нервы, достигает головного мозга и отражается им в другие нервы. Доказательством тому служит тот факт, что сердце, мышечные слои полых органов и дыхательные мышцы, которые могут действовать регулярно лишь под влиянием мозга, продолжают свои движения, несмотря на то, что не проявляется никакой инстинктивный акт и ни одна мысль не нарушает покоя сна. В действительности, сновидения существуют лишь при неполном сне, либо в начале и в конце обычного сна. Если же внезапно разбудить человека, обладающего крепким сном и несколько утомленного, в самой середине его первого сна, то окажется, что никакие грезы его не занимали. Сновидения и сомнамбулизм служат еще одним подтверждением нашего утверждения; ибо они представляют собой такое состояние покоя, при котором многие раздражения достигают мозга и определяют череду мыслей и действий, где всегда заметно неполное и беспорядочное состояние церебральной иннервации: то нормальный инстинкт подчиняет себе разум, которому он повиновался во время бодрствования; то аномальный разум провоцирует инстинктивные движения, которые сами по себе не возникли бы, и так далее; но эта иннервация всегда значительно слабее той, что наблюдается при бодрствовании. Плод, по-видимому, проходит через все эти различные градации иннервации: в течение первых месяцев он пребывает в состоянии совершенного сна; в последние же месяцы этот сон часто прерывается восприятиями, которые не способны привести в действие ничего, кроме инстинкта в его самых ограниченных проявлениях — тех, что относятся к индивидуальному самосохранению. Более того, они обнаруживают себя лишь в кратковременных движениях, вызванных чувством боли. По сути, подобные движения представляют собой первые и самые простые акты в ряду существ, наделенных чувствительным аппаратом. Они просты до такой степени, что отличаются от движений полипа лишь тем, что возникают вследствие стимуляции, отраженной аппаратом головного мозга. Но разве не очевидно, что эмбрион первоначально обладал лишь движениями зоофита и лишь по мере своего развития обретает движения спящего человека?

2. Болезни усиливают, ослабляют, прерывают или извращают иннервацию головного мозга в её инстинктивном, интеллектуальном, чувствительном и мышечном аспектах. В ряде неглубоких сопорозных состояний, таких как кома, летаргия, неполная апоплексия, наблюдается полное прекращение интеллектуальной иннервации, при сохранении, до определенной степени, инстинктивной иннервации, которая все еще проявляется в скоординированных мышечных движениях: больной отворачивается, стремясь избежать шума, света, прикосновений и так далее. При эпилепсии и истерии инстинкт также реагирует, но беспорядочно, посредством конвульсий. При тяжелой апоплексии инстинкт и интеллект подавлены в равной степени, однако сокращения сердца и спланхических мышечных волокон продолжают продолжаться, координируемые головным мозгом совместно с движениями дыхательных мышц. В состоянии глубокого обморока, равно как и при асфиксии, иннервация мозга ослабевает до такой степени, что дыхательные движения прекращаются, а биение сердца становится неосязаемым.

Таким образом, мы видим функции головного мозга и нервов, проанализированные через их угасание согласно различным степеням убывающей интенсивности; в этом состоянии взрослый человек регрессирует до уровня эмбриона. При безумии, напротив, эти функции раскрываются через их экзальтацию – не только по степеням их проявления, но и по их многообразию (как мы увидим во второй части), вплоть до того момента, когда избыток раздражения лишает человека самых простейших и самых элементарных побуждений к действию – инстинкта и воли, – низводя его до того уровня иннервации, который свойственен эмбриону с еще не развитыми конечностями. Именно это явление обычно наблюдается при помешательствах, переходящих в полное слабоумие. В этом состоянии человек, лишенный всякого стимула к внешней деятельности, остается неподвижным, не выказывая ни аппетита, ни желаний; не ощущая никаких потребностей, он позволил бы себе умереть от голода и коснуться в собственных нечистотах, если бы окружающие не сжалились над его положением. Тем не менее, жизнь продолжается, пока пища вводится в желудок благодаря посторонней помощи, пока органы пищеварения способны ее усваивать, а внутренняя иннервация может распределять в организме и доставлять различным тканям усвоенные жидкости, необходимые для их питания.

Следовательно, верно утверждение, что роль нервной системы состоит в передаче стимулов от одной части организма к другой, и, исполняя эту функцию, она проявляет себя в пяти категориях явлений: (1) Осцилляторные движения сердца и сосудистой системы; (2) Сократительные движения мышечных волокон внутренних органов; (3) Движения дыхательных мышц, всегда скоординированные с предшествующими и свидетельствующие о вмешательстве головного мозга; (4) Движения этих мышц, а равно и органов речи и передвижения, совершаемые в определенном порядке и с целью, которую можно постичь, но без участия

интеллектуального акта; это явление чистого инстинкта, которое само по себе есть лишь выражение первичных потребностей, исходящее от энцефалического нервного аппарата; (5) Наконец, те же самые движения под руководством интеллекта, который то координирует их согласно внушениям, получаемым от инстинкта, то согласно желаниям, источником которых служит потребность в наблюдении.

Можно заметить, что сия последняя потребность присовокупляется как некое дополнение ко всем прочим; она проявляется прежде всего для их удовлетворения через импульс инстинкта, по мере того как мать перестает обеспечивать нужды ребенка; и в конечном итоге, по мере совершенствования мозга, она порождает все интеллектуальные операции, кои, хотя и проистекают из единого источника, кажутся тем более многочисленными, чем более человек поддается побуждениям этой самой потребности. Столь же очевидно, что высшая степень совершенства актов, продиктованных потребностью в наблюдении, достигается тогда, когда интеллект наиболее энергично обращается на самого себя, дабы наблюдать за собой и представлять результаты этого наблюдения другим людям; ибо неоспоримо, как и утверждали некоторые философы: чем более человек предается размышлениям ради самого удовольствия мыслить, тем сильнее он стремится делиться своими идеями. В этом отношении он разительно отличается от того, кто обдумывает способы удовлетворения потребностей менее возвышенных; ибо последний, будучи благоразумным, всегда таится и открывает окружающим лишь те из своих мыслей, которые могут способствовать осуществлению его замыслов.

Глава пятая:

О принятых теориях умственных способностей

Проследив за развитием человека и констатировав те неопределимые преимущества, которыми он обязан постепенному совершенствованию своего энцефалического аппарата, мы приходим к необходимости рассмотреть то, как он сам объясняет себе эти преимущества. В этом вопросе люди разделяются на две группы: тех, кто рассуждает о своих умственных способностях, не имея понятия об их органах, и тех, кто говорит о них, лишь опираясь на это знание. Первые совершенно чужды идее раздражения; и задача состоит в том, чтобы подвести их к ней. Ибо, независимо от Первопричины и того глубокого почтения, которое она должна внушать, мы вынуждены — под давлением внушительной совокупности тысяч и тысяч точно установленных фактов — относить все инстинктивные и интеллектуальные феномены к деятельности нервного аппарата. Следовательно, и любые их нарушения должны объясняться переменами, происходящими в его возбуждении, — переменами, в ряду которых феномен раздражения занимает первое место. Чтобы прийти к доказательству сей истины, мы в семи разделах рассмотрим следующие вопросы: (1) Каким образом человек пришел к способности абстрагироваться от самого себя, и каковы основания учения психологов; (2) Какое представление они имеют о сознании и наделены ли им животные; (3) Возможно ли выстроить науку на одних лишь феноменах сознания, как на том настаивают психологи; именно здесь мы раскроем причины заблуждений, допущенных ими при истолковании своих внутренних восприятий; (4) Каким образом сознание и чувства должны содействовать друг другу в созидании науки о человеке чувствующем и мыслящем, вкуче с рассуждением о том принципе, который психологи стремятся навязать нервной системе; (5) Является ли объяснение физиологов, касающееся постижимой причины интеллектуальных явлений, гипотезой, равносильной принципу психологов; одновременно с этим мы покажем связи, объединяющие внутренние функции с функциями взаимодействия; (6) К чему сводятся, в конечном анализе, все возражения, выдвигаемые против роли нервного аппарата в порождении интеллектуальных явлений; (7) Что следует думать о метафизиках, именующих себя рационалистами, теологами, иллюминатами и мистиками.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О том, как человек абстрагируется от самого себя. — Основания доктрины психологов.

Человек вступает на поприще наблюдений, стремясь удовлетворить свои первейшие потребности; и поначалу сделанные им замечания служат лишь этой цели. Вскоре наблюдение за объектами, которые он вынужден изучать, само по себе

становится удовольствием, зачастую отвлекающим его и заставляющим забыть о предмете своих поисков. Наконец, это новое наслаждение до такой степени овладевает им, что он совершенно забывает о первоначальной цели и воображает, будто рожден в этот мир лишь для того, чтобы созерцать природу и наблюдать за самим собой — и это становится для него самым благородным и насущным из занятий. Он идет еще дальше: он разделяет себя на две сущности. Одна из них, по его собственному признанию, общая для него и для животных, становится объектом его презрения. Другая же, не имеющая ничего общего ни с кровью, ни с плотью, ни даже с нервной системой, властвует над первой и являет собой человека в высшем смысле. Вот каким путем он следует, приходя к подобным онтологическим утверждениям.

Он берет совокупность всех явлений интеллектуальной иннервации, в той или иной степени переплетенных с инстинктивными проявлениями, и обозначает их одним словом; это слово и становится в его глазах движущей силой самих этих явлений. Очевидно, что к столь обманчивому различению его ведет незнание того, каким образом возникают данные феномены. Для нас крайне важно углубиться в этот вопрос — как для того, чтобы точно определить функции нервной системы, так и для того, чтобы дать ясное понимание теории безумия, которой мы посвятим вторую часть настоящего труда.

Судя о себе по аналогии с телами более низкого порядка и по обстоятельствам, в которых он их наблюдает, человек воображает, будто его интеллектуальные процессы направляются неким разумным существом, помещенным внутри его мозга, — подобно тому как созвучия органа рождаются под рукой музыканта, скрытого от взоров публики. Он не замечает, что нет никакого сходства между исполнителем, который сам является человеком, и первопричиной интеллектуальных явлений, обнаруживающихся в этом же самом человеке. Но он упорствует; он возводит наблюдение за этими явлениями в степень науки и именуется её метафизикой.

Но вот является анатом, вооруженный скальпелем: он вскрывает тела умерших, проводит опыты над живыми животными, сравнивая их со здоровым и больным человеком — вопреки протестам метафизика, полагающего подобное сравнение унижительным для себя. Он доказывает ему, что этот мнимый «музыкант», коего тот столь произвольно поселил в шишковидной железе или варолиевом мосту, есть не что иное, как совокупность всего мозгового аппарата. Рационалисты подхватывают это открытие и указывают метафизику на невозможность соприкосновения вещи, лишенной всяких признанных свойств физического тела, с нервной материей головного мозга. Трудность эта, однако, не останавливает последнего: дабы обосновать столь необычную связь, он измышляет некую промежуточную сущность — своего рода воздух или газ, некую «тонкую материю». Ему возражают: что бы он ни предпринимал, этот посредник всё равно останется неким физическим телом;

ему доказывают, что разумный человек не может допустить существования чего-либо, что не подтверждено ни одним из органов чувств.

Метафизик отнюдь не убежден; он слишком мало наблюдал за функциями нервной системы, чтобы проникнуться этой истиной, — однако он колеблется. Его неуверенность, его умолчания, слабость его аргументов, все это окончательно лишило его всякого доверия в глазах учёных мужей; и вскоре возобладало общее мнение: коль скоро не существует иных достоверных фактов, способных составить науку, кроме тех, что подвластны чувствам, то и метафизику необходимо низвести к фактам, наблюдаемым эмпирически. Это фактически уничтожает данную науку, сводя её к физиологическим понятиям, подобным тем, что мы только что изложили.

Наука о человеке находилась в этой точке, когда метафизики — коих, казалось, ждала скорая и добровольная капитуляция и переход в стан исследователей, избравших чувства единственным проводником в своих изысканиях, — предприняли попытку восстановить престиж философской онтологии. Они обосновали её тем, что назвали фактами сознания. Именно под внушением своего сознания современные метафизики, отвергнувшие это прозвание, дабы их не смешивали с теологами, и принявшие имя психологов, заговорили на следующем языке:

«Безусловно, науки должны опираться на наблюдаемые факты; однако нет строгой необходимости в том, чтобы все они постигались лишь органами чувств. Существует два рода независимых друг от друга наблюдений: наблюдение натуралистов и наблюдение философов. Первые признают лишь чувственное наблюдение; вторые же зиждутся на наблюдении внутреннем, а обнаруживаемые при этом факты суть факты сознания. Они вовсе не подвластны чувствам, однако неизменно остаются фактами, причем фактами величайшей достоверности, ибо нет ничего, в чем человек был бы уверен сильнее, нежели в том, что он испытывает удовольствие или боль; что он ощущает самого себя и чувствует, что он мыслит или мыслил о чем-либо; что он желает или желал совершить какой бы то ни было поступок; что он верит в одно и сомневается в другом, и так далее, и так далее. Итак, — продолжают психологи, — поскольку существуют два порядка равно достоверных фактов, относящихся к человеку, то и история человека двойственна: тщетно натуралисты притязали бы на полноту своего описания, опираясь лишь на факты из области чувств, равно как тщетно и философы пытались бы достичь её, исходя из одних лишь фактов сознания. Эти два порядка фактов никогда не смогут слиться воедино. Сознание ощущает само себя и вовсе не ощущает сенсорных восприятий; чувства же воспринимают лишь внешние впечатления и не способны ни видеть, ни слышать, ни осязать то, что сознание чувствует в самом себе. У чувств и сознания нет ничего общего, кроме того, что и те, и другое находятся в равном соотношении с разумным началом, единым по своей природе, коего они являются лишь служителями; и если до сих пор не удалось превратить философию в достоверную науку, то лишь потому, что эти

истины не были постигнуты. До настоящего времени смешивали два рода фактов и две соответствующие им науки: естествоиспытатель впадал в заблуждение, пытаясь трактовать факты сознания как явления, воспринимаемые чувствами; философ же совершал ту же ошибку, принимая подобный метод и притязая на то, чтобы судить о чувственных фактах, опираясь лишь на своё сознание. Ни тот, ни другой не должны допускать ни взаимных заимствований, ни уступок: настало время, чтобы каждый из них познал границы своей области. И если естествоиспытатель или физиолог непременно желают исследовать нравственный мир человека, им придется оставить изыскания, требующие помощи органов чувств, отложить в сторону свои скальпели и микроскопы и предаться, подобно философам, размышлению в отсутствие всяких внешних впечатлений, дабы сделаться исключительно психологами».

Так говорили новые метафизики; и идеологи, вставшие под знамена Локка и Кондильяка, которые возводят все наши идеи к впечатлениям, произведенным на органы чувств оказались в крайнем затруднении: они не предвидели столь важного возражения. И когда психологисты принялись провозглашать, взывая к своей совести, существование некоего движущего начала, независимого от всякой животной субстанции; когда они стали утверждать, что в полной мере ощущают в себе это начало, видят, как оно мыслит и действует свободно и самовластно, не имея с внешними чувствами иной связи, кроме той, что господин имеет со своими слугами, — идеологисты не осмелились открыто им противоречить. Но когда психологисты дошли до того, что из уст своей сивиллы провозгласили анафему всякому, кто усомнится в сих истинах; когда они обрекли на презрение тех, чье естество устроено столь грубо, что не позволяет им осознать всю абсурдность недоверия — в вопросах о собственной природе — свидетельству принципа, который по своей мудрости и возвышенности стоит неизмеримо выше чувств, состоящих из подлой и тленной материи, — тогда идеологисты, кои прежде признавали существование простого начала, не подозревая, однако, что найдется способ вступить с ним в прямое общение, остались без ответа и начали идти на уступки (Лишь одного, впрочем, следует исключить из их числа). Дело замерло на этой точке: идеологисты безмолвствуют или, по крайней мере, не опровергают; и врачи, занимающиеся физиологией, лишь вполголоса заявляют свои права на науку об интеллектуальных способностях, которую у них пытаются похитить и которую люди, вовсе не изучавшие специально функции организма, желают присвоить себе под именем психологии. Поскольку свои притязания они основывают исключительно на свидетельстве сознания, я намерен исследовать, что именно они понимают под этим словом и возможно ли в действительности сделать его единственным основанием истинной науки.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О представлении психологов о сознании. — Наделены ли им животные?

Под словом «сознание» они понимают присущую человеку способность наблюдать за самим собой — не за внешней стороной своего тела, ибо это он может делать лишь при помощи органов чувств, но наблюдать за своей мыслью; чувствовать, что он думает или думал о том или ином предмете; что он желает или не желает, желал или не желал того или иного. Именно это я обозначил в своем «Трактате по физиологии, примененной к патологии» выражением «обращаться на самого себя» (*se réfléchir sur soi-même*). Этот процесс не имеет предела, ибо, наблюдая за собой, я чувствую, что я за собой наблюдаю, и так далее до бесконечности.

Этот феномен внутричерепной иннервации, по-видимому, и есть то самое отличие, что выделяет нас в животном ряду и ставит во главе его благодаря той степени совершенства, которой он способен достичь у нашего вида. Мы не можем допустить его наличия ни в одном живом существе до тех пор, пока оно не даст нам понять, что наделено им. Оно заявляет нам об этом либо своими действиями, либо речью. Поскольку эмбрион, плод, новорожденный младенец, равно как и все животные низших классов, не совершают ничего, что могло бы натолкнуть нас на мысль о владении ими этой способностью; поскольку они лишены языка и не могут сказать нам: «я чувствую, что я чувствую», а также не могут делом подтвердить, что понимают нас, когда мы используем эту формулу, — мы без колебаний заявляем, что они вовсе не наделены той способностью, которую она выражает. Наблюдая за ребенком по мере его развития, мы улавливаем тот момент, когда он начинает выбирать между несколькими впечатлениями: тогда мы должны заключить, что он начинает чувствовать, что он чувствует и что он чувствовал прежде, — иными словами, что в нем развиваются феномены сознания.

Если же, с другой стороны, мы обратим наш взор на некоторых животных, то заметим те же явления: в самом деле, для нас очевидно, что животные не смешивают себя ни с какими иными телами в природе. Мы наблюдаем, как они воспринимают различные впечатления, проявляют нерешительность, прежде чем решиться на действие, и, наконец, поступают так, что у нас не остается сомнений: ими движет не только сиюминутное ощущение. Более того, в иных случаях мы можем с уверенностью утверждать, что они руководствуются простым воспоминанием. Иными словами, в настоящий момент они осознают те чувства, что испытывали когда-то прежде — чувства, отличные от тех, что диктуют им органы чувств в данную минуту. Таков, вне всякого сомнения, хорошо обученный охотничий пес: если некогда он немедленно пожирал добычу, то ныне без малейшего колебания приносит ее хозяину. Кажется, он и сам гордится тем, что сумел побороть свое чревоугодие. Таков и другой пес, который, несмотря на все ласки и вид

предлагаемой снеди, отказывается оставаться с тем, кто его приваживает, и устремляется за многие лиги, чтобы отыскать отсутствующего хозяина, которого он не видел уже несколько дней. Таковы волки, бродячие собаки и многие другие хищники: мучимые голодом, но предвидя при появлении врага, что не успеют насытиться в безопасности, они прячут только что пойманную добычу, предварительно умертвив ее, а затем спешат на защиту — собственную или своего потомства. Таковы же собаки и лисицы, охотящиеся сообща: одна из них преследует дичь, в то время как другая поджидает её у самого логова, подметив, что та неизменно туда возвращается.

Одна кошка, измученная тем, что у неё постоянно отнимали приплод, решила в очередной раз окотиться на чердаке. Когда котята этого последнего помета начали подрастать и материнского молока им стало недоставать, она вознамерилась привести их на кухню; однако, обнаружив дверь запертой, она принялась звать, чтобы ей отворили. Когда дверь открылась, кошка поспешила назад к чердачной лестнице за своими детёнышами, но те, будучи слишком пугливыми, разбежались, испугавшись шума открываемой двери. Перед самой матерью дверь снова закрыли, но она позвала вновь и добилась того, что её опять впустили. Неудача первой попытки послужила ей уроком: на сей раз она прошла лишь несколько шагов, ласкаясь к кухарке, а затем сделала вид, что уходит, намереваясь вернуться к лестнице. При этом она то и дело оглядывалась, словно желая пробудить в женщине любопытство и побудить её следовать за собой, дабы та поняла причину её действий. Кошке это удалось: кухарка, удивленная подобной повадкой, последовала за встревоженной матерью и обнаружила на чердачной лестнице её котят, которые в очередной раз бросились наутёк. Наконец, поняв намерения кошки, кухарка оставила дверь открытой и сделала вид, будто вовсе не следит за её действиями. Кошка воспользовалась этим и, неустанно подзывая своих котят и подавая им пример, сумела, наконец, завести их в кухню.

Все эти действия — равно как и тысячи других, что могли бы быть приведены в пример, — неоспоримо доказывают, что животные, чья биологическая организация наиболее близка к нашей, обладают в определенной степени способностью сознавать свои ощущения, различать воспринятые ими впечатления и даже владеют способностью к индукции.

В конце концов ребенок обретает орудия речи; он достигает этого благодаря постепенному развитию своего мозга, оставляя позади то животное состояние, на уровне которого он находился еще совсем недавно. Именно тогда он начинает понимать нашу формулу «я чувствую, что я чувствую» или же произносит её самостоятельно. Так человеческое сознание, развивающееся в ходе медленного и последовательного совершенствования головного мозга, в конечном итоге возносит человека над всеми остальными животными.

Теперь, когда мы достаточно точно определили свойства этой способности, посмотрим, каким образом психологи стремятся использовать эти данные для построения особой науки.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Возможно ли создать науку, основываясь исключительно на феноменах сознания. Причины заблуждений психологов в этом отношении.

Они утверждают, что должно внимать языку сознания, а для этого — сосредоточиться, погрузиться в безмолвие и мрак, дабы ни одно из чувств не было задействовано; отвлечься от всех природных тел — словом, внимать собственному мышлению. Они со всей серьезностью уверяют, что когда человек долго упражняется в подобного рода мечтательности, перед ним открывается необозримая перспектива, некий новый мир, населенный множеством фактов, один другого чудеснее, и связанных между собой естественными отношениями, законы которых можно постичь. Это факты особого рода, не имеющие ничего общего с теми, что доставляются нам ощущениями; факты, неустанное созерцание которых возносит психолога много выше прочих людей, не исключая натуралистов и физиологов, кои заняты лишь идеями, почерпнутыми из чувственного восприятия.

Исследуем же теперь, что они могут обнаружить в своем сознании, предаваясь подобного рода изысканиям. Помимо способности «чувствовать себя чувствующим», они найдут там две категории явлений. Поговорим сперва о том, что заложено в сознании изначально. Психологи непременно встретят там ощущения, исходящие от внутренних органов, которые находятся в беспрестанном сообщении с головным мозгом. Это не только голод, жажда, плотские влечения, холод, жар, определенная боль или удовольствие, относимые к той или иной части тела; более того, они заметят там множество смутных, неопределенных ощущений, которые порой склоняют их к печали, порой к радости, иногда к действию, а в иные времена — к покою; в один день — к надежде, в другой — к отчаянию и даже к отвращению к самой жизни. Они обнаружат всё это, даже не подозревая о происхождении подобных явлений; ибо лишь физиологи, или, вернее, врачи — и среди последних те, кто с наибольшей пользой изучает раздражения висцеральной системы и безумие, — единственные, кто способен просветить их на сей счет. Если они принимают все эти внутренние ощущения за откровения божества, коим именуют сознание, они могут еще более преумножить сие богатство, приняв, по обычаю восточных народов, некоторую дозу опиума в сочетании с благовониями. Тогда они, подобно Магомету, окажутся в общении со всем самым необычайным, что только таят в себе эмпиреи. Но перейдем ко второму роду явлений, которые мечтатель неизменно обнаруживает в своем сознании.

Там он найдет воспоминания о впечатлениях, воспринятых органами чувств. Я не стану утверждать, будто он увидит там образы, отпечатки или идеи, рассматриваемые как некие самостоятельные сущности; скажу лишь, что, наблюдая за собой, он ощутит восприятия, столь тесно связанные с предметами, воздействовавшими на чувства в момент их первого возникновения, что эти ощущения не могут возобновиться без того, чтобы в мыслях не возникли те же самые предметы. Таким образом, сознание наполнено: (1) Материалом, исходящим изнутри, то есть от висцеральных нервов, включая нервы самого головного мозга; (2) Материалом, поступающим извне, то есть от внешних органов чувств. Более того, эти материалы взаимосвязаны, перемешаны, слиты и в некотором роде отождествлены друг с другом. И связь эта столь сильна — как мы уже доказали в нашей «Физиологии», — что ощущения, идущие от висцеральных нервов, неизбежно приковывают внимание к определенным рядам идей, то есть к ощущениям, доставляемым внешними чувствами, и что эти последние не могут обрести в сознании и малой доли интенсивности, не вызывая, в свою очередь, висцеральных ощущений.

Без этого сочетания человек не имел бы никакого побуждения к действию — обстоятельство, к которому я еще буду вынужден вернуться, — и само это сочетание является прямой функцией головного мозга, рассматриваемого в аспекте чувствительной и интеллектуальной иннервации. Именно благодаря впечатлениям, полученным через внешние органы чувств, внутренние ощущения обретают для индивида некую значимость: так, голод становится вполне определенным ощущением лишь при наличии или при воспоминании о материальном объекте, способном его удовлетворить; притом значимость эта меняется в зависимости от того, наполнен желудок или пуст, находится ли он в нормальном или в болезненном состоянии. И напротив, именно через ощущения, воспринимаемые одновременно во внутренних органах, данные внешних чувств обретают свой точный смысл: так, вид представителя другого пола не имеет для ребенка, больного или евнуха той же ценности, что для взрослого и здорового мужчины. То же самое можно сказать и обо всех прочих ощущениях; ибо даже те из них, что не связаны с первичными жизненными потребностями — как, например, созерцание треугольника, — неизменно отвечают потребности в наблюдении. Доказательством тому служит то, что подобное ощущение лишено всякого значения для ребенка, у которого потребность в наблюдении еще не развита в силу несовершенства мозга, равно как и для врожденного идиота, чей мозг не получил должного развития в долях, отвечающих за интеллектуальные явления. В то же время для взрослого человека с правильным телосложением эта сенсация имеет ту или иную значимость в зависимости от того, в какой мере он упражнял свою способность к наблюдению в том ряду идей, о которых упомянутый треугольник может пробудить воспоминание. Но какую огромную ценность обретает она, пробуждая потребность в самоудовлетворении! Эта потребность, как мы показали в нашей «Физиологии», не может достичь определенной степени интенсивности без возникновения

ощущений, соотносимых с внутренними органами первого порядка — теми же самыми, что приходят в волнение при голоде, жажде, страхе смерти и, наконец, при всех инстинктивных проявлениях. Одним словом, что бы ни делал человек, предаваясь размышлениям, совершенно невозможно не пробудить в нем висцеральных ощущений и не привести инстинкт в действие сообща с интеллектом.

Таким образом, склонный к мечтательности психолог обнаружит в своем сознании лишь факты смешанного порядка; а потому он ошибается, пытаясь воздвигнуть на основе этих фактов здание особой науки, независимой от данных, полученных через органы чувств. Совершенно невозможно, чтобы он мог на основании одного лишь внутреннего созерцания утверждать хоть какой-то факт, не требующий проверки органами чувств. Именно это нам надлежит сейчас ему доказать, и для этого мы вступим на его собственную почву.

Психолог утверждает, что его внутреннее наблюдение есть нечто несомненное, ибо для него нет ничего более очевидного, чем ощущение того, что он чувствует и что он чувствовал прежде. Что ж, мы охотно согласимся с этим; бесспорно, он наслаждается, когда испытывает наслаждение, и страдает, когда испытывает страдание; он осознает удовольствие или боль, которые его посещают. Никому и в голову не придет оспаривать эту уверенность или ту реальность, на которой она зиждется. Однако из того, что психолог твердо убежден, будто некое тело кругло и неподвижно, вовсе не следует, что оно таково на самом деле: оно может быть квадратным, но казаться круглым из-за своего движения. И если органы чувств не придут на помощь, чтобы дать тому подтверждение, психолог всю жизнь пребудет в заблуждении относительно формы этого предмета и других весьма важных обстоятельств, с ним связанных. Этот пример применим ко всем случаям подобного рода. Мнимая уверенность в существовании «верха» и «низа», в неподвижности Земли и в суточном вращении солнца и небесного свода вокруг нее, прежде считались фактами сознания; каждый полагал, что ощущает в себе уверенность в этих мнимых фактах, и лишь с помощью органов чувств было окончательно доказано обратное.

«Но, — скажет психолог, — вы говорите о физических фактах, первое представление о которых исходит от чувств, а мы исключили их из области сознания. Вопросы, которыми занимаемся мы, касаются природы разумного начала, присущих ему способностей и моральности поступков. Во всем этом нас просвещает лишь наше сознание, и оно не может нас обмануть, в то время как чувства не сообщают нам абсолютно ничего».

Чтобы убедиться в этом, мы спросим психологов, что именно открывает им сознание во всех этих вопросах; начнем с вопроса о разумном начале. Мы уже упоминали выше, что древние метафизики приписывали его чему-то независимому от нервного аппарата. Сознание не научило современных психологов ничему большему. Следовательно, те ответы, что мы дали относительно природы этого

начала, могут быть адресованы и им. Посему я воздержусь от их повторения, но спрошу людей, преданных культу сознания, верят ли они искренне, что эта способность правомочна судить самостоятельно, без помощи какого-либо из органов чувств, о природе мыслящего начала.

Во-первых, невозможно без явного абсурда представить себе человека с правильным телесным устройством, достигшего той степени развития, когда он способен к саморефлексии, если бы он не пришел к этому состоянию путем длительного воспитания своих чувств. Доказательством невозможности подобного предположения служит тот факт, что несчастные, рожденные лишенными зрения и слуха, неизбежно остаются в состоянии идиотии. Во-вторых, все те, кто высказывал суждения о начале разума, были философами, которые задолго до того упражняли свои чувства в наблюдении внешних предметов и долгое время осваивали инструменты языка. Следовательно, в таких людях говорило отнюдь не одно лишь сознание; точно так же не оно одно говорит и в современных психологах. Их интеллект работает с огромным множеством идей, полученных через все органы чувств. Если бы в этом еще можно было сомневаться, достаточно было бы вспомнить приводимое ими сравнение их «разумного начала» с человеком, управляющим неким механизмом; подобная мысль никогда не пришла бы им в голову, если бы их чувства не явили бы их взору мастера за работой. Скажу более: они не нашли бы и способа провести подобное сравнение, не владей они знаками языка, кои были обретены ими исключительно через посредство чувств.

Они станут утверждать, будто вовсе не помышляли помещать «человека в мозг человека», но имели в виду некое начало, воздействующее на органы подобно тому, как человек управляет машиной. На это мы будем отвечать им вновь и вновь, тысячу раз кряду, если потребуется: сама идея этого «нечто» была внушена им картинами природы, некогда поразившими их чувства. Мы бросаем им вызов: пусть укажут в своей психологии хоть на одну идею, которая не была бы слепком с какого-либо предмета или явления природы. Сие столь справедливо, что для рассуждений о подобных предметах у них нет ни единого выражения, которое не было бы фигуральным; иными словами, все концепции своей науки они обозначают словами, что были изобретены как знаки, призванные напоминать либо о физических телах, либо об их свойствах, либо об обстоятельствах, в коих те предстали человеческому вниманию.

Дабы пояснить свое основоположение, они скажут, что желают лишь обозначить неведомую причину разума.

Если они желают лишь обозначить её как нечто неизвестное, то зачем прибегают к словам, предназначенным для описания вещей известных? Если им неведомо, отличается ли она в действительности от нервной системы, почему они утверждают, что она не может быть этой самой системой? Раз они дерзают заявлять, что она не является ни нервным веществом, ни чем-то составным, но представляет собой

некую простую сущность, то они неизбежно должны полагать, что имеют о ней представление. Они наделяют её качествами положительными и отрицательными и в то же время твердят, будто не знают её; когда же им хочется дать ей имя, они выбирают для этого образ, почерпнутый из области чувственного восприятия. Этот образ заимствован из представления о человеке, и это — величайшая честь, которую они могут оказать своему первоначалу, и наименее слабый довод, который они могут привести в его пользу; ибо нам известны примеры того, как люди управляют машинами. Но когда они сравнивают это первоначало с эфиром, становится решительно непонятно, каким образом газ — тело инертное, никогда не являвшее признаков разума, — может совершать интеллектуальные операции или же, не совершая их самостоятельно, принуждать к их выполнению нервную систему. Утверждая, что их первоначало по необходимости является чем-то простым, они полагают, будто выдвинули веский и неоспоримый аргумент. Откуда же почерпнули они идею о вещи простой, противопоставляемой вещи составной, если не из созерцания тел в природе?

Но какое представление можно составить о вещи простой, которая не была бы телом и, тем не менее, находилась бы во взаимодействии с молекулами нервного вещества, дабы производить феномены разума? Если бы психологи обладали такой идеей, у них нашлось бы и слово, чтобы передать её себе подобным. Что же есть у них, кроме знаков, служащих для изображения тела, коими они пользуются для обозначения того, что телом не является? В их распоряжении лишь внутренние ощущения: когда они усиленно размышляют об этом, ими овладевает желание, досада, своего рода гнев от невозможности выразить себя, не прибегая к знакам, предназначенным для представления тел; они видят себя вынужденными вновь использовать их, вопреки тому необычайному слогу, который они сами себе создали. Именно это смутное восприятие всех означенных ощущений они и принимают за доказательство существования своего бестелесного, разумного начала и некоего априорного откровения. Эти люди живут в вечном усилии самовыражения, которое в их речах приводит лишь к замене одного иносказания другим и к порче языка, если только оно не влечёт за собой еще более прискорбных последствий для функций их мозга. В действительности, сами эти ощущения суть лишь раздражения внутренних органов, аналогичные тем, что управляют инстинктивными движениями: мозг возбуждает их, остальные органы возвращают их мозгу и вновь принимают от него — и от этого может пострадать здоровье всего спланхнического аппарата.

Теперь необходимо определить, доказывают ли подобные восприятия, в основе которых лежит желание, хоть что-то в рассматриваемом вопросе.

Прежде всего, я принимаю за правило, что в данном роде явлений одно желание доказывает не больше, чем любое другое. Если у кого-то есть средства опровергнуть моё утверждение, пусть он поспешит это сделать. Пока же я буду строить на нём свои рассуждения. Почти все люди желают богатства и власти, мудрецы же

стремятся к жизни спокойной и независимой, но никто не может заключить из наличия этих желаний, что те, кто их испытывает, должны быть однажды удовлетворены. Нам известно лишь, что это возможно, поскольку наши чувства научили нас этому; но мы не можем сказать того же о других желаниях, удовлетворение которых никогда не было подтверждено чувствами. Так, многие люди желают вечно сохранять свою юность и свои силы; натуралист, физик, астроном жаждут познать первопричину всех явлений, которые они изучают; почти каждый человек хотел бы составить себе представление о начале и конце тел, о протяженности, о пространстве и так далее. Таким образом, человек вечно живет в окружении желаний; но вправе ли он заключать из самого существования этих желаний, что ему суждено всё это познать?

Увы!.. Непроницаемая завеса навеки скрывает от наших взоров все эти тайны, и у нас нет никаких оснований притязать на объяснение одной из них предпочтительно перед другой. Почему же в таком случае один лишь психолог хочет на основании своего желания познать первопричину интеллектуальных способностей делать вывод, что он и впрямь должен её познать? Или же из своего желания обладать этими способностями и тогда, когда его мозг будет разрушен, заключать, что он действительно их сохранит? Мудрец, размышляя о том, каким образом к нему приходят знания, вскоре обретает доказательство того, что его организация не позволяет ему познать причину собственной организации; он причисляет её к причинам первичным, кои все недоступны, или, если угодно, к единой всеобщей причине. Вследствие этого он смиряется, подавляет в себе возникшее желание и посвящает свои способности приобретению знаний полезных. С этого момента он освобождается от тех внутренних ощущений, что терзают психолога, и искренне сочувствует ему, видя, как тот истощает себя в тщетных усилиях создать язык, способный дать хоть какое-то представление о его ненасытных желаниях.

Безусловно, психологи дают немало поводов для критики, ставя на одну доску чувства и сознание и подчиняя их некоему разумному началу, которое они полагают простым, основываясь на каких-то туманных сравнениях с материальными объектами. Единственное, что остается неоспоримым во внутренних восприятиях, — это то, что испытывающий их действительно их испытывает. Я только что доказал: когда сознание в представлении психологов пытается судить о самом себе, оно берет за образец физические тела, познанные через органы чувств, и способно абстрагировать свою первопричину лишь тем же самым путем. Следовательно, у нас есть все основания полагать, что оно неспособно самостоятельно судить о собственной природе. Если верно то, что в этой операции оно нуждалось в помощи чувств, значит, оно не является независимым от чувств. Но главное — оно не может само по себе предоставить разумному началу (которое я, дабы не смущать психологов, на мгновение вновь персонифицирую вслед за ними) — фактов, равных по своей достоверности тем, что поставляют нам органы чувств. Органы чувств,

несомненно, могут вводить нас в заблуждение, равно как и сознание, однако лишь они одни способны дать верные представления о телах; сознание же не являет нам никакого иного неоспоримого факта, способного обойтись без подтверждения чувствами, кроме самого внутреннего ощущения. Иными словами, я могу утверждать, что чувствую, что я сознаю в себе чувство и волю, что я осознавал себя чувствующим и волящим, однако я не могу сделать из этого никакого вывода о реальности предметов, которые я воспринимал, сознавая свои чувства и волю, если не прибегну к помощи органов чувств; ибо вполне возможно, что я обманулся относительно самого существования или природы этих предметов. Доказательства тому я приводил выше, указывая на прежние заблуждения физики. Подобных свидетельств столь много и в любой другой области знания, что каждый может без труда их найти.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О необходимости содействия чувств и сознания для построения науки о человеке чувствующем и мыслящем.

Следовательно, свидетельство сознания не равноценно свидетельству чувств, и наука, которую можно извлечь из первого, быстро исчерпывается, так как она сводится к единственному утверждению: *«Я наделен способностью чувствовать, что я чувствую»*. Этот тезис выражает лишь факт, и ничего более. Если мы хотим, чтобы данный факт стал фундаментом науки, необходимо прежде всего сделать его плодотворным, непрестанно вопрошая органы чувств и требуя от них новых данных в дополнение к уже имеющемуся. Если психологи полагают, что занимаются чем-то иным, они заблуждаются; если же они пренебрегают этим путем, то неизбежно сбиваются с истинного курса. Мы представим им новое доказательство, которое позволит им осознать, насколько опасно всегда полагаться лишь на свои внутренние ощущения или верить в нечто только потому, что нам хочется видеть предмет в определенном свете, не имея при этом возможности убедиться, что он может быть иным.

«Человек ощущает в себе, — говорят нам психологи, — нечто отличное от его телесных членов, от его плоти и его чувств; именно это внутреннее чувство возносит его бесконечно выше животных. Только человек подвергает всю вселенную своему исследованию; только он изучает и классифицирует материальные тела и их свойства; только он восходит путем индукции от следствий к причинам; только он возвышается до идеи Высшего Существа. Более того, — добавляют они, — невозможно, чтобы первоначало, наделяющее человека этими способностями, было тождественно тому, что управляет способностями животных. В этом начале есть нечто, родственное природе Первопричины. Поскольку оно господствует над телами, его нельзя смешивать с ними; следовательно, оно должно обладать

природой более возвышенной, нежели природа нервной системы, и невозможно вообразить, чтобы оно распадалось и гибло вместе с ней. Все, о чем мы здесь говорим, вовсе не почерпнуто из внешних чувств. Это наше внутреннее чувство внушает нам подобные идеи, и мы не можем не считать их отражением реальности».

На это им можно ответить следующее: я вовсе не собираюсь оспаривать тот факт, что у вас возникают подобные идеи или что вы считаете их выражением реальных вещей, ибо в этом и заключается вся реальность вашей психологии. Однако вам никогда не удастся доказать мне, что я сам должен иметь те же идеи, и уж тем более — что они представляют собой нечто объективно существующее. И вот что мешает мне разделить ваше мнение. Вы утверждаете, что человек ощущает в своем внутреннем мире всё то, что вы только что изложили. Я отвечаю: да, человек взрослый, бодрствующий, здоровый и в течение долгого времени упражнявший свои чувства, действительно может всё это ощущать. И нет: ни эмбрион, ни плод, ни младенец, ни человек, лишенный зрения и слуха, не ощущают ничего подобного; а человек, страдающий врожденным слабоумием по причине недоразвития передних отделов мозга, вовсе этого не чувствует. Докажите мне, что двое последних не принадлежат к роду человеческому; если же вы этого не сделаете, если не сумеете показать мне, что природа эмбриона, слепоглохого или идиота от рождения отлична от природы тридцатилетнего человека крепкого сложения; если вы не найдете между ними иного различия, кроме степени развития органов, то я, основываясь на собственных чувствах, заключу: первоначало тех идей, что вы только что изложили, свойственно не всем людям без исключения, но лишь тем, кто находится в определенных условиях. Я пойду еще дальше: я возьму тех из ваших сторонников, кто обладает этими идеями — а следовательно, и порождающим их началом, — и прослежу за ними в состоянии глубокого сна, в моменты апоплексии или асфиксии, если их постигнет такое несчастье. Вопросив их в каждой из этих ситуаций, я приду к выводу, что временами они обладают этим началом, а временами — нет.

«Оно всегда пребывает в них, — ответите вы мне, — но не находится в действии». Я же отвечу незамедлительно. Но пока же — пойдёмте со мной в дом для умалишенных. Там я покажу вам двадцать безумцев в состоянии полного помешательства, которые некогда обладали вашим «началом», но уже никогда его не обретут. Благоволите же сказать мне: присутствует ли оно в них по-прежнему, в каком месте оно таится и каким образом его деятельность может оставаться вовсе без применения?

Вот доказательство того, что психологи не могут подтвердить непрерывное существование начала, отличного от нервной материи. Чтобы выпутаться из этого затруднения, они вынуждены утверждать, будто сие начало, нуждаясь в посредничестве органов, может проявлять себя лишь тогда, когда они находятся в состоянии повиноваться ему. Это утверждение совершенно произвольно и в высшей степени абсурдно, ибо оно содержит в себе явное противоречие: вы используете факт наличия интеллектуальных феноменов, дабы доказать, что нематериальное

начало присутствует здесь для их созидания, и в то же время используете отсутствие этих самых феноменов, дабы доказать, что оно всё еще пребывает на том же месте. Из того, что оно однажды явилось, вы заключаете, что оно не может исчезнуть; ваш единственный довод состоит в том, что вы уже допустили его присутствие. И хотя от вас самих можно услышать признание в незнании его сокровенной природы, вы наделяете его таким свойством, согласно которому оно никогда не должно покидать мозг, пока мозг остается живым — даже если оно, это духовное начало, не будет проявлять себя в течение многих лет, как случается с безумцем в состоянии деменции, который умирает, так и не обретя рассудка. Вы дерзаете на большее: выведя свое «начало» из высших интеллектуальных функций, вы без тени сомнения приписываете его эмбриону, у которого еще нет этих функций, нет даже мозга, и который представляет собой лишь скопление жидкостей с еще не оформившимися органами. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим нагромождением гипотез, каждая из которых — на редкость причудлива и химерична?

Но отчего же вы позволили себе затеряться в этом лабиринте допущений? Причина в том, что вы доверились внутреннему чувству, которое, если верить вам на слово, твердит, будто это начало просто и едино, будто оно независимо от ваших органов и по природе своей не имеет ничего общего с началом животных; будто оно существовало вечно и пребудет вовеки, и так далее. По какому праву это «начало» берется утверждать подобное — оно, которое само по себе, без помощи органов чувств, не способно дать вам ни малейшего представления ни о начале, ни о конце, ни даже о прекращении деятельности того самого органа, через который, по вашим словам, оно себя проявляет? Разве ваше внутреннее чувство подсказывает вам, что некогда вы были эмбрионом, ребенком или что вы когда-нибудь умрете? Слушайся вы только этого чувства, не сочли бы вы себя бессмертным в самой плоти своих органов? Где почерпнули вы идею о некоем внетелесном существовании, о коем оно, как вы утверждаете, вещает вам, если не в тех последовательных впечатлениях, что производят внешние тела на ваши чувства? Кто мог поведать вам о существовании животных и о том, что они имеют некое сродство с вами, если не деятельность ваших чувств и так далее? Отчего же тогда, желая потешить свою страсть быть существом иной природы, нежели вся остальная Вселенная, вы верите своим чувствам, когда те свидетельствуют, что всякое живое тело исчезает, не оставляя и следа функций своей нервной системы; но при этом отказываетесь доверять свидетельству тех же самых чувств, когда они со всей очевидностью демонстрируют вам, что ваши интеллектуальные феномены суть также результат деятельности брэнной нервной материи? Почему, дабы утверждать обратное и настаивать, будто вы способны мыслить без нервов и мозга, вы вверяете себя внутреннему чувству, которое не способно судить ни о пространстве, ни о времени, ни о самой субстанции, из которой сотворено сущее? Откуда проистекает та вопиющая непоследовательность, в которую вы впадаете в каждое мгновение, утверждая, что зрение происходит от глаз, слух — от ушей, осязание — от нервных окончаний кожи, обоняние — от носа, вкус — от рта, и при этом отрицая, что мысль

происходит из мозга? Вы признаете роль органов чувств в формировании идей, представляющих вам материальные тела, потому что, по вашим словам, чувства доказали вам истинность этого факта — иными словами, потому что вы ощущаете действие своих органов чувств. Однако вы отрицаете, что размышление есть деятельность мозга, лишь потому, что не видите свой мозг в действии.

Но будьте же последовательны в своих суждениях! Раз вы с помощью чувств проверяете свидетельство своего сознания, которое говорит вам, что представление о цветах исходит от органа зрения, то проверьте тем же способом и мнимое свидетельство той же способности, когда она внушает вам, будто мыслит и рассуждает вовсе не ваш мозг. Вы не ограничились изучением собственного тела, чтобы понять функции глаза. Вы проверили их на других людях с помощью доказательств как положительных, так и отрицательных. Так вы убедились, что те, кто лишается глаз, лишаются и самой возможности восприятия цветов. Понаблюдайте же точно так же за другими и в вопросе мышления, и вы вскоре убедитесь, что мысль развивается, претерпевает изменения и угасает вместе с мозгом; что человек, лишившийся головы, теряет способность мыслить точно так же, как тот, у кого вырван глаз, теряет восприятие цветов, и так далее.

Будь правдой то, что вы неустанно повторяете — будто в суждениях о своих чувственных и деятельных способностях вы опираетесь исключительно на свидетельства сознания, — вы могли бы возразить, что я уклоняюсь от сути вопроса. Однако я доказал: вы беспрестанно оперируете впечатлениями, полученными через органы чувств, даже когда речь заходит о природе и долговечности первоначала ваших интеллектуальных феноменов. На чем же в таком случае зиждется ваша психология? *На ложной операции вашего разума, над механизмом которой вы совершенно не задумывались.* Вы берете акт мышления и рассуждения, наблюдаемый вами в его высшей степени совершенства у человека взрослого, здорового, в совершенстве владеющего языком, наделенного всеми чувствами и упражнявшего их совместно со своим рассудком в течение сорока или пятидесяти лет; вы возводите этот частный случай в абсолют, делая его атрибутом, присущим всем людям, и провозглашаете его чем-то независимым от их нервной системы. Не обнаруживая же этого атрибута в бесчисленных исключительных случаях, которые я вам часто приводил, вы вынуждены прибегать к предположениям, дабы отстаивать его существование в субстанции, с которой оно не может иметь никакого контакта, и объяснять отсутствие его явных проявлений в настоящий момент. Обращаясь к своим чувствам, которые вы призываете в качестве ложных свидетелей, чтобы подыскать сравнения для предмета, по вашему же мнению, им недоступного, вы без колебаний утверждаете, что если этот атрибут не проявляет себя, то лишь потому, что он подобен светилу, скрытому густыми тучами, или музыканту, оказавшемуся перед расстроенным механизмом, который он более не может привести в движение. Вы уподобляете его господину, чьи взбунтовавшиеся слуги отказываются повиноваться, или же искусному и весьма деятельному работнику, который, однако,

многие годы пребывает в праздности, сложа руки среди еще сырых материалов, ожидая, пока чернорабочие их обтешут; затем он на некоторое время пускает их в дело и еще гораздо дольше остается внутри этой одушевленной машины, ожидая её полного разрушения.

Если вы непременно желаете отстаивать существование вашего «начала», скажите просто, что вы его чувствуете; утверждайте это авторитетно. Те, кто чувствуют так же, как и вы, повторят ваши суждения; но не пытайтесь доказывать его существование тем, кто его не чувствует; ибо вы не сможете сделать этого, не прибегая к чувственным феноменам и не подвергая себя риску опровержения. По той же причине откажитесь от попыток создать науку, целиком состоящую из фактов сознания; они недостаточно многочисленны и слишком слабо связаны с общественной жизнью, чтобы вы могли достичь в этом успеха. Сохраните вашу гипотезу о разумном начале, отличном от нервной материи, лишь как тайную пружину ваших собственных поступков. Подобная гипотеза может быть полезна для людей определенного склада ума.

Психологи придают большое значение способности к индукции, стремясь обосновать существование некоего вне-нервного начала, которое якобы управляет мозгом; однако они вводят это начало лишь в сферу интеллектуальной деятельности.

Если верить им, то вывод из любого природного явления, поражающего наши чувства, — вывод о том, что оно имеет причину, что оно существует ради некой цели, что им управляет разум и что оно предполагает перемену, произошедшую в телах, в которых оно проявляется, — означает *обладание априорными идеями*. Это значило бы, что через ту самую не-нервную причину, приводящую нервы в движение, мы вступаем в связь с Первопричиной всего сущего, поскольку наши чувства не могли открыть нам ни самой причины, ни цели, ни двигателя этого явления, ни того изменения, которое это явление собой представляет. «Именно так, — продолжают они, — на основании одного из проявлений некой функции мы выводим и все остальные: хотя мы и не можем удостоверить их посредством чувств, мы убеждены в их существовании и ставим опыты, дабы их обнаружить».

Когда я читаю подобные доводы у психологов, я теряю почву под ногами; мне начинает казаться, что я имею дело с людьми, чья природа и устройство отличны от моих собственных. Ибо если я обращаюсь к самому себе, дабы спросить свое сознание о значении этого акта индукции, я нахожу, что должен использовать его как одно из неоспоримых доказательств того, что наши идеи приходят к нам не иначе как через посредство чувств. В самом деле, все эти индукции суть не что иное, как сравнения: это происходит потому, что человек с самых юных лет привык видеть, как причины порождают следствия; потому, что он сам бесчисленное множество раз выступал в роли причины; потому, что он чувствует к этому постоянное влечение; потому, что он находит удовольствие в том, чтобы заставлять

себе повиноваться, видеть, как его импульсу поддаются предметы как неодушевленные, так и живые; наконец, потому, что у него всегда есть намерение, цель, совершая подобного рода действия, примеры которых его ближние подают ему ежеминутно; оттого, что он видит изменения, происходящие в телах, кои он подчиняет своему воздействию; словом, оттого, что намеренное преобразование всего окружающего составляет, по сути, весь опыт его жизни, он переносит — и, не имея иного образца, воистину вынужден переносить — это представление о преобразовании на все явления природы.

Нам говорят, что он убежден, хотя и не видел причин, не был посвящен в замыслы творцов и не разгадал тайны превращений. Безусловно; чем более человек невежествен, тем он более легковерен, и то же привычное восприятие причинности и намеренности неизбежно заставляет его судить о том, чего он не знает, по тому, что ему известно. Он не терпит сомнений; вместо того чтобы оставаться в состоянии неопределенности, он хватается за первый же проблеск вероятности, который его поражает, — и вот он уже убежден столь же непоколебимо, как если бы удостоверился во всем при помощи всех своих чувств. Таков его метод; он сослужил ему добрую службу в размышлениях о вещах обыденных. Поэтому ему крайне трудно оставить его, и требуется долгое и суровое воспитание ума, дабы обрести мужество сомневаться, хотя его легковерие тысячи и тысячи раз вводило его в заблуждение. Можно было бы составить целые тома из простого перечисления знаменитых ошибок в эмпирических науках, вызванных поспешными индукциями, которые впоследствии были последовательно исправлены новыми открытиями.

Однако, не углубляясь в дебри веков, достаточно оглянуться вокруг, чтобы собрать тысячи примеров более или менее нелепых предрассудков в области религии, политики, медицины и прочего — предрассудков, порожденных этим индуктивным процессом, этой вечно живой и неукротимой склонностью человека судить о том, чего он не знает, на основании того, что ему кажется известным. Именно здесь кроется главный источник его заблуждений. Поскольку человек не способен ничего предугадать, лишь случай должен преподнести ему новые факты, дабы вызволить его из плена ошибок, в которые его ввергли ложные аналогии. Таким образом, его познание всегда зиждется на чувствах; и сами наши психологи являют нам пример, стоящий всех прочих: они настолько подвластны привычке переносить известное на неизвестное, что вместо чистосердечного признания своего невежества касательно природы интеллектуальных явлений, они помещают некоего не-нервного, «бестелесного машиниста» — в мозг одного лишь человеческого рода, рискуя навлечь на себя обвинения в безрассудстве, в непоследовательности или же в неведении самого предмета, о коем они рассуждают: Во-первых, за то, что они уподобляют мозг и нервы — начала живые и деятельные — машине, вещи инертной и пассивной; Во-вторых, за то, что они не могут составить иного представления о «машинисте», обитающем в мозгу, кроме того, что было почерпнуто ими посредством чувств из образа самого человека; В-третьих, за то, что они

приписывают нервной материи животных те же явления, которые у человека они относят на счет бестелесного разума — такие как чувствительность, память и воля.

Вот, смею надеяться, достаточно яркие примеры тех поспешных суждений, кои выдают упомянутую нами привычку. Далеко не всегда физиологи руководствуются априорными идеями, которые заранее указывали бы им цель их изысканий и опыты, необходимые для полного раскрытия функции, известной поначалу лишь по некоторым ее проявлениям. Физиологи — это прежде всего анатомы; они видят органы, они наблюдают за их действием. Познав через упражнение своих чувств работу тех органов, что были изучены ими первыми, они открывают новые; и если им не удастся сразу определить их назначение, они строят предположения, основываясь на аналогии, и чтобы удостовериться в своих предположениях, они стремятся посредством опытов привести эти органы в действие и узнать, к какому результату это приведет. Разве с самого детства чувства не снабжают их данными о назначении всех внешних частей тела? И разве могут они, проникнув во внутреннее устройство организма, уклониться от того, чтобы судить по тем же самым правилам о работе органов скрытых? Если у них нет этой аналогии, они находят другие: так, Гарвей заподозрил существование кровообращения, исходя из направления венозных клапанов. Иные и прежде делали тот же вывод из того же факта; но что из того? Тот, кто первым пришел к нему, обнаружил его основания в самой природе: в переплетении кустарников и ветвях деревьев, в сетях для ловли зверей, в гидравлических машинах, в расположении плотно сомкнутых пальцев и во многом другом. Не требовалось никакого априорного вдохновения, чтобы рассудить, что назначение клапанов должно состоять в том, чтобы препятствовать возвратному движению крови. Не требовалось его и для того, чтобы заключить: раз кровь возвращается к клапану, который она уже миновала, то достичь его она может, лишь описав полный круг. Поражать должно не само это умозаключение и не опыты, им внушенные; изумления заслуживает лишь то поразительное промедление, с которым человечество пришло к подобным выводам и экспериментам.

Пусть психологи покажут нам хотя бы одного человека, лишенного чувств с самого момента его рождения или же наделенного органами чувств, но обладающего почти отсутствующим лбом, который, тем не менее, пришел бы к подобным умозаключениям; это стало бы прямым доказательством, и в него пришлось бы поверить. Но пока мы можем находить прообразы явлений, открытых путем индукции, в феноменах, воспринимаемых чувствами, мы никогда не поймем, каким образом это открытие могло быть приписано чистому сознанию.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Сравнение гипотезы психологов с мнением физиологов о постижимой причине интеллектуальных явлений.

Раздосадованные невозможностью обосновать свой «вне-нервный» принцип иначе как при помощи гипотез, некоторые психологи попытались утешиться утверждением, что и противоположное мнение, приписывающее интеллектуальные явления деятельности нервной материи, также является лишь гипотезой. Для обоснования этого тезиса они прибегли к следующему методу.

В жизненных явлениях они различают: (1) Факты, не зависящие от разумного и волевого начала, а также от чувствительности; (2) Факты, в которых это начало принимает участие.

Согласно утверждениям психологов, факты, не зависящие от этого начала, суть две великие внутренние функции: питание и размножение. Те же факты, что находятся в зависимости от него, относятся к третьей важнейшей жизненной функции — функции отношений.

По их мнению, одно и то же начало чувствует в явлениях ощущения, познаёт в явлениях восприятия внешних предметов и изъявляет волю в явлениях произвольного действия. Таким образом, ощущение, идея и воля составляют неотъемлемые элементы всякого акта отношений; это факты сознания, которые совершенно недоступны чувствам и не могут быть объектом чувственного наблюдения. Следовательно, их невозможно познать извне — они открываются сами собой ещё до начала всякого исследования, являясь единственной его движущей силой.

Таков, на мой взгляд, самый веский аргумент, к которому прибегают психологи, дабы отнять у нервной системы явления отношений и приписать их некоему началу, о коем, по их собственному признанию, они не могут иметь ни малейшего представления. Иными словами, они стремятся разрушить всё до основания, не имея никакой надежды когда-либо восстановить здание заново. Я намерен оспорить сей довод, вооружившись лишь простым здравым смыслом.

Питание остается независимым от явлений отношений лишь у плода; эта независимость обусловлена тем, что питание на данном этапе является прямым продолжением жизнедеятельности малой массы оплодотворенной жидкости. Первичное питание представляет собой не более чем игру молекулярных средств. К этому первоначальному способу существования добавляется механический импульс, сообщаемый крови жизненной силой сердца плода, а также плаценты и пупочных сосудов. В момент рождения, как только мозг начинает воспринимать через внешние чувства воздействие воздуха и материнской груди, вступают в действие средства отношений; однако эта связь, еще лишенная признаков разума,

остается чисто инстинктивной. Наконец, когда мозг достигает полного развития вместе с органами чувств и мышцами — то есть теми орудиями, которые он должен использовать для отведенных ему новых функций, — внутренние явления разума и определяемые ими действия становятся первостепенными инструментами питания. Лучшим доказательством тому служит тот факт, что человек, впавший в полное слабоумие, неизбежно умирает от голода, если разум другого человека не берет на себя заботу о его пропитании. Пусть же психологи теперь ответят нам: существуют ли между однодневным эмбрионом и тридцатилетним мужчиной иные различия в отношении способа питания, отличные от тех, что я только что им указал; и если они настаивают на том, чтобы здесь вмешивалось некое не-нервное начало, то пусть уточнят, в какую именно эпоху они могут зафиксировать его появление в этой материи.

Феномены внешних связей еще более существенны для функции воспроизводства, поскольку чувства — которые, смею надеяться, признаются главными средствами этих связей — являются также единственным способом познания другого пола; именно они дают обоим существам те мотивы, что определяют волю к сближению.

Если психологи абстрагируются от всего, что в процессах питания и размножения относится к интеллектуальному началу, то эти функции перестанут быть свойствами позвоночных животных. Они уподобятся функциям неких зоофитов, у которых питание есть лишь игра молекулярного сродства, а размножение — лишь случайное разделение или разрыв. Если же они предпочтут понимать под словами «питание» и «размножение» только феномены сократимости, кровообращения, всасывания, сродства и изменения форм животной материи, то в это определение не войдут инстинктивные явления. Если же они вздумают включить их туда, я докажу им, напомнив сказанное мною о воспитании ребенка, что интеллект — это не что иное, как инстинкт, усовершенствованный в определенных отношениях благодаря развитию головного мозга в некоторых легко определяемых направлениях.

Отметив роль чувствующего и волящего начала во внутренних функциях, я должен рассмотреть это начало в функциях отношений. Ощущение, идея, воля — это, как нам говорят, факты сознания, которые не могут быть восприняты органами чувств. Проведем различие: идет ли речь о самом себе или о других? Если вопрос касается других, то мы, несомненно, обнаруживаем в них эти способности именно с помощью наших чувств. Если же речь идет о нас самих, то мы, безусловно, не видим, как чувствуем, мыслим или желаем, хотя и совершаем всё это. Но что бы мы стали делать с этим фактом без помощи чувств? Что сказал бы, что сделал бы человек со своим внутренним ощущением, если бы не сравнивал его с ощущениями других людей, о которых он, впрочем, не мог бы иметь никакого представления иначе как через свои чувства?

Пойдем дальше! Мог бы он, обладая лишь внутренними восприятиями, иметь идеи о чем-либо; обладал бы он волей? Ответ на этот вопрос должен дать слепоглохой от рождения. Человек обладает интеллектуальными способностями лишь постольку, поскольку его внутренние ощущения оказываются связаны с каким-либо телом, находящимся вне него, или с какой-либо частью его собственного тела, воспринимаемой его чувствами; это служит их определяющими причинами. Говорить о совокупных способностях чувствовать, мыслить и желать как о некоем едином факте, сугубо внутреннем, — значит говорить о вещи, которой не существует. За вычетом восприятий, получаемых через органы чувств, не остается ничего, кроме смутного самоощущения бытия. Но что я говорю? Не остается даже и этого; ибо глухослепорожденные, за которыми велось наблюдение, обладали кожным осязанием, которое само по себе является внешним ощущением. Они могли, по крайней мере, сопоставлять впечатления, исходящие из этого источника, с теми, что доставляла им принимаемая пища, и, возможно, половое чувство, или же, как минимум, с ощущениями, возникающими в результате движения их конечностей.²

Утверждать, будто внутреннее ощущение собственного существования, представление о внешних вещах, воля к сближению с ними или притяжению их к себе являются у человека феноменами, предшествующими любому чувственному восприятию, — значит утверждать заведомую ложь. Ибо факт заключается в том, что наблюдение за собой возможно лишь постольку, поскольку одновременно наблюдаются тела, не являющиеся «собой»; и поразительно, что в XIX столетии мы всё еще вынуждены повторять эту старую истину. Из этого следует, что понятия о внутреннем восприятии, об идее, о воле суть результаты чувственного наблюдения для тех, кто ими уже обладает; те же, кто еще ими не владеет, могут обрести их не иначе как с помощью того же чувственного наблюдения. Это положение прямо противоречит утверждениям психологов. Таким образом, вопреки мнению упомянутых авторов, можно заключить, что эти способности формируются и утверждаются в человеке благодаря одновременной деятельности мозга и органов чувств. Следовательно, они отнюдь не предшествуют наблюдению, не возникают сами по себе и не существуют *априори*.

² Никто не может добиться от подобных субъектов никакого признания в том, что они чувствуют внутри себя; они для нас подобны эмбриону или стоят даже ниже моллюска. Таков результат несовершенства чувств. Результат несовершенства передней части мозга почти таков же. Недавно различным ученым обществам столицы была представлена двадцатилетняя девушка, чей лоб почти отсутствует и чей разум не превосходит разум шестимесячного младенца, хотя органы чувств у нее развиты чрезвычайно хорошо. Дело в том, что недостаточно иметь одни лишь чувства; необходимо обладать мозгом, способным оплодотворять те восприятия, которые они доставляют.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

К чему сводятся в конечном итоге все возражения психологов. —
Решение предыдущего вопроса.

Хотя мы и доказали психологам, что само понятие сознания проистекает из чувств и что, следовательно, нельзя признавать за ним прерогативу утверждать себя прежде всякого восприятия, многие из них, возможно, не будут убеждены. «Я», — говорят они нам, — «утверждает себя прежде всего остального, поскольку оно является единственным мотивом любых исследований, которые мы предпринимаем, дабы познать его; ведь, в конечном счете, если бы мы никогда не обладали способностью воспринимать, мы бы не стремились узнать, как именно происходит восприятие».

Вспомните, господа, те ответы, что уже были даны: я доказал вам, что феномены идей и воли всегда подразумевают чувственные восприятия; я показал вам, что внутреннее восприятие, взятое само по себе и без примеси восприятия чувственного, сводится лишь к факту ощущения, из которого вы не можете ничего извлечь и которым не можете воспользоваться для обоснования вашей системы. Почему же вы упорствуете в стремлении вывести из нынешнего наблюдения, коим «Я» изучает само себя, предсуществование этого самого «Я» по отношению к любому чувственному наблюдению? В этом возражении кроется некая игра слов, вводящая вас в заблуждение, некая онтологическая загадка, которую было бы крайне важно разгадать. Не проистекает ли ваше упрямство из того, что вы персонифицируете само понятие «Я»? Кажется, я нащупал суть. Вы говорите себе: *«Человек наблюдает лишь потому, что он наделен всем необходимым для наблюдения; следовательно, и «Я», пребывающее в человеке, должно находиться в том же положении...»*.

Остановитесь, господа! Остерегайтесь уподоблять «Я» Минерве, являющейся внезапно, вооруженной с головы до пят. Вспомните то, что только что было доказано: слово «Я» не может означать ничего иного, кроме феномена, проявляющегося при определенных условиях. Сии условия заключаются: (1) В существовании совершенного, должным образом развитого головного мозга, находящегося в состоянии бодрствования; (2) В наличии ряда стимулов — сперва внутреннего, а затем и внешнего происхождения, — кои достигли этого мозга.

Лишь благодаря этим условиям существует некое «Я», и это «Я» может быть сравниваемо лишь с самим собой. Прекратите же судить о нем на основании ложного сравнения и усвойте отныне иное представление.

Ваше упрямство может иметь и другую причину: с одной стороны, вас тревожат свидетельства ваших чувств, которые говорят, что «Я» исчезает, едва лишь мозг отделяется от туловища, и понуждают вас к выводу, что «Я» зависит от мозга. С другой стороны, утомленные тщетными попытками объяснить, каким образом мозг

может быть вместилищем «Я» так, чтобы само «Я» при этом не являлось лишь феноменом деятельности мозга, вы решаете спросить о природе этого «Я» само ваше сознание. Последнее же, будучи чуждым понятиям длительности, разрушения и воспроизводства, обращается к вам на языке, доступном лишь ему самому. Оно — не более чем ощущение, неотделимое от существования; оно отвечает вам, что «Я» есть бытие, не зависящее от любых случайностей. Так оно вступает в противоречие с вашими чувствами, и вы оказываетесь в невозможности дать объяснение этому «Я». Доктрина ощущений стара: некоторые северные философы, никогда не понимавшие её сути, дискредитировали её в ваших глазах, дабы воздвигнуть на её обломках здание теории сознания. Сознание — вещь новая лишь в том, что касается его научной роли. Оно ныне в моде; оно внушает вам чувство гордости, столь дорогое вашему сердцу, — чувство, которое внешние чувства похитили бы у вас, разрушив иллюзии вашего внутреннего самоощущения. Всё это предопределяет ваш выбор, и вы решаетесь заявить: *«Поскольку наше сознание противится мысли о своей зависимости от мозга; поскольку чувства, кои, казалось бы, подтверждают обратное, не в силах дать тому объяснения, мы заключаем, что подобное невозможно и что сознание первично по отношению к мозгу».*

О, вы отрицаете сам факт лишь потому, что не можете его объяснить! Задумайтесь на мгновение, куда может завести вас подобный путь. Мне нет нужды подробно останавливаться на последствиях, которые неизбежно из этого воспоследуют.

Я же предлагаю иной ход рассуждений. Доказав, что процесс наблюдения осуществляется посредством мозга, находящегося в тесной связи с различными видами чувств, и признав, что единственное затруднение состоит лишь в вопросе о том, как именно это возможно, я свожу ваше возражение к этой самой возможности и утверждаю следующее: если бы мы не обладали способностью наблюдать за собой, мы бы и не стремились к самонаблюдению. Это утверждение выражает очевидную истину, в равной мере применимую к акту наблюдения в том виде, в каком его являют нам чувства. Суть её такова: если бы способность наблюдать за окружающими и за самими собой не сформировалась в нас благодаря развитию нашего мозга и упражнению наших чувств, мы не стремились бы наблюдать за собой и за иными телами в природе; что, в конечном счете, сводится к утверждению: *мы наблюдаем потому, что способны наблюдать.*

Вы видите, что ваше возражение, по существу, таковым не является. Но поскольку речь здесь идет лишь о невозможности объяснить «почему», — то есть саму способность к наблюдению, заложенную в нервном веществе головного мозга, — из всего вышесказанного следует и иное. Когда вы тешите себя мыслью, будто анатом, физиолог или натуралист делают вам уступку, признавая факты, которые чувства не могут им объяснить, это равносильно утверждению, будто они согласны с вами лишь в одном: они знают не более вашего, как и почему человек чувствует, мыслит и желает. Однако же в ответ на это вы смотрите на них с некоторой

жалостью и добавляете: «Мы вас научим. Это происходит оттого, что для осуществления сих феноменов человек обладает чем-то, что отлично от его нервного вещества, от вещества всех животных и от всего, что может воздействовать на наши чувства в этой вселенной; чем-то, одним словом, о чем никто не может составить иного представления, кроме того, что оно не имеет ни малейшего сходства с вещами, о которых вообще можно составить представление».

Итак, преодолев немало препятствий, мы подходим, наконец, к последнему вопросу. Психологи утверждают, что они способны к восприятию, обладают идеями и волей именно потому, что наделены для всего этого тем, чего лишены животные — хотя последние, подобно им, также воспринимают, имеют идеи и волю. Данное утверждение равносильно тезису, будто их восприятие, их идеи и воля по самой своей природе иные, нежели у животных. Мы наблюдали память и волю у собаки, волка, лисицы, кошки и видели, как они действуют вопреки текущим чувственным впечатлениям; это неизбежно предполагает наличие внутреннего восприятия или сознания. С другой стороны, мы видели человека в том возрасте или в таком состоянии несовершенной организации, когда он не обладает подобной степенью восприятия и воли, и когда, следовательно, его идеи не столь отчетливы и не являются «идеями» в той же полной мере, что идеи упомянутых животных. И коль скоро психологи отказываются объяснять эти различия состоянием нервной материи у различных живых существ, то пусть они скажут нам: чем же тогда они обусловлены? Не кроется ли здесь явное противоречие — приписывать одни и те же феномены у животного нервной субстанции, а у человека — чему-то иному, нежели нервная субстанция; соглашаться с тем, что она служит первопричиной у одних, и в то же время утверждать, будто у других она — лишь второстепенное орудие? Будем искренни: какие основания могут быть у психологов, чтобы наделять человека неким дополнительным началом, коего лишены животные?

Единственным доводом здесь может служить лишь то, что человек обладает более широкими интеллектуальными способностями; однако же достаточно доказано, что органы, их осуществляющие, идентичны — просто у человека они выполняют больший объем функций. Превосходно; но в тех случаях, когда животное обнаруживает их в большей мере, чем человек — что мы и наблюдаем, сравнивая взрослую собаку с новорожденным младенцем, — где тогда искать доказательство существования этого начала, чуждого нервной материи? Пусть психологи выпутываются как знают; это начало необходимо где-то поместить, но они не могут ни представить его находящимся «в пути», ни сокрыть в мозговом веществе, оставив там в бездействии (как они обычно и поступают), не прибегая при этом к беспочвенным гипотезам.

Физиологи же, напротив, вовсе не строят предположений, когда исходят из твердо установленных фактов: ощущение, мысль и воля развиваются вместе с мозговым веществом, ослабевают или усиливаются в зависимости от деятельности этого вещества и исчезают навсегда вместе с ним. Одним словом, они связаны с этой

субстанцией так же, как следствие связано со своей причиной во всех тех случаях, когда представляется возможным наблюдать животное, наделенное нервным аппаратом, они заключают из этого, что сии способности суть результаты деятельности этого вещества.

Справедливо, что физиологи черпали факты, на которых основывают свои рассуждения, из свидетельств собственных чувств; однако они, по крайней мере, не делали из них выводов натянутых и противоречивых. В то же время психологи, также почерпнувшие свои возражения в чувственных восприятиях (как я уже с избытком доказал), вывели из них умозаключения, кои отнюдь не вытекают из оных, если следовать правилам здоровой логики. Это и надлежит им окончательно доказать. С сей целью я обобщу их доводы — именно те, посредством коих они пытаются утвердить, будто приписывать мысль нервному аппарату есть гипотеза куда менее вероятная, нежели допущение некоего начала, отличного от того, которое производит то же явление у животных.

1-е возражение. Приписывать органическому аппарату способность порождать мысль и т. д. — значит приписывать ему то, чего мы в нем не обнаруживаем. Мы отчетливо видим зависимость между аппаратом и феноменами, но так как результаты действия аппарата были бы теми же и в предположении, что он является лишь инструментом, нет никаких причин предпочитать одну гипотезу другой.

Ответ. (а) Мы совершенно отчетливо обнаруживаем в аппарате способность производить мысль и т. д.; мы не обнаруживаем лишь способа, коим он её производит (Это положение было доказано выше). (б) Зависимость между аппаратом и феноменами не может быть объяснена гипотезой о разумной причине не-нервной природы, поскольку прообраз такой причины нигде не существует и невозможно допустить, чтобы то, что не является телом, могло оказывать воздействие на то, что является телом; ибо отрицательное никогда не может воздействовать на положительное.

2-е возражение. Наблюдение обнаруживает в нем лишь материальные частицы, упорядоченные определенным образом. Но так как каждая молекула в отдельности не может производить эти феномены, то и сами физиологи не понимают, каким образом их совокупность могла бы их производить; следовательно, они лишь предполагают это. Таким образом, слово «орган» объясняет не больше, чем любое другое слово, звучащее совершенно иначе.

Ответ. Было доказано, что нервное вещество в определенном состоянии производит своим действием все интеллектуальные явления как у животных, так и у человека: именно в этом заключается суть вопроса, а не в том, чтобы знать «почему» или «как»; гипотеза возникла бы тотчас, как только был бы поставлен вопрос о «как»; физиологи его не ставят; лишь одни психологи измышляют на этот счет.

3-е возражение. В машинах мы видим примеры органов, приводимых в действие неким разумом. Мы не находим ничего эквивалентного в предположении об органах как первоначалах интеллектуальных способностей. Следовательно, если выбирать между двумя гипотезами, первая предпочтительнее второй.

Ответ. Между неодушевленной машиной и мозговым аппаратом, который представляет собой живую материю, нет никакого сходства: более того, разум, который нам демонстрируют в машине, есть не что иное, как мозговой аппарат самого человека; и предполагать наличие одного мозгового органа внутри другого было бы абсурдом, который ничего не проясняет.

4-е возражение. Поскольку нервы, органы чувств и мышцы, будучи необходимыми для ощущения и действия, являются тем не менее лишь их инструментами — так как они не могут функционировать без помощи мозга, — нетрудно понять, что мозг, в свою очередь, находится в том же положении, что органы чувств и мышцы, по отношению к некоему высшему началу, для которого он служил бы лишь инструментом.

Ответ. Между этими двумя членами сравнения нет никакого тождества. Наши чувства доказывают нам, что нервы и мышцы способны к действию без посредничества мозга, но это действие может быть упорядочено лишь мозгом — так, чтобы в результате возникали движения, внушающие нам идею о некоем «побуждающем разуме». Однако ни одно чувство не доказало представителям психологической школы, что мозг является инструментом какого-либо иного агента, кроме всей совокупности нервного аппарата, с которым он сообщается. И мозг, и нервы последовательно выступают то как действующее, то как воспринимающее начало (*agens et patiens*); в этом кругу нет ни начала, ни конца. Что же касается мышц, то в функциональном ансамбле они могут быть лишь инструментами мозга и нервов для совершения определенных актов, которые сам нервный аппарат выполнить не приспособлен, хотя, впрочем, их собственная ткань иногда сокращается и под иными влияниями.

5-е возражение. Разрушая определенные части мозга в ходе опытов над живыми животными, мы тем самым уничтожаем и определенные действия; болезни точно так же анализируют человеческие способности, упраздняя их одну за другой; однако ни один эксперимент, ни один недуг так и не уничтожили волю. По мнению некоторых психологов, это происходит оттого, что волевое начало существует отдельно от мозга; ведь если бы сам орган являлся этим началом, то, повреждая орган, мы неизбежно подавляли бы и волевую способность. Было бы в высшей степени странно, если бы ни одна болезнь и ни одно хирургическое вмешательство не привели к подобному результату.

Ответ. Для ответа достаточно восстановить истинное положение фактов. Неверно утверждение, будто эксперименты не способны уничтожить волю. Ее можно приостановить и вновь вызвать к жизни по собственному желанию,

просто сжимая мозг. Столь же неверно и то, что никакая болезнь не может упразднить волю: любое сильное полнокровие мозга подавляет её в первую очередь, а всякое затяжное воспаление того же органа — окончательно её уничтожает; при этом жизнь может сохраняться еще долгое время после подобной утраты. К тому же воля отсутствует у эмбриона, который, несомненно, наделен той же природой, что и человек.

Что же остается после всего этого от тех насмешек, которыми психологи пытались уязвить так называемую гипотезу физиологов? Поскольку любое знание может основываться исключительно на рассуждении, опирающемся на свидетельства органов чувств, и поскольку доказано, что нервный аппарат, состоящий из головного мозга и нервов, распределенных по различным частям тела, является первоначалом всех явлений инстинкта, чувствительности, восприятия, воли — словом, интеллекта; и поскольку невозможно навязать этому аппарату некое чуждое ему начало, не перенося при этом мысленно внутрь мозга образы материального мира, представление о которых могли дать лишь чувства, — то все притязания психологов рушатся сами собой.

Вопрос о механизме («как») или о первопричине остается для них столь же непостижимым, как и для физиологов. Однако это неведомое не служит препятствием для изысканий, предметом которых являются явления чувственного мира. Оно не наносит ущерба ни физиологам, ни моралистам, ни публицистам, ни законодателям. Что же касается метафизиков и психологов, то здесь дело обстоит иначе. Они не способны создать науку на базе явлений сознания, независимых от влияния чувств, ибо подобные явления сводятся к одному-единственному факту, который достаточно лишь констатировать: чувствовать, что чувствуешь. Если они пожелают ограничить свои притязания изучением связей, объединяющих людей между собой, то они перейдут в разряд моралистов и публицистов; но если они притязают на то, чтобы рассуждать о происхождении интеллектуальных способностей, тогда им надлежит изучать анатомию, физиологию и даже патологию — и не по книгам, а у самой постели больного. Это последнее наблюдение даст им больше знаний, чем все трактаты по идеологии.

Все их попытки высвободиться из области этих наук окажутся тщетными, ибо они недостаточно знакомы с фактами, относящимися к данному вопросу, чтобы иметь право его разбирать. Сознание было их последним убежищем; впредь они будут лишены и его. Фактам, картину которых мы только что представили, они смогут противопоставить лишь софизмы и пустые разглагольствования. Однако я полагаю, что они обладают достаточным благоразумием и хладнокровием, дабы не избирать подобное оружие.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

О современных рационалистах и теологах.

До сих пор я говорил лишь о тех психологах, которые принимают во внимание свидетельства своих чувств и гордятся строгостью своих рассуждений; однако существуют и такие, кто вовсе не считается с показаниями своих органов чувств. Они исходят непосредственно из собственного сознания, дабы достичь разума; и как только последний обретен, он становится оракулом всей философии. Именно во имя разума они выдвигают свои доводы, дабы лишить нервную систему её естественных функций. Я далек от притязаний на честь убедить их путем рассуждений, хотя они и называют себя истолкователями разума; ибо что могу я сказать людям, исповедующим следующее учение: *«Разум есть то, что приводит человека в соприкосновение с абсолютом; это эманация Бога, который есть не что иное, как этот абсолют, или же эманация самого абсолюта, коим является Бог. «Я» способно чувствовать, желать и постигать; оно утверждает себя собственной волей и через органы чувств пребывает в связи с миром видимым, феноменальным, а через разум – с миром невидимым, рациональным, субстанциональным».*

Они, подобно своим предшественникам, вполне признают нечувственную природу «Я», или феномена сознания («я чувствую, что чувствую»), однако их главный аргумент, призванный навязать нервной системе некое главенствующее начало, почерпнут из их собственных авторитарных и бездоказательных утверждений о разуме.

«Разум, – говорят они, – дает то, чего не может предоставить опыт: например, принципы, законы вещей и людей и, наконец, закон верховный. И в самом деле, законы, будучи необходимыми и всеобщими, не могут быть выведены из того, что является случайным и личным; разум, провозглашающий эти законы, не может быть ни случайным, ни личным. Эти законы абсолютны; следовательно, и он абсолютен: а потому он не пребывает ни в пространстве, ни во времени. Он является человеку как индивиду, неизменно сохраняя свою безличность. Бог есть закон абсолютный, субстанциальный; человек возносится к Нему посредством разума, но познает Его лишь несовершенно, ибо сам человек ограничен в пространстве и времени».

Я вел полемику с психологами в собственном смысле этого слова, поскольку они заявляют о приверженности строгому образу мыслей. Но как спорить с рационалистами, которые не только не дорожат строгостью выводов, но и не страшатся выдвигать таинственные и непостижимые утверждения – к примеру, заявляя, будто разум, оставаясь безличным, является отдельному человеку? Рационалисты рассуждают о человеке так, словно сами они наделены природой более возвышенной, нежели человеческая. Я не стану требовать от них определений используемых ими слов; они не снисходят до грамматики. Этому инструменту они

придают не больше значения — пускай и пользуются им, пытаюсь что-то доказать, — чем нервной материи, с помощью которой они приводят его в действие. Они устремляются в свободном полете в идеальный мир, откуда с жалостью взирают на происходящее в мире земном.

Тем не менее, не вступая с ними в прямую полемику, я позволю себе несколько размышлений об их языке. *Разум есть эманация Бога* — своего рода метафора, уподобляющая Бога небесному светилу или источнику воды, а разум — лучам света, потоку или чему-то еще более тонкому, что из Него исходит, то есть истекает. Прежде чем я смогу допустить, что разум является тем или иным из этих явлений, мне необходимо узнать, каким образом они в этом удостоверились. От них же я узнаю, что сие им ведомо благодаря их сознанию — этому подобию Януса, который одним своим ликом созерцает и слушает разум, вещающий от имени абсолюта, а другим — вступает посредством чувств в связь с миром феноменальным. И тогда я спрашиваю себя: не является ли уничижением Бога превращение Его в некое тело, способное производить материальные эманации? И не есть ли плод воображения сам разум, если рассматривать его как текучую субстанцию, которая без ушей внимает и без уст вещает сознанию, не имеющему никакого органа слуха?

Допустим, однако, что сознание, чьих ушей мне так и не показали, все же услышало всё это из уст разума, которого никто ещё не видел: кому оно это поведало до того, как заговорил рационалист? Самому себе, без сомнения, — если только там не обретается ещё одно существо, наделённое способностью слышать.

Как бы то ни было, внутреннее существо, познавшее все эти чудеса, пользуется голосовыми органами, чтобы донести их до слуха непосвящённых, дабы те передали их своим собственным сознаниям. Я говорю «сознаниям», ибо у каждого оно своё; не существует единого и уникального сознания для всех людей. Это вновь возвращает нас к трудностям, указанным выше: почему у плода нет сознания? Если оно у него есть, то почему оно не слышит? Если слышит, почему не говорит? Если оно отсутствует, то где оно? Если существует некая сущность «сознание», общая для всех людей, почему она ничего не говорит эмбрионам, поражённым апоплексией или задыхающимся?

Добавим ещё один вопрос — но лишь для самих себя, не обращаясь к рационалистам: почему сознание, дабы поведать об этих тайнах, вынуждено прибегать к словам, обозначающим свойства тел? Мне же представляется, что это происходит оттого, что рационалисты, подобно нам, вынуждены прибегать к вещам, познанным через органы чувств, дабы передать другим свои мысли; это напоминает мне о том, что в нашем распоряжении имеются лишь свойства, заимствованные у физических тел, чтобы характеризовать абстрактные имена существительные. Разве разум не находится в таком же положении? Разве не говорим мы: разум добрый, дурной, прекрасный, великий, справедливый и так далее? Само время разве не определяется выражениями, закрепленными за определенными измерениями тел?

И можем ли мы вообразить себе день или час, не привнося в это понятие материальную идею пространства? Как же возможно, что с тех пор, как люди начали говорить, они так и не смогли изобрести для абстрактных существительных ни одного прилагательного, которое не представляло бы собой одно из качеств, обнаруженных чувствами в материальных объектах?

Зададимся же теперь вопросом: что всё это означает? Это означает, что мы до такой степени являемся рабами наших чувств, что вынуждены сравнивать абстрактные понятия с телами, которые чувства дали нам познать; и эта необходимость проистекает из того, что сии мнимые существительные суть не что иное, как знаки, с помощью которых мы вызываем в памяти то, каким образом мы, в качестве воспринимающих существ, претерпели изменения в заданных обстоятельствах. Поскольку на наши чувства, а следовательно, и на наш мозг всегда воздействуют некие тела, мы можем характеризовать эти изменения лишь с помощью знаков, которые напоминают либо о самих этих телах, либо о впечатлении, полученном от них. Более того, само это впечатление описывается определениями, присущими физическим телам. Именно поэтому мы говорим: живая радость, великое изумление и тому подобное. Произнеси человек слово «добродетель» — и нам поначалу не придет в голову, что он рассматривает этот предмет как некое тело. Но стоит принудить его добавить к этому слову прилагательное, как он найдет его лишь среди качеств, присущих телам, или в состояниях своего собственного тела. И тогда добродетель неизменно окажется — по подобию тел — большой или малой, мягкой или суровой, дикой или прирученной, и так далее.

Существует лишь одно прилагательное — «божественный», которое не вызывает ассоциаций с телом. Однако, если человек пожелает дать определение самому Богу, он будет вынужден умалить Его: он не сможет удержаться от использования прилагательных, предназначенных для описания материальных тел. И даже те эпитеты, которыми Его наделяют с величайшим благоговением, суть те же самые, что подходят и самому человеку — такому, каков он есть на самом деле или каким он желает себя представить, безмерно и умозрительно преумножая свои самые выдающиеся качества, именуя Его бесконечно благим, великим, всезнающим, прозорливым и так далее. Можно также наделять Бога эпитетами «вечный», «всеобщий», «неизменный», «необъятный» и им подобными; однако это не может служить возражением, ибо вечность есть лишь идея длительности, воспринятая чувствами, а необъятность — лишь идея протяженности. Сколько бы человек ни размышлял над этими двумя понятиями, сопряженными с отрицанием, которое, казалось бы, их характеризует (хотя на деле оно является лишь допущением, подобным тем, что мы строим по многим другим вопросам), он никогда не сможет вообразить ничего, кроме материальных тел.

Однако при долгом раздумье над всеми отвлеченными идеями, направленными на определение первопричин, человек неизбежно испытывает особое беспокойство: именно это ощущение он тщится выразить, но оно столь же непередаваемо, как и

ощущения при определенных болезненных состояниях. Именно это ощущение — и в этом следует, наконец, признаться — внушает человеку мысль, будто он обладает представлением о чем-то большем, нежели чувственно воспринимаемые объекты. Наблюдая за собой, ощущая само свое чувствование, он улавливает это состояние; оттого он и смешивает его с собственным сознанием, полагая их неразрывными. Однако, повторим еще раз, это ощущение, которое к тому же варьируется в зависимости от индивида, вовсе ничего не доказывает, равно как и ощущения ипохондриков; оно может казаться неким вдохновением и определять убеждения многих людей; однако для других, изучивших физиологию и патологию, это будет лишь раздражением нервной системы. Не каждому знакомо это ощущение, и, хотя оно весьма развито у многих, оно может рассеяться благодаря изучению и наблюдению природы, если только не поддерживается болезненным состоянием. Впрочем, отнесемся к нему с уважением, коль скоро оно служит мотивом для убежденности или веры, и вернемся к рассуждению, исследуя следствия того образного языка, примеры которого я только что привел.

Поскольку рационалисты заставляют разум действовать подобно некоему телу, попробуем и мы рассмотреть его в таком качестве. Однако, избрав этот путь, мы вправе изумиться тому, что они принуждают его к действиям, совершать которые не свойственно телам, чьими атрибутами они его наделяют; или тому, что они последовательно, по воле своего каприза, приписывают ему свойства иных тел, с которыми прежде его не уподобляли; или тому, наконец, что, обойдясь с ним как с телом, они в итоге заявляют нам, будто он вовсе не является таковым и не имеет с телами ничего общего.

Следовательно, мы не можем помыслить некое «Я», которое по природе своей нечувствительно, но при этом чувствует и утверждает себя, что неизбежно подразумевает наличие нервов и двигательного аппарата. Нам не дано вообразить разум, диктующий законы вещам и людям (идея, заимствованная у образа законодателя), но не черпающий их из опыта, как это делают подлинные законодатели; или «Я», полагающее себя по собственной воле, — что подразумевает, будто оно могло бы пожелать и не полагать себя, ибо если оно не обладает равной свободой поступить и так, и иначе, то оно не может обладать и волей. Невозможно представить волю — понятие, которое мы составили, лишь действуя самостоятельно или наблюдая за действиями человека, — перенесенную на нечто, что не является человеком и даже не является частью человека (поскольку это не нервная материя), но что, вопреки всему, признается отличительной чертой человеческого существа. Столь же непостижим и разум, который не является ни случайным, ни личным, хотя и является каждой человеческой личности (за исключением, впрочем, тех, кому не было даровано подобное «видение»), и так далее, и тому подобное.

Читая всё это, я не мог бы воспринимать такие речи буквально, если только не предположить, что люди, изъясняющиеся подобным образом, лишились рассудка; однако я знаю, что это не так. Это убеждает меня в том, что они и сами прекрасно

чувствуют: вещи, о которых они говорят, не обладают теми материальными свойствами, коими они их наделяют. Я нахожусь в крайне затруднительном положении, пытаюсь объяснить, каким образом люди, на вид совершенно здравомыслящие и рассуждающие верно обо всём, что чуждо их учению, способны принимать — и только лишь для него одного — язык, каждое выражение которого ложно. Эта ложность принимает столь бесконечно разнообразные формы, что, на мой взгляд, она не может иметь предела.

Без сомнения, я так и не нашел бы выхода из этого тупика — подобно всем тем ученым, что с неким оцепенением внимают невнятным речам приверженцев чистого разума, — если бы мне на помощь не пришло физиологическое наблюдение. Я вопрошаю его, и это бесценное наблюдение избавляет меня от тяжкого бремени, открывая, что те вещи, которые рационалисты тщетно пытаются передать и которые не поддаются их описаниям, суть внутренние ощущения. Отныне всё объяснено, и я ясно вижу, почему всякий раз, когда я пытаюсь вести с ними спор, им кажется, будто я их не понимаю. Совершенно очевидно: причина в том, что, не обладая тем же внутренним ощущением, я не могу придать их словам тот же смысл, какой придают они. Я воспринимаю эти слова буквально, ибо моё сознание являет мне лишь те образы, которые эти слова должны описывать согласно общепринятым человеческим условностям; они же наделяют их иным смыслом, ибо желают сделать их выразителями неких внутренних ощущений, которых я не испытываю. До тех пор, пока мы будем находиться в столь различных положениях, нам никогда не удастся достичь взаимопонимания.

Впрочем, стоит ли этому удивляться, если даже между собой эти люди не могут прийти к согласию? Да и как бы они могли, если каждый из них втайне признаёт про себя, что используемые ими слова не способны служить верным отражением того, что они хотят представить! Они доходят до того, что с жалостью пожимают плечами, если кто-то воспринимает их выражения буквально. Стоит внутренним ощущениям последователей хоть немного отличиться от ощущений того красноречивого рационалиста, что их наставил, как возникают разногласия, порождающие бесконечные секты и подсекты; ибо в конечном счёте в подобных дискуссиях никто не находит, что собеседник верно передал то, что он сам тщетно пытается выразить.

Таковы неудобства слов, употребляемых для передачи вещей, которые не имеют и не могут иметь выражения в языке; и именно по этой причине я не желаю вступать в споры с людьми, в чьих устах слова лишены своего истинного значения — то есть не представляют тех понятий, для выражения которых они были созданы. Мне известно, что с помощью риторических фигур словам придают смысл, отличный от их первоначального значения, и зачастую делают это весьма успешно; однако, по моему убеждению, следует различать два рода метафор. Первый род основывается на сходствах, признанных всеми; намек, который такая метафора предлагает уму, воспринимается с легкостью и вызывает тем большее восхищение, чем более значимых интересов он касается. Второй род метафоры зиждется на сходствах

туманных и произвольных, которые уловимы лишь теми, кто приучен искажать первоначальный смысл слов. Подобные фигуры — а именно таков язык рационалистов — производят впечатление лишь на адептов; притом производимое ими действие столь разнообразно, что красноречие одного профессора в их глазах никогда не походит на красноречие другого, и все они в равной степени ничтожны для людей, посвятивших себя строгим научным занятиям.

Подведем итог: поскольку именно на откровении сознания зиждется вся теория рационалистов, мы можем судить о ней на основании уже приведенных фактов и тех выводов, что были сделаны нами при рассмотрении сознания в понимании психологов.

Иного мы не можем сказать о теологах — иллюминатах или мистиках, — кои видят всё в Боге, к Которому они возвышаются, стремясь отрешиться от всего, что связано с собственным «я» и с разумом. Ничто из мирского не кажется им удовлетворительным, ибо всё это не есть Бог. Для них высшее благо пребывает вне этой жизни, в лоне Божества. Сии люди не стремятся доказать свою веру; они лишь советуют уповать на благодать, коя неизменно ниспосылается тому, кто настойчиво и искренне её жаждет. Превыше всего они желают, дабы человек воздерживался от попыток объяснить всё разумом, но принимал бы всё на веру, не беспокоясь о том, одобряет разум или порицает; ибо начало, вдохновляющее сии верования, бесконечно превосходит разум, принадлежащий всецело миру сему или, по меньшей мере, разделяющий несовершенства того мира, в коем он себя проявляет.

Я изложил суть их учения, дабы можно было убедиться: сколь бы ни соприкасалось оно в некоторых точках с теорией рационалистов, оно не имеет ровно ничего общего с нашей доктриной. В самом деле, нечего возразить людям, которые не желают ни объяснять, ни доказывать что-либо. Мои слова были обращены лишь к тем, кто притязает на использование неких объяснений, дабы оспорить функции нервной системы. Однако это последнее учение являет собой религию, а любые религии должны быть предметом нашего почтения — равно как и догматы, служащие им общим основанием: бытие Божие и бессмертие души. Если человек придерживается этих догматов, основываясь на внешнем ли откровении или на внутреннем вдохновении, и при этом не претендует на доказательства, вовлекающие в дело нервный аппарат, — физиологии здесь делать нечего. Ей нечего возразить против «внутреннего чувства», этой матери веры, на которой зиждутся любые убеждения, не допускающие материальных доказательств.

Физиолог лишь констатирует наличие подобных ощущений, дабы отделить их от всего прочего; и когда поборники веры выдают себя за идеологов, он должен — отвечая им — отложить вопросы верования в сторону и рассматривать исключительно те рассуждения, что относятся к предмету его науки. Доводы против абстракций, стремящихся умалить значение функций нервной системы, не могут заключать в себе ни презрения, ни даже сомнения в отношении религиозных

убеждений, поскольку у некоторых людей они вполне совместимы с тем внутренним чувством, которое и порождает сии убеждения. До тех пор, пока физиолог относится к верованиям с должным почтением, ему должно быть дозволено приводить любые доводы, способные послужить защите его дела.

Глава шестая:

Развитие связей, существующих между нервным аппаратом и явлениями инстинктивными и интеллектуальными.

Мы могли бы без труда и, прежде всего, без какой-либо гипотетической системы свести все отвлеченные понятия к функциональным явлениям, доказав, что они суть не что иное, как знаки, представляющие изменения в феномене восприятия, кои каждый наблюдатель замечает в самом себе. Эти изменения порой и в различной степени сочетаются с чувствами удовольствия или боли, то есть с явлениями чувствительности; для наших органов чувств они могут быть лишь изменениями в нервной системе. Более того, об этих переменах мы не имели бы ни малейшего представления без помощи наших чувств, ибо в таком случае мы не обладали бы даже идеей собственного сознания, что уже было нами доказано со всей полнотой. Однако нам не подобает рассматривать здесь сей вопрос во всей его широте. Мы лишь изложим в данном труде средства для достижения того решения, которое мы считаем возможным; мы имеем в виду верное изложение феноменов иннервации, которые служат основой всех наших интеллектуальных операций. Читатель сможет судить, в какой мере мы приблизимся или отдалимся от взглядов Локка, прославленного Кабаниса и ученого Дестюта де Траси, его ученика, коего следовало бы изучать, усваивать и перечитывать вновь, прежде чем приступать к рассуждениям об интеллектуальных способностях.

Этот философ не позволил себе поддаться соблазну аргументов психологической школы; однако сколь прискорбно, что он не имел возможности лично наблюдать человека физического в различных аномалиях патологического состояния и изучать в анатомических театрах связь органов с феноменами разума и инстинкта! Чтобы рассмотреть эти вопросы в должном порядке, в настоящей главе мы последовательно изучим: (1) Каким образом мозговое восприятие снабжает нас материалом для всех наших инстинктивных и интеллектуальных операций; (2) Каким образом эмоции чувствительности становятся побудительными мотивами любых наших действий; (3) Каким способом наблюдение, рождающееся из мозгового восприятия, развивает наши интеллектуальные способности, и в чем именно они заключаются; (4) Каким образом воля и свобода соотносятся с этим же самым восприятием; (5) Каким образом интеллектуальные восприятия соединяются с инстинктивными эмоциями и что именно составляет суть страстей; (6) В чем заключается причина заблуждения психологов относительно принципов человеческой деятельности.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О том, как мозговое восприятие поставляет материал для всех наших инстинктивных и интеллектуальных операций.

Головной мозг, рассматриваемый у человека в период его полного развития и при обладании всеми его способностями, находится между двумя потоками раздражений: теми, что исходят от внешних нервов, и теми, что идут от нервов внутренних — последним Кабанис первым отвел место в идеологии под названием «впечатлений, исходящих от органов». Раздражения, получаемые мозгом из этих двух источников, всегда либо сопровождаются явлениями сознания, либо протекают без них. Ранее мы доказали, что этот второй режим является первичным в порядке индивидуального развития. Мы также продемонстрировали, что явления сознания после своего развития неизбежно должны претерпевать перерывы, дабы предотвратить чрезмерное возбуждение органов, от которых они зависят; в настоящий момент мне надлежит сосредоточить внимание исключительно на церебральной стимуляции, сопровождаемой феноменами сознания.

Церебральная стимуляция при участии сознания подразумевает, как уже было сказано, восприятие объекта, действовавшего на внешние органы чувств, а также восприятие самого себя как субъекта, воспринимающего этот объект. Последним, как известно, может выступать и часть нашего собственного тела, способная воздействовать на одно из наших внешних чувств.

Принято относить подобные восприятия к области чувствительности, что тотчас же вызывает ассоциации с идеями удовольствия и боли. Однако эти ощущения не всегда обнаруживаются в упомянутых феноменах, что дает повод для возражений. Сами по себе эти возражения не имеют веса, поскольку эпитет «чувствительный» применим к любому явлению иннервации, которое сопровождается сознанием. Тем не менее, во избежание всякой двусмысленности, я разделю их, как уже делал ранее, на: (1) Явления иннервации без участия сознания; (2) Явления иннервации с участием сознания. Последние, в свою очередь, естественным образом подразделяются на: (а) простое восприятие, инстинктивное или интеллектуальное; (б) восприятие, сопровождаемое приятной или неприятной эмоцией для чувствующего существа. При этом я буду относить данные виды восприятия не к неким особым обособленным свойствам, присущим нервному волокну, и не как к неким чужеродным телам заключенным внутри него, но как к различным способам возбуждения головного мозга. Эти явления, таким образом, оказываются продолжением первичного состояния возбуждения — того самого, при котором невозможно наблюдать ни восприятия самого себя, ни восприятия внешнего объекта, ни удовольствия, ни боли; такова нервная деятельность у зародыша и у человека в состоянии асфиксии.

Сознательное восприятие, которое неизменно и всегда имеет двойственный объект, проявляется, как мы уже говорили, при двух обстоятельствах: (1) В простом виде, то есть без ощущения удовольствия или боли; (2) В сочетании с тем или иным из этих чувств... Мы скоро увидим, какие следствия из этого вытекают; однако, прежде чем идти дальше, поспешим предупредить возражение, которое могло бы возникнуть вследствие неверного понимания сказанного выше. Из того факта, что всякое восприятие необходимо имеет двойственный объект, был сделан вывод о необходимости некоего единого активного начала для восприятия и того, и другого; именно это начало стали обособлять от нервного вещества, утверждая, что оно может быть лишь некоей простой сущностью. Я же напоминаю, что это начало есть не более чем предположение — плод индукции, основанной на обыденных представлениях о причинности, призванный объяснить само *quomodo* (образ действия) восприятия. Стоит лишь отказаться от поисков этого *quomodo*, который, впрочем, не может не быть одинаковым у всех существ, наделенных мозгом. Надлежит оставить его в области неведомого, наряду со всеми прочими первопричинами или, если угодно, единой вселенской первопричиной, — и тогда сие возражение утратит всякую силу. Впрочем, иного и не дано, поскольку для подобного объяснения мы можем лишь строить предположения, опираясь на образы тел, доступных нашему чувственному наблюдению. Таким образом, представляется необходимым ограничиться лишь описанием феноменов, коими проявляет себя восприятие, не вводя в действие некий «воспринимающий принцип»: именно этот метод я и пытаюсь продемонстрировать в настоящий момент. Но вернусь к предмету моего рассуждения.

Восприятие самого себя, или феномен «я», всегда остается неизменным, хотя это «я» и может пребывать в состоянии наслаждения или страдания. Иначе обстоит дело с восприятием объекта, познаваемого через внешние чувства; оно становится тем более многообразным, чем дольше внимание остается сосредоточенным на данном предмете.

Объекты воспринимаются нашим разумом... Я имею в виду, что, когда мы воспринимаем их в том состоянии, которое именуем состоянием разумности, объекты постигаются: (1) Согласно атрибутам зрения, которое дает нам представления о цветах, формах, размерах и расстояниях; движения или покоя и так далее; (2) Сообразно свойствам слуха, дающего представления, которые в большей или меньшей степени соотносятся с предыдущими, ибо лишь идеи цвета принадлежат исключительно зрению; (3) Сообразно свойствам осязания, которое одно лишь позволяет нам воспринимать плотность и температуру тел, но которое в отношении размеров, форм и движения дает нам впечатления, более или менее близкие к впечатлениям от первых двух чувств; (4 и 5) Сообразно свойствам обоняния и вкуса.

Таковы материалы, которые наш разум черпает извне, — или же, выражаясь буквально, что точнее передаст мою мысль, таковы восприятия, доставляемые

внешними объектами и входящие в качестве элементов в феномены разума. Однако было бы глубоким заблуждением полагать, будто разум состоит лишь из этих восприятий и некоего активного начала, которое созерцает их, судит о них, комбинирует и различным образом оплодотворяет. Подобный взгляд представляет собой гипотетическую систему; это онтология, основанная — подобно тем, что мы уже опровергли — на допущении некоего начала, единственным прообразом которого послужил сам человек, наблюдаемый при помощи чувств. Но продолжим изложение фактов.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О том, как эмоции чувствительности становятся побудительными причинами всех наших действий.

Мы уже отмечали, что восприятия могут либо быть лишены чувства удовольствия или боли, либо сопровождаться одним из этих чувств. Рассмотрим их сначала в первом состоянии.

Наблюдая внешние объекты, человек остается неактивен, если не ощущает в самом себе никакого отклика; у него нет побудительного мотива, чтобы проявить ответную реакцию. Такое состояние встречается крайне редко. Тем не менее, его существование можно допустить, поскольку каждый сознает, что порой в нем оказывался. В большинстве же случаев человек при восприятии испытывает приятные или неприятные эмоции. Иногда они столь слабы, что их трудно отличить от самого восприятия объекта; в других случаях разница между ними поражает его с первого мгновения. Однако почти неизменно он связывает их — в силу причинно-следственной связи — с теми или иными предметами, воздействовавшими на его органы чувств.

Прошу обратить особое внимание на то, что я лишь фиксирую явления, не приписывая их исполнение некоей сущности под названием «первоначало». Хочу заранее предупредить: если бы я и воспользовался этим словом, то лишь как сокращенной формулой для рассуждения. Приятные или тягостные эмоции, сопутствующие нашему восприятию, неизменно проистекают из стимуляции нервного аппарата воспринимающего субъекта. Было бы глубоким заблуждением разделять их в буквальном смысле на «физические» и «нефизические»: формы их проявления бесконечно разнообразны, и многие из них ошибочно принимались за особые первоначала некой «нервной» природы — самопроизвольные двигатели наших поступков, именуемые «принципами действия» или «активными способностями». Однако, если опираться на факты, надлежит рассматривать эти эмоции как следствия восприятий, вызванных внешними или внутренними причинами и совершающихся в головном мозге. Именно в таком качестве они становятся побудительными мотивами человеческих действий. Таким образом, они

являются продолжением тех инстинктивных возбуждений, лишенных признаков разума, которые заставляют плод двигаться в материнской утробе, побуждают младенца совершать сосательные движения еще до того, как он ощутит сосок, и требовать криком предметы, необходимые для удовлетворения его первейших нужд. Иными словами: побудительные причины (или, если угодно, локомоторные движения) плода, новорожденного, человека в состоянии глубокого сна и так далее, суть не что иное, как стимуляции головного мозга, проистекающие из двух указанных источников, но без отчетливого восприятия или сознания. Побудительные мотивы взрослого человека, пребывающего в здравии и бодрствовании, суть те же самые стимулы, сопровождаемые то отчетливым восприятием или сознанием, то отсутствием оных. Различие здесь проистекает из самой природы совершаемых актов, из привычки, отвлечения внимания и прочих факторов. Именно это и станет очевидным из тех пояснений, к изложению которых я приступаю.

Когда человек ощущает ярко выраженную внутреннюю потребность в силу раздражений, передаваемых головному мозгу нервами внутренних органов, он рассматривает все внешние предметы сквозь призму этой потребности, ибо мозг по своей природе изначально предназначен для удовлетворения инстинктивных нужд. Все предметы, способные послужить утолению преобладающей потребности, вызывают глубокое волнение в том органе, от которого она исходит; и именно эти волнения побуждают человека совершать действия, необходимые для её удовлетворения. Это со всей определенностью доказывает, что мозг стимулирует нуждающийся орган в момент восприятия внешних объектов, способных удовлетворить потребность, и что этот орган, ставший более раздражимым вследствие подобного притока стимуляции, еще сильнее воздействует на мозг. Нет никаких сомнений в том, что всякое восприятие внешних предметов находит отклик во всех внутренних органах и что каждый из них отвечает на это раздражение. Однако, несомненно, что тот орган, который в силу нужды становится наиболее восприимчивым к раздражению, сильнее прочих воздействует на мозг при восприятии предметов, способных удовлетворить эту потребность. Подробные доказательства данных утверждений можно найти в нашем «Трактате по физиологии».

Человек неизменно подчиняется эмоциям, возникающим при восприятии тел, обладания которыми требует тот или иной внутренний орган, до тех пор, пока тому не препятствует какой-либо нравственный мотив. Таким образом, в раннем детстве — в пору, когда потребность в наблюдении еще не развита, — он всегда уступает им. Однако по мере взросления и благодаря тщательному воспитанию, развивающему способность к наблюдению, он становится менее зависим от своих первичных нужд, в чем мы убедимся при рассмотрении вопросов воли и свободы. Обратимся теперь к тому, как именно развивается в нем способность к наблюдению.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Каким образом наблюдение, рождаясь из мозгового восприятия, развивает наши интеллектуальные способности, и каковы эти способности.

Как только головной мозг перестает томиться восприятием инстинктивных потребностей, то есть, иными словами, как только человек удовлетворяет эти потребности, он обращается к наблюдению за внешними объектами, руководствуясь при этом иным родом эмоций, нежели те, что вызываются восприятием самих этих нужд. Точку соприкосновения между двумя данными разрядами чувств или эмоций уловить трудно, однако их крайние проявления разграничить весьма легко.

Инстинктивные эмоции — это те, что обеспечивают индивидуальное самосохранение, дыхание, утоление голода и жажды, потребность в движении, отдыхе и сне, нужду в отправлениях организма, а также потребность в продолжении рода и сохранении потомства. С удовлетворением этих потребностей неразрывно связано чувство живого удовольствия; печаль же и гнев возникают из препятствий, мешающих их удовлетворению. Все эти эмоции представляют собой возбуждение головного мозга и нервов, сопровождающееся восприятием более или менее ярких ощущений в главных внутренних органах: желудке, сердце, легких, половых органах и, в неопределенной степени, в поддиафрагмальных нервных сплетениях (см. цитируемое сочинение).

Эмоции, наименее связанные с инстинктами самосохранения и воспроизводства, порождаются воздействием на внешние органы чувств таких предметов, которые вовсе не предназначены для удовлетворения этого двойного инстинкта — выживания и продолжения рода, чьи действия подробно изложены в уже упомянутом труде. В те моменты, когда все первичные потребности человека удовлетворены, он предается наблюдению — либо в силу внутренней необходимости, либо из любопытства. Именно тогда он анализирует свои восприятия, сопоставляет их и воспринимает самого себя воспринимающим; этот акт, по сути своей необъяснимый, единственно и составляет все его интеллектуальные способности.

Именно в этом упражнении развиваются так называемые отвлеченные идеи и формируются знаки, посредством которых человек представляет себе объекты во всех возможных отношениях. Среди этих знаков одни служат для того, чтобы с удобством воссоздавать в памяти некоторые свойства тел, соответствующие внешним чувствам (например, определенные цвета, плотность и т. д.); то есть для того, чтобы привести себя в состояние возбуждения, близкое к тому, в котором он находился, когда воспринимал эти объекты теми же самыми чувствами. Другие воссоздают обстоятельства, при которых он наблюдал эти предметы: были ли они

неподвижны или изменчивы; воздействовали ли они приятно или тягостно на орган чувств, их воспринимавший, или на внутренние органы; удовлетворяют ли они нужды, исцеляют ли болезнь или же способны нанести вред самому существованию и так далее. Таким образом, существует великое множество подобных знаков, которые равносильны одной или даже нескольким фразам, и порой даже целому длинному рассуждению: таковы, например, слова восстановление, укрепление, благодеяние; а в медицине — жаропонижающие, антиспазматические и им подобные. Они олицетворяют собой сложные сцены общественной жизни или на мгновение возвращают человека в то эмоциональное состояние, в котором он находился, испытывая висцеральные стимулы боли, удовольствия, радости, гнева, надежды и так далее.

Именно чувствуя и наблюдая свои собственные восприятия, человек выносит суждения. Когда его суждения столь же стремительны, как и само восприятие, их называют интуитивными суждениями, или суждениями по интуиции — то есть суждениями, возникающими при первом же взгляде. Когда же он выносит суждение лишь после того, как с помощью памяти восстановил в сознании несколько интуитивных суждений, заключенных в формулах или знаках, замещающих собой другие суждения, их называют дедуктивными суждениями, или суждениями путем дедукции; именно это в просторечии именуется рассуждением. Но какое значение имеют названия? В конечном счете в этом процессе нельзя усмотреть иного феномена, кроме восприятия самого себя воспринимающим.

Если бы человек не обладал способностью воскрешать прошлые восприятия посредством восприятий нынешних, он был бы не в состоянии совершать все эти интеллектуальные операции; он уподобился бы идиоту: более того, человек не способен направить внимание на что бы то ни было, если текущее восприятие не обладает определенной длительностью. Таким образом, внимание в действительности есть первая ступень памяти. Сама эта способность зиждется на том, что называют связью идей; ибо текущее восприятие не могло бы вызвать в памяти то восприятие, внешняя причина которого более не существует, а то — третье, если бы нечто не связывало эти восприятия между собой. Наконец, воображение — это лишь память, воспроизводящая восприятия столь живо и обильно, что они образуют новые сочетания... Но объяснимся так, чтобы соотнести все образные выражения идеологов с физиологией нервной системы.

Я показал, что различные виды суждений сводятся к восприятию самого восприятия; так вот, любые акты памяти, сколь бы обширны они ни были и на что бы ни были направлены — на физические тела, их свойства, обстоятельства или эмоции, — они суть не что иное, как текущее восприятие восприятий, вызванных в уме или воспроизведенных. Следовательно, восприятие является единственным и исключительным феноменом разума. То, что нам известно о нем достоверно, состоит в следующем: (1) Оно происходит в головном мозге; (2) оно представляет собой возбуждение его субстанции. Я вовсе не хочу сказать, что оно является

следствием или результатом возбуждения этой субстанции; я утверждаю, что оно и есть само это возбуждение в одном из его модусов. Добавлю, что и идея не может быть чем-то иным. Болезни головного мозга доказывают это неопровержимым образом; они дают тот непосредственный опыт, который демонстрирует, что понятия «ощущение», «восприятие» и «идея» не могут означать для физиолога ничего иного, кроме нервной материи в определенных состояниях возбуждения. Эти болезни ставят упомянутые явления в один ряд с волей, о которой мне еще предстоит кое-что сказать.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Каким образом воля и свобода связаны с тем же самым восприятием.

Если ощущения, идеи, восприятия и воля изменяются сообразно возбуждению нервной материи головного мозга, то они неизбежно должны от него зависеть. Невозможно поставить их в зависимость от иного начала, не прибегая к помощи гипотезы, основанной на недопустимом сравнении; лишь сам механизм этой причинности остается для нас неизвестным.

Воля — это еще один из тех феноменов, на которые чаще всего ссылаются, стремясь подчинить головной мозг некой немозговой сущности. Перестанем же на мгновение олицетворять это явление, дабы изучить его с точки зрения физиолога. У эмбриона, как и у многих больных, воля разделяет участь всех прочих проявлений интеллекта — она попросту отсутствует; это первое данное, указывающее на то, что воля исходит от мозга. Она усиливается и ослабевает соразмерно возбуждению мозгового вещества — вот второе данное, связывающее её с образом действия этой субстанции. Воля, наравне с восприятиями и идеями, бывает стеснена, принуждена, подавлена, омрачена и искажена самым странным образом под влиянием импульсов, которые передаются в мозг от внутренних органов — в особенности органов пищеварения и размножения, возбужденных определенным образом; таково третье данное, подтверждающее два предыдущих. К этому можно добавить сведения из нашего «Трактата по физиологии». Таким образом, сам механизм этого процесса по-прежнему остается тайной.

Вопрос свободы неразрывно связан с вопросом воли; мы всё еще задаемся вопросом: свободны ли мы или же движимы чем-то, что властвует над нами?

Прежде всего необходимо определить, какой объем смысла мы желаем придать слову «свобода», ибо существуют свободы, которыми мы обладаем лишь при определенных условиях; к таковым относятся те, что связаны с действиями, совершаемыми при помощи дыхательной мускулатуры. Психолог мнит себя вольным говорить, однако он свободен лишь до тех пор, пока это позволяет ему

потребность в дыхании: если его настигнет приступ астмы или сильная тошнота, он более не в состоянии распорядиться голосовыми мышцами. Беременная женщина в течение девяти месяцев полагала, что вольна ходить по своему усмотрению; однако в родовых муках она осознает, что вынуждена задействовать мышцы, служащие для передвижения, дабы способствовать сокращениям матки. Человек, преследуемый неодолимой потребностью во сне, более не властен ни над способностью ходить, ни даже над способностью мыслить: члены его наливаются тяжестью, веки смыкаются вопреки его желанию. Он не в силах удерживать внимание на каком-либо предмете — мысль ускользает, идеи приходят в беспорядок, а тщетные усилия воли, направленные на сопротивление, порождают сонм призрачных видений, в окружении которых он засыпает, то есть окончательно утрачивает всякую способность к интеллектуальной деятельности. Как только в тканях наших внутренних органов возникает возбуждение, превышающее пределы нормы, мы начинаем утрачивать частицу нашей свободы; сама возможность распорядиться своими действиями оказывается у нас похищена, а следом мы утрачиваем и свободу наших мыслей; это наблюдается не только при интенсивных лихорадочных состояниях, но и при любых хронических флегмазиях органов, обильно снабженных нервами и оказывающих мощное стимулирующее воздействие на мозг: то же самое обнаруживается и при идиопатических раздражениях самого этого органа. Мозг не может справиться со всем сразу: когда внутренние органы терзают его, он теряет способность к мышлению, либо же получаемое им раздражение уводит мысли в специфическом направлении, которое до такой степени зависит от болезни, что усиливается, ослабевает и возвращается вместе с ней. На это ответят: *«Но это лишь исключения, ибо речь идет о болезнях»*. Здесь нет никакого исключения: болезни в данном случае суть не что иное, как видоизменения мыслящего органа, и наше понятие «свобода» приложимо лишь к определенным состояниям этого органа.

Но какое же представление должны мы иметь о нашей свободе, когда наш головной мозг не находится в состоянии перевозбуждения — ни симпатического, ни идиопатического?.. Этот вопрос весьма деликатен: мы действительно обладаем сознанием собственной свободы, однако это сознание ничего не доказывает; ибо и законченный безумец обладает им в то время, как им всецело владеет аномальное возбуждение. Факт остается фактом: у нас всегда есть мотив для действия, и что инстинктивные потребности самосохранения и продолжения рода зачастую вступают в борьбу за власть над нашими мыслями и поступками с тем внутренним импульсом, что склоняет нас к наблюдению. Слабость мозга, несовершенство развития тех его отделов, что ведают интеллектуальными операциями, а также рано усвоенная привычка либо безропотно подчиняться висцеральным порывам, либо противостоять им, руководствуясь разумом, — всё это без нашего ведома предопределяет наши поступки, даже когда мы убеждены, что пользуемся абсолютной свободой. Наши мыслительные привычки — кои сами зависят либо от строения мозга, либо от того преобладания в деятельности, которое случай заставил нас предоставить той или иной области сего органа или, если угодно, тому или

иному способу возбуждения его волокон, — суть истинные причины, детерминирующие наши действия, а следовательно, и помыслы. И вот, послушно исполняя веления закостенелой привычки, мы во всеуслышание заявляем, что наслаждаемся полнотой свободы. Временами человек пробуждается от подобного рода летаргии; он замечает всех этих тиранов, похищающих его свободу; он бунтует и решается оказать сопротивление тому из них, кто кажется ему наиболее властным. В такие мгновения он повинуетя либо некоему религиозному побуждению, либо импульсу самолюбия, например, тщеславному желанию заявить: «Я свободен». Столь же часто человек повинуетя потребности пользоваться собственным уважением и уважением себе подобных — потребности не менее властной, чем все остальные, но которая не может возобладать и стать определяющей в поведении людей, если головной мозг не развит и не упражняем определенным образом.

Часто мы противостоим одной инстинктивной потребности с помощью другой. Так, голод подавляется любовью или нежностью к детям; страх смерти побеждается этим инстинктом или самолюбием; самолюбие, в свою очередь, уступает иной страсти и так далее. Во всех этих случаях борьба происходит в головном мозгу, и с физиологической точки зрения она представляет собой не что иное, как возбуждение, принимающее различные формы.

Именно так надлежит трактовать идею свободы, которая суть не более чем формула. Необходимо изгнать эту «сущность» и видеть одни только факты; ибо, в конечном счете, если полагать эту сущность в сознании и не подвергать её проверке свидетельствами чувств, то придётся неизбежно поставить свободу больных и безумцев в один ряд со свободой человека здорового. Ведь безумец тоже говорит: «Я свободен» — если только не допускать существования двух видов свободы: одной — для человека здорового, и другой — для душевнобольного, что неизбежно ведет к признанию двух родов душ; либо же придется отказываться в этом нематериальном «нечто» (quid) людям, утратившим рассудок, или, наконец, предполагать его в данный момент бездействующим и чуждым тем явлениям, которыми оно управляло накануне и которыми, быть может, будет управлять завтра.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

О том, как интеллектуальные восприятия соединяются с инстинктивными эмоциями, и о том, что составляет суть страстей.

Всякий раз, когда так называемые нравственные восприятия — то есть те, что вовсе не касаются удовлетворения насущных потребностей, а затрагивают лишь любознательность или потребность в наблюдении, — не вызывают живых эмоций, человек проявляет мало деятельности. Если бы им двигал лишь этот мотив, он часто оставался бы в бездействии; но природа это предусмотрела. По мере того, как мы

продвигаемся по жизненному пути, эти восприятия через воспоминания всё теснее связываются с нашими первичными потребностями, к которым поначалу они не имели отношения; и вскоре едва ли найдется хоть один предмет, который оставался бы для них совершенно чуждым. Вид стола напоминает о голоде, вид сосуда — о жажде. Приятная тень навеивает мысли о сельской трапезе, идея которой пробуждает аппетит; лицезрение цветка, ткани, пригодной для изготовления одежды, или какого-либо украшения воскрешают в памяти те удовольствия, что были разделены с любимым существом; вид пропасти напоминает о пережитой опасности; оружие — о выдержанном бое, о последовавших за ним победе или поражении и обо всех сопутствующих им переживаниях и так далее.

Подобные связи устанавливаются посредством ассоциации идей. Когда их результатом не становится пробуждение голода, жажды, инстинкта самосохранения или потребности в продолжении рода, они, по меньшей мере, пробуждают иные потребности, основанные на стремлении чувствовать, испытывать волнение и созерцать самих себя с чувством одобрения или удовлетворенного самолюбия. Так, у бедняка эти связи почти всегда приводят к эмоциям, связанным с удовлетворением его насущных нужд и потребностей его детей — нужд, которые всегда оставляют желать лучшего. В то же время у богача, ученого, поэта или художника их конечной точкой становятся радости самолюбия — этой ненасытной страсти, принимающей самые разные и коварные облики, подробно разбирать которые в данном труде мы не имеем возможности. У людей благодетельных, у аскетов эти цепи мыслей, приводимые в движение предметом, на первый взгляд самым ничтожным, завершаются чувствами сострадания, предвкушением блаженств небесной жизни или же терзаниями в месте вечного наказания; филантроп тем же путем приходит к особому роду эмоций, лишь ему свойственных; и у каждого сама лишь мысль о препятствиях пробуждает тягостные чувства, граничащие со страхом или гневом.

Таковы факты, известные всякому; и излагаю я их не для того, чтобы кого-либо им обучать, но дабы предупредить людей, далеких от физиологии и патологии: все эти эмоции разыгрываются в одних и тех же органах, и ни одна из них не чужда нервной ткани. Именно мозг неизменно выступает здесь возбудителем внутренних нервов; и те из них, что пролегают в тех же самых внутренностях, откуда исходят ощущения голода, жажды, потребности в дыхании или нужды в естественных отправлениях, возбуждаются вместе с этими органами — а порой и куда сильнее, нежели при высшей степени физических потребностей. Это происходит под влиянием чувств уязвленного или удовлетворенного самолюбия, гордыни, спеси, униженного достоинства, сострадания, печали, отчаяния, гнева, фанатизма, жестокости или негодования против преступления, восхищения добродетелью, священного гнева, сокрушения, экстатического восторга, энтузиазма по какому бы то ни было поводу — словом, во всех тех эмоциях, которые именуют нравственными, моральными чувствами, чисто интеллектуальными побуждениями к действию и так

далее. Таким образом, основываясь на чувственных наблюдениях за собственным телом и телами других людей, мы можем утверждать, что все эти эмоции, пробуждаемые внешними объектами, суть явления органические и иными быть не могут; и отделить их от нервов, видоизменением которых они являются, столь же невозможно, как невозможно отделить сокращение мышцы от её волокна, коего оно является проявлением.

Именно в силу этого природа упомянутых эмоций всецело относится к области физиологии, которая, в свою очередь, связывает их с патологией в аспекте причинно-следственных связей и с гигиеной в аспекте мер санитарной предосторожности. Кроме того, они находятся в ведении моралиста, публициста и законодателя ввиду того влияния, которое они оказывают на благополучие человека в обществе; однако они чужды психологу, который смог присвоить их себе лишь с помощью гипотетических уподоблений, чью искусственность я уже раскрыл, но который отныне более не может их удерживать.

Все эти эмоции, сводимые в конечном итоге к удовольствию и боли, составляют основу страстей. Страсти суть устойчивые желания, привязанности или антипатии, сообразно которым мы направляем наше поведение. Состояние страсти подразумевает две вещи: (1) Ряд идей, занимающих нас преимущественным образом и заставляющих подчинять им все остальные; (2) Сопутствующие эмоции, которые либо вызываются этими идеями, либо сами непрерывно их пробуждают. Всё это направлено на удовлетворение одной из инстинктивных потребностей или же потребности, сформированной путём наблюдения. Без достаточно живых висцеральных эмоций человек обладает лишь вкусами, склонностями и предрасположенностями; при наличии же сильных эмоций он обретает то, что называют страстями. Две причины разрушают или усмиряют страсти: (1) Одна или несколько последовательностей идей, отличных от тех, что подпитывают страсть, — то есть иная система поведения, продиктованная рассудком или навязанная случаем, силой и т. д.; (2) Ослабление или прекращение эмоций, привязывающих нас к страсти (например, к любви), вследствие перемен, произошедших в органах, посредством которых мы эти эмоции воспринимаем.

В определенных состояниях человека страсти, имеющие инстинктивное происхождение, искоренить труднее, нежели страсти интеллектуального толка; однако в иных обстоятельствах мы наблюдаем обратное. Люди с высокоразвитым мозгом исправляют или скрывают свои господствующие влечения, и наоборот. Нередко страсти, основанные на инстинкте, меняют свой объект вследствие интеллектуальной модификации, при этом не переставая опираться на тот же инстинктивный принцип: так, страсть к одной женщине превращается в страсть ко всем женщинам или в распутство; пристрастие к определенному роду пищи или питья — в чревоугодие или пьянство; и то, и другое может вылиться в то, что именуют эпикуреизмом. Я не буду подробно останавливаться на деталях: всякий ряд идей сопровождается ощущениями, которые становятся для нас привычными, если

мы вынуждены в течение долгого времени возвращаться к одним и тем же мыслям. Так мы обретаем искусственные вкусы, которые у людей, наделенных живыми эмоциями, перерастают в истинные страсти. Именно на этом известном, но притом недостаточно осмысленном факте должна в значительной мере основываться разумная система воспитания; однако в мои намерения не входит задерживаться на данном вопросе. Я лишь ограничиваюсь его постановкой, поскольку он напрямую касается медицины и гигиены, коим необходимо глубоко познать природу человека, дабы указывать ему род интеллектуальных и телесных упражнений, подходящих для некоторых болезненных состояний его нервной системы.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

Причина заблуждения психологов относительно первоначал человеческой деятельности.

На основании этих данных можно судить, сколь глубоко заблуждаются психологи, когда принимают за принципы деятельности, не зависящие от нервной субстанции, некоторые из тех эмоций, что вызываются мозгом, воздействующим в процессе мышления на висцеральный нервный аппарат. Однако они замечают лишь малую их часть (относительно которой отнюдь не единодушны), в то время как число этих мнимых принципов бесконечно. Они множатся вместе с развитием цивилизации, с успехами искусств и изящной словесности; истинные же науки скорее стремятся ограничить их число, нежели создавать новые. Именно поэтому психология, которая вовсе не является наукой, но представляет собой игру воображения, во многом подобную поэзии, не перестает и никогда не перестанет их множить.

Что бы ни предпринимали психологи, наблюдение за природой расставит всё по своим местам. То подобие оцепенения, которое вызвали у натуралистов некоторые громкие слова, произносимые с подчеркнутым пафосом — такие как величие замыслов, высота взглядов, широта, глубина, размах, — искусно противопоставленные узости воззрений, скудости идей, абсурдности и, что еще хуже, смехотворности, способны на какое-то время лишить исследователей человеческой природы способности сопоставлять факты и делать выводы. Страх прослыть мелочным умом у одних весьма силен; на многих других подействовал подлинный трепет, вызванный совсем иными причинами. Тем не менее, все они в тишине наблюдали и собирали факты, совершенно неведомые психологам, и некоторых из них не удержал ложный стыд в их намерении обнародовать свои открытия. Метафорические выражения, заимствованные у материальных объектов (само представление о которых могло возникнуть лишь благодаря органам чувств), служат плохим подспорьем нашим психологам в описании их онтологических концепций. В самом деле, сколь бы ни была высока гора, на которую возносятся эти

гении, дабы господствовать над родом человеческим; сколь бы обширен ни был горизонт, который их взоры охватывают с этой заоблачной выси; сколь бы глубока ни была бездна, разверзшаяся под ними; наконец, сколь бы протяженным ни воображали они тот широкий путь, проложенный на равнине, где может устремляться их взор — всё это лишь материя, притом материя куда менее благородная, нежели та, из которой сотворен мозг человека. Подобные аллегории не способны ни возвысить нашу природу, ни расширить наши представления, ни позволить нам прозреть нечто за пределами досягаемости нашего взора. То слабое или сильное волнение, которое испытывает психолог-поэт, развертывая эти пышные образы, доказывает лишь одно — возбуждение его нервной системы. Его сознание справедливо говорит ему, что он охвачен эмоциями, и никто не вправе уличать его во лжи; однако это — единственное, что остается доказанным, и сама природа вещей от того ничуть не меняется. Человек превосходит в своем благородстве любой из чувственно воспринимаемых объектов, с которыми его могли бы сравнить. Использование метафор само по себе прекрасно; однако их следует принимать именно за то, чем они являются, и без гнева позволять сводить их к тем фактам, которые они олицетворяют и которые подтверждаются нашими чувствами. Основополагающая задача — верно охарактеризовать эти факты, ибо, в конечном счете, необходимо добраться до сути вопроса: всякое выражение, которое может быть сведено к понятию «человек в измененном состоянии», должно само по себе перестать считаться отдельной сущностью.

Глава седьмая:

О том, как инстинктивные и интеллектуальные явления соотносятся с раздражением.

Для рассмотрения этого вопроса необходимо взять инстинктивные и интеллектуальные способности, которые — из ранга самостоятельно существующих сущностей — только что были сведены нами к явлениям, доступным одновременному наблюдению со стороны сознания и чувств. Следует показать, что эти явления должны сводиться к возбуждению, представляющему собой нормальное состояние нервно-энцефалического аппарата. Как только это низведение будет осуществлено, станет предельно ясно, каким образом те же самые явления соотносятся с нервным раздражением, поскольку последнее есть не что иное, как аномальное состояние возбуждения того же самого аппарата — состояние, противоположностью которого является абекцитация (ослабление возбуждения). Между тем данное сведение может быть выполнено без необходимости прибегать к каким-либо гипотезам; именно этот общий факт мы и положим в основу, вновь обращаясь к интеллектуальным и инстинктивным явлениям, природу которых мы раскрыли ранее.

То, что называют вниманием, восприятием внешних объектов и своей собственной мысли или сознанием, идеей, суждением, умозаключением и памятью — всё это отнюдь не частные способности и не особые сущности, обитающие в мозгу и приводимые в действие впечатлениями, поступающими от органов чувств, или некой мнимой внутренней силой, якобы от них независимой (как это принято говорить о «Я», или сознании, и о памяти). Напротив, всё это — модификации феномена мозгового восприятия, которые надлежит наблюдать, но не следует измышлять им объяснения. Равным образом важно не персонифицировать эти модификации, пытаясь обосновать мнимое главенство одной из них или то влияние, которое они якобы оказывают друг на друга в качестве неких активных начал. Подобное было бы невозможно без того, чтобы не уподобить эти феномены физическим телам, воспринимаемым чувствами, тогда как между ними нет ничего общего: эти явления могут быть подобны только самим себе. Вот то, что нами уже было установлено; пойдём же далее и теснее свяжем эти явления с нервной субстанцией.

Явления восприятия имеют двоякую природу: (1) По своему происхождению они суть следствия возбуждений, воздействующих на внешние органы чувств; (2) Они суть следствия возбуждений, возникающих во внутренних чувствах или в глубине самих тканей. Будучи продуктами возбуждения нервов, они сами представляют собой возбуждения головного мозга, определенным образом реагирующие на импульсы этих же самых нервов; само их существование служит неоспоримым свидетельством энцефалического возбуждения.

Невозможно представить — по крайней мере, в том, что касается их происхождения — чтобы восприятия были независимы от этих двух систем нервов: для подобного утверждения нет фактических оснований. Однако их воспроизведение путем одного лишь возбуждения головного мозга есть факт, не подлежащий сомнению; ибо любой вид энцефалического возбуждения, когда-либо имевший место, может возобновиться и в отсутствие причины, вызвавшей его впервые. При этом один вид возбуждения может спровоцировать другой; именно это я назову памятью и связью восприятий; и то, и другое свойственно всем видам восприятия.

Восприятия, порождаемые возбуждением нервов внешних органов чувств, обладают большей или меньшей ясностью и соотносятся с объектом, который их обусловил. Именно в этом качестве они носят название идей.

Таким образом, идея есть возбуждение мозга, в своем истоке сопряженное с чувственной стимуляцией. Таков факт; само же «как» — механизм этого процесса — недоступно человеческому разумению. Но факт этот настолько неоспорим, что когда возбуждение, воспроизводится в мозгу причиной, отличной от самого объекта, идея этого объекта неизменно являет себя — иными словами, человеку кажется, будто он видит или слышит этот предмет; в то же время стимуляция органа чувств, при отсутствии у мозга способности реагировать на неё, не производит ничего. Ипохондрия и безумие служат доказательствами первого утверждения; глубокий сон и апоплексия подтверждают второе.

Хотя идею нельзя персонифицировать — то есть рассматривать её саму по себе ни как отпечаток, оставленный в мозгу, ни как образ, запечатленный в его веществе, ни, наконец, как некую сущность, возникающую в результате подобного олицетворения, — для того, кто её переживает, она всегда характеризуется представлением либо материального объекта, либо свойств предметов, либо условного знака, замещающего объекты и их свойства. Этот знак предстает перед нами то как зрительный образ, то как звук или же, менее отчетливо, наделяется атрибутами трех остальных чувств. Словом, в отсутствие предметов человек постоянно испытывает своего рода иллюзию, которая есть не что иное, как внутреннее воспроизведение либо некоего простого объекта, либо целых сцен, свидетелем которых он был. Это служит неоспоримым доказательством того, что идея есть не что иное, как стимуляция мозга; ибо под воздействием одного лишь возбуждения своих тканей он приводится в то же состояние, в которое его некогда повергло внешнее чувственное воздействие. Ни одна идея не может возникнуть без стимуляции внешних органов чувств: следовательно, внутри черепной коробки заключено некое внутреннее чувство, отвечающее исключительно на подобного рода раздражения, подобно тому, как вовне существуют органы, реагирующие лишь на определенные природные стимулы. Здесь неизменно действует один и тот же закон. Отсюда проистекает: Невозможность привить идеи тем, у кого это внутреннее чувство не развито; Постоянная зависимость между степенью развития

этого чувства и тем, насколько легко или трудно, ясно или спутанно формируются сами идеи.

Восприятия, порождаемые раздражением внутренних органов и воздействующие на мозг — то есть побуждающие его к ответной реакции, — поначалу сбивчивы и туманны. Однако по прошествии времени и по мере накопления жизненного опыта они связываются с впечатлениями, исходящими от органов чувств. И даже если они не рожают идей, присущих им одним, они пробуждают в памяти те идеи сенсорного происхождения, которые, строго говоря, и являются единственно возможными идеями.

Обусловлено ли это различие тем, что внутренние нервы не имеют прямой связи с внутренним чувством идей, или же тем, что приносимое ими в головной мозг возбуждение не соответствует природе этого чувства?

Без сомнения, обе причины вносят свой вклад, ибо, с одной стороны, каждая чувствительная поверхность — будь то внутренняя или внешняя — обладает своей особой организацией; с другой же стороны, невозможно допустить, чтобы импульсы, исходящие от внутренних органов, столь мощно сотрясающие мозговой аппарат и столь властно подчиняющие себе волю, достигали церебрального вещества в тех же точках и с той же деликатностью, что и сигналы, идущие от внешних чувств и дарующие нам идеи. Следовательно, между раздражениями, поступающими от внешних и внутренних чувств, существуют различия: (1) В отношении строения нервных разветвлений, которые их передают; (2) В отношении области головного мозга, которой они достигают; (3) В отношении интенсивности, которой они обладают в момент прибытия; (4) В отношении способа, коим они возбуждают мозговую массу. Нам недостает специальных знаний по этим различным пунктам, однако мы располагаем некоторыми данными. Нам известно, к примеру, и притом уже давно: (1) В каком именно месте берут начало все нервы, входящие в состав головного мозга; (2) Что центральное основание мозга, равно как и весь мозжечок, служат преимущественно функциям питания и инстинкту: сравнительная анатомия проливает яркий свет как на этот физиологический аспект, так и на последующий; (3) Что полушария головного мозга представляют собой то расширение, с которым неразрывно связано интеллектуальное превосходство; (4) Что именно их передняя часть вносит в это самый мощный вклад и что именно там, следовательно, должна располагаться тончайшая область способности к мышлению (*sens des idées*). Впрочем, краниоскописты неустанно трудятся над сбором фактов, призванных локализовать средоточие каждого ряда идей и каждого инстинктивного побуждения; однако этот труд еще весьма далек от своего завершения.

То, что именуется аппетитами (влечениями), суть восприятия, возникающие вследствие висцеральных раздражений, но сопряженные с чувством удовольствия или боли. Иными словами, когда человек испытывает некие аппетиты, мозг возбуждается под воздействием внутренних органов, что сопровождается приятным

или тягостным ощущением; ибо одни лишь внешние чувства дают мало ощущений. Эти эмоции составляют инстинкт; они предшествуют идеям, но никогда не соединяются с ними; без этого влечения не могли бы быть удовлетворены, коль скоро они требуют совершения сложных действий.

То, что психологи именуют влечениями, суть синонимы наших инстинктивных потребностей; однако мы отдаем предпочтение слову «потребность» для обозначения данных явлений, поскольку оно приложимо к стремлениям к опорожнению, движению, покою, сну и самосохранению, кои стоят в одном ряду с влечениями к питанию, размножению, дыханию, получению тепла или же его отдаче (охлаждению) и так далее. Всякий человек, испытывающий потребность, чувствует либо удовольствие, либо боль; более того, все искусственно вызванные страдания в конечном счете сводятся к потребностям. Так, кожа, подвергнутая воздействию избыточного свободного тепла, пробуждает потребность в холоде; рана, вывих и тому подобное — потребность в прекращении боли. Таков характер потребностей, что внутренние органы всегда принимают в них большее или меньшее участие. Иными словами, всякий раз, когда мы испытываем ярко выраженную потребность, наше страдание или наслаждение сосредоточено во внутренностном (спланхническом) аппарате, и в особенности — в его центре.

Как только предмет, призванный удовлетворить потребность, вступает в связь с внешним чувством, сама потребность, доселе лишь смутная, обретает определенность; само действие совершается посредством мозговой иннервации, как мы уже видели ранее, если тому не препятствуют причины нравственного порядка. В связи с этим я желаю обратить внимание на ассоциацию, устанавливающуюся между приятным или тягостным восприятием потребности и представлением о предмете, её удовлетворяющем. Эта ассоциация должна возникать уже в момент рождения, а возможно, и ранее — через впечатления, воспринимаемые кожей плода, или через чувство стеснения, вызванное определенным положением его тела, что побуждает его к совершению движений. Как бы то ни было, эти первичные идеи слишком туманны и недостаточно сопоставлены с другими, чтобы сознание могло дать в них отчет впоследствии: они остаются подобными идеям слепоглухих от рождения, чьи внутренние ощущения никогда не становились достоянием их ближних. Однако по мере того, как расширяется способность мозга к формированию понятий, развиваются внешние чувства и множатся сами идеи, ассоциация движется вперед; и рассматриваемые нами эмоции, окончательно привязанные к представлению о предмете, становятся побудительными мотивами всех действий, целью которых является удовлетворение инстинктивных потребностей, направленных на самосохранение и воспроизводство.

Со временем связь между объектами, воздействующими на органы чувств, и эмоциями, исходящими от внутренних органов, становится столь тесной, что любая эмоция пробуждает в памяти идеи, и наоборот. Однако, когда внутренние

переживания становятся чрезмерно многообразными, во внешнем мире уже не находится достаточного количества объектов, известных чувствам, чтобы сопоставить каждому из них отдельную идею. В таких случаях одни и те же идеи связываются с различными оттенками приятных или тягостных внутренних восприятий — то есть эмоций, — причем эта связь крайне изменчива и варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

На первый взгляд трудно поверить, что число эмоций может превосходить число идей; однако стоит лишь немного поразмыслить, как в этом невозможно будет сомневаться. В начале жизни преимущество очевидно остается на стороне эмоций, что подтверждается многочисленными и зачастую тщетными усилиями ребенка в тот период, когда он осваивает первые слова своего языка. В это время он стремится привести свои эмоции в состояние ассоциации с теми идеями, знаки которых ему открывают. Здоровый и хладнокровный взрослый человек, простой крестьянин, дикарь в особенности, поначалу не выказывает потребности в большем количестве выражений, нежели те, что ему уже ведомы. Однако стоит страсти овладеть ими, как они начинают изнурять себя попытками передать все её тончайшие оттенки; они сотни раз воспроизводят одни и те же обороты в различных сочетаниях и, убедившись в невозможности выразить то, что они испытывают, в конечном итоге сетуют на бедность языка — то есть на малое число идей, известных их ближним и соотнесенных с чувственно воспринимаемыми знаками. Сие затруднение со всей очевидностью проступает в переписке влюбленных, равно как и в творениях поэтов и всех страстных прозаиков. Именно эта *скудость идей* вынуждает их прибегать к иносказаниям и метафорам, чьи достоинства и недостатки я уже отмечал выше.

Впрочем, всё это — ничто в сравнении с велеречивостью метафизиков. В том, что касается риторических фигур, они превосходят и влюбленных, и самых неистовых ораторов, и самых пламенных поэтов. Причина тому кроется не только в желании, подобно вышеупомянутым, выразить все свои эмоции, но прежде всего в их стремлении во что бы то ни стало объяснить их сокровенное «почему». Их должен был бы остановить некий предел, а именно — ограниченное число ясных идей; однако, увлеченные страстью к открытиям, они вскоре переступают этот рубеж. И как только им удастся забыть, что метафоры — лишь формулы, как только они позволяют себе вольность превращать слова в вещи, перед их взором, по их собственному выражению, открывается новый мир. Мир этот поистине обширен, ибо наполняющие его предметы суть знаки вещей мира реального, но каждый из них наделен двадцатью значениями, отличными от тех, что придаем им мы, и способен принять их еще великое множество — сообразно прихоти этих новых творцов.

Вовсе не из духа критики, но в силу самой природы вещей я ставлю ипохондриков и всех страдающих нервными расстройствами на грани безумия в один ряд с вышеупомянутыми лицами. Они, подобно тем, действительно испытывают необходимость исказить смысл слов, дабы выразить свои ощущения; однако они, по крайней мере, не повинны в этом.

То, что принято называть желаниями, суть восприятия, сопряженные с удовольствием или болью, которые, однако, берут свое начало в раздражении органов чувств и в порожденных ими идеях.

Желания проявляются в те моменты, когда человек вверяет себя импульсу потребности в наблюдении, которая развилась одновременно со способностью формировать идеи. Однако, поскольку удовольствие или страдание, порождаемые желаниями, не могут достичь высокой степени интенсивности без того, чтобы мозг — для которого они служат формой возбуждения — не простимулировал внутренние органы, эмоции, свойственные аппетитам/влечениям, вскоре соединяются с эмоциями желаний. Вернее будет сказать, что аппетиты придают желаниям новый уровень активности, добавляя возбуждение прочих органов к возбуждению самого мозга.

Желания принято отделять от аппетитов, ибо они имеют иное происхождение и более возвышенный предмет. Подобное разграничение заслуживает лишь всяческого одобрения, даже когда оно прилагается к некоторым из самых отчетливо выраженных аппетитов. Если в стремлении к наслаждениям интеллектуальным присутствует хотя бы малая доля примеси аппетита к наслаждениям чувственным, будет правильным избрать такое выражение, которое опустило бы завесу над этим последним аспектом, поскольку именно разум возвышает человека над миром животных.³ При нынешнем уровне нашей цивилизации, что подумали бы о человеке, который, прося руки юной девы у её почтенных и строгих родителей, заявил бы им, что он питает аппетит к прелестям их дочери? Напротив, он выказывает им желание провести жизнь подле неё, ибо он очарован её грацией, её умом, её превосходным характером и прочим. Насколько это возможно, в своих сношениях мы заменяем понятие «аппетит» выражением «желание», поскольку первое, по-видимому, ставит нас в один ряд с животными и, кроме того, изобличает эгоизм. Подобного рода различия полезны для блага общественного порядка; однако физиолог не должен забывать: пока желания остаются лишь простым влечением к интеллектуальным наслаждениям, доставляемым нам способностью к наблюдению, они могут быть лишь лёгкими эмоциями. Следовательно, всякий раз, когда желания проявляются со всей силой, в них кроется нечто большее, чем просто желание; это подлинный аппетит, или, вернее сказать, физическая потребность — именно так и формируются страсти. Они могут зародиться двояким образом: иногда они начинаются с простого желания, к которому позже присоединяется аппетит; в других же случаях именно аппетит становится поводом для развития желания.

Желание, относящееся к инстинкту наблюдения, должно, согласно вышесказанному, брать своё начало в головном мозге; аппетит же всегда проистекает из возбуждающего изменения других внутренних органов. Однако,

³ Именно по этой причине нельзя одобрить допущение слова «чревоугодие» (*gourmandise*) в благопристойном слоге.

поскольку само восприятие аппетита предполагает, что это возбуждение отозвалось в мозге, можно утвердительно сказать, что желание и аппетит имеют сей орган своим общим инструментом, и что именно через него они возбуждаются и поддерживаются.

Так возбуждение непрестанно переходит из области инстинкта в область интеллекта, а из интеллекта — обратно в инстинкт. Это выражение фигуральное, и я прибегаю к нему намеренно, дабы избежать излишнего многословия; но если отбросить подобную формулу, в остатке всегда пребудут следующие факты, которые чувства и сознание наблюдателя могут удостоверить одновременно: (1) Внутренние органы, стимулируемые причинами, не зависящими от мозга, возбуждают этот орган в его инстинктивном и интеллектуальном проявлениях, и он тотчас оказывает на них ответное воздействие; (2) Мозг, стимулируемый в интеллектуальном качестве, возбуждает другие внутренние органы в качестве инстинктивном, и они незамедлительно реагируют на него; и всё это сопровождается различными оттенками удовольствия или страдания.

Именно это взаимное влияние инстинкта на интеллект и интеллекта на инстинкт, обретая продолжительность, и формирует, как мы уже упоминали, то, что именуется страстями. В них мы действительно обнаруживаем инстинктивную потребность, взывающую к интеллекту, и непрестанный труд последнего, который просчитывает все средства для её удовлетворения. Именно это наблюдается в любви, чревоугодии и пьянстве — страстях инстинктивного происхождения, удовольствия от которых, выверенные поработанным разумом, порождают множество извращенных вкусов, становящихся для человека измененной привычкой. Это поистине позорный союз плоти и духа, возведенный в систему поведения.

Тщетно было бы пытаться опровергнуть данное определение, ссылаясь на существование чисто интеллектуальных страстей. Даже самые «интеллектуальные» из них имеют своим первоначальным двигателем самолюбие или то удовольствие, которое человек извлекает из сравнения себя с другими людьми — род наслаждения, которым он, очевидно, обязан наблюдениям, продиктованным инстинктом познания или любопытством. Таковыми являются гордыня, честолюбие, жажда власти и господства, стремление к богатству и почестям, жажда академических лавров и похвал, стяжаемых с трибуны, поиск расположения достойных людей, тщеславие, соревновательность, забота о репутации, чувство чести, зависть, ревность и так далее; страсти, в которых мы не видим ничего иного, кроме разнообразных форм одного и того же чувства; и чувство это есть потребность в самоудовлетворении, или жажда приятных нам внутренних эмоций, а равно и отвращение к эмоциям противоположным.

Справедливо, что господствующие в страстях чувства пытались возвести в некие принципы действия, превратив их в самостоятельно существующие сущности, призванные приводить человека в движение; однако подобные сущности не имеют

никаких преимуществ перед теми, чье падение мы уже наблюдали. Физиолог не может видеть в приятной или мучительной эмоции, служащей стержнем страсти и побудительным мотивом человеческих поступков, ничего иного, кроме возбуждения нервной системы; и, наблюдая за человеком всё более пристально, он в конечном итоге убеждается, что своей властью над волей эти побуждения обязаны участию, которое принимают в них внутренние органы. В самом деле, самолюбие, будучи удовлетворено, пробуждает чувство радости; если же оно уязвлено, оно порождает чувство печали, за которым вскоре следует чувство гнева. Между тем эти три чувства, берущие начало в головном мозге, неизменно влекут за собой стимуляцию висцерального нервного аппарата, и эта стимуляция, отражаясь в мозгу, как только возникнув, она становится той сокровенной силой, которая кладет предел нашим колебаниям и предопределяет наши действия.

Порой могут возразить, что тайным побуждением для нас служит предчувствие будущего наслаждения или потребность избежать неминуемой боли; однако само представление о первом есть актуальная приятная эмоция, а о втором — истинное страдание, столь же актуальное в настоящий момент. Это подводит нас к тому, что, рассматривая вопрос с точки зрения физиологии, мы обнаружим тот же самый побудительный мотив, что и в предыдущем случае. Как бы мы ни рассматривали этот вопрос, при глубоком его изучении мы неизменно придем к следующей альтернативе:

- либо мы уступаем инстинктивной потребности;
- либо мы подчиняемся потребности интеллектуальной.

И всякий раз, когда последняя оказывается достаточно сильна, дабы удержать нас от потакания первой, своим преимуществом она обязана лишь тому, что вызывает в тех же внутренних органах, которые волнует инстинктивная потребность, возбуждение иного рода.

Именно в головном мозге неизменно происходит то возбуждение, которое составляет суть размышления или внутреннего спора: идеи возникают одна за другой, и та из них, которая пробуждает наиболее глубокие эмоции во всей совокупности внутренних органов, в конечном счете и определяет наши поступки. Именно по этой причине люди столь разительно отличаются друг от друга в своих вкусах, склонностях и страстях, в зависимости от того, влечет ли их некий преобладающий органический аппетит или же они привыкли отдаваться определенному ряду эмоций. Вкусы меняются сообразно состоянию внутренних органов: процессы пищеварения и размножения порождают такие цепи идей, которые невозможно отринуть; сердце и легкие возбуждают иные мысли. Характер также претерпевает изменения при хронических болезнях; но в целом можно принять за общее правило: чем сильнее развит головной мозг в тех областях, что посвящены разуму, и чем больше энергии человек сообщил этим областям через развитие своих нравственных способностей, тем более он подвластен эмоциям,

порожденным потребностью в познании, и тем менее он рабствует инстинктивным нуждам самосохранения и продолжения рода.

Однако это развитие интеллекта может создать в нем и множество искусственных страстей. Доходя в своем презрении к инстинктивным побуждениям до крайности, человек впадает в страсть к спиритуализму и перестает замечать вещи реальные; он изнуряет себя постами и бдениями, заставляет себя принимать мучительные позы, истязает собственную плоть и обрекает себя на пытки, дабы угодить божеству, которое сам же себе и сотворил. В иных случаях мы видим, как человек презирает смерть, повинуюсь либо тайному велению самолюбия, либо воодушевлению, которое внушают ему любовь к отечеству, сыновний долг или любая иная частная страсть. Он с жаром преклоняется то перед одной формой правления, то перед другой, не всегда соблюдая в том должную меру; поддаваясь своего рода нравственной заразе, порожденной только что испытанными чувствами, он принимает сторону оратора или поэта, философа или актрисы, и вот он уже охвачен ненавистью и яростью к тем, кто не разделяет его убеждений. Но сильнее всего его возбуждают так называемые небесные интересы и, превыше всего, уверенность в вечном блаженстве, отвечающем его желаниям и привычкам. Именно по этой причине *последователи Магомета* являются самыми фанатичными из людей и наиболее склонными к жестокостям ради того, чтобы стяжать от Божества то счастье, образ которого уже запечатлен в их помыслах.

Пищей для всех этих искусственных страстей служат, с одной стороны, некие ряды идей, ставшие преобладающими в силу случая, а с другой — приятные или тягостные волнения нервной системы. Эти эмоции неизменно остаются теми же самыми; это те чувства, что пробуждаются первичными потребностями и достигают крайнего возбуждения, когда человек медлит с их удовлетворением. Они поставлены на службу любым системам идей, которые властителям удастся навязать толпе, — при условии, что последняя лишена свободы развивать свой разум по собственному усмотрению. Ибо, если в научных изысканиях и в прессе царит свобода, наблюдение за природой в конечном счете — после более или менее долгих блужданий — неизбежно возвращает людей на путь истины.

Этот путь отнюдь не является химерой, поскольку он опирается на само устройство человека и на природу окружающих его вещей. При наличии свободы преподавания и печати ни одно заблуждение не может торжествовать долго; ибо тот, кто наблюдал за миром наиболее проникательно, неизбежно обретет признание со стороны людей с гармоничной организацией. Разумеется, будут возникать частные, сугубо местные препятствия, чинимые учеными сообществами, кружками, влиятельными лицами или ораторами, наделенными великим даром обольщения; но что значат эти преграды в сравнении с течением времени? Те люди, в чьей нервной системе ложные идеи обрели слишком неограниченную власть, чтобы они могли отступить, или те, кто полагает делом своей чести не склонять головы, уходят в небытие, так и не оставляя интеллектуального потомства, чему способствует

воцарившаяся свобода, в то время как науки продолжают свое поступательное движение. По мере их развития язык поэтов и ораторов утрачивает свое буквальное значение; он постепенно превращается в некое иносказательное наречие, в своего рода иероглифы, толкование которых в благоустроенном государстве становится частью воспитания юношества: в этом и заключается истинная логика. Этот язык прежде господствовал и в науках; ныне же необходимо изгнать его оттуда. Химия и физика первыми покончили с ним; медицина в нашем отечестве только что освободилась от него, соединившись с физиологией; общая же философия всё еще им заражена. Однако мы близки к тому моменту, когда и она сможет от него избавиться, если вернет теорию человеческого разумения физиологии — то есть одной из ветвей своего собственного древа — и будет открыто разьяснять те формулы, которые она вынуждена употреблять, вместо того чтобы таинственно выдавать их за некие самостоятельные сущности.

Этот вопрос самым тесным образом связан с предметом нашего рассуждения; ибо тип интеллектуального возбуждения, или та его степень, что наименее пагубна для нервной системы, есть именно та, которая соответствует истине: иными словами, то, чего человеку следует более всего опасаться при упражнении своих интеллектуальных способностей — как с точки зрения его здоровья, так и в отношении нравственных последствий его поступков, — это возбуждение мозга, вызванное созерцанием и поиском иллюзий.

Среди страстей интеллектуального происхождения скупость, которая, несомненно, является одной из самых призрачных, занимает одно из первых мест. Фундаментальным чувством, составляющим её основу, представляется страх лишиться самого необходимого для удовлетворения первейших жизненных потребностей. Затем следуют любовь к золоту — вещественному знаку всех жизненных наслаждений, — жажда его накопления и постоянная боязнь потери; эти чувства толкают скупцов на множество низостей и поступков, нелепость которых ускользает лишь от них самих. Скупость заложена в самой природе человека, ибо она есть не что иное, как благоразумие, доведенное до крайности в его применении к средствам обеспечения насущных нужд. Посему существует несколько видов скупости; и можно было бы доказать, что их ровно столько же, сколько инстинктивных и интеллектуальных потребностей может испытывать человек. Один скуп на свое вино, другой — на своих лошадей или собак, третий — на свои книги или медали, и так далее во всем, к чему человек может испытывать привязанность, поскольку видит в них лишь средства для получения удовольствия. Однако скупец в подлинном смысле слова отличается от всех прочих тем, что достигает состояния такого интеллектуального помрачения, при котором сама мысль о владении символом заменяет ему все те наслаждения, которые он мог бы с его помощью обрести. Заметьте также, что требуется долгое время, дабы достичь подобной степени самообмана — то есть для того, чтобы все прочие стремления растворились в идее обладания этим знаком. И вот, пока скупец, ведомый своим

тайным влечением, бессознательно упражняется в этой своего рода «онтологии», силы его истощаются. Он чувствует, что средства к приобретению начинают иссякать; чувство страха, составляющее основу этой страсти, нарастает с каждым днем и, в конце концов, доводит её до крайнего предела. Потому и поэты, и художники, стремясь запечатлеть скудость в её наиболее отталкивающем виде, неизменно выбирают в качестве прообразов изможденных стариков хилого сложения, чей облик выражает крайнюю подозрительность и боязливость. Несмотря на то, что скудость относится к страстям угнетающим, она способна на бурные вспышки ярости, вслед за которыми вновь впадает в привычное состояние страха, коим она и питается; состояние, которое часто прерываются кратковременными вспышками гнева: посему её следует отнести к числу возмущающих нервных возбуждений, то есть таких, которые имеют склонность переходить в раздражение.

Исследования нервных возбуждений, определяющих наши действия, естественным образом возвращают нас к понятию воли, рассматриваемой в том же аспекте — как нервное возбуждение, тяготеющее к раздражению.

То, что принято называть словом «воля», представляет собой, как мы видим, некий модус возбуждения головного мозга, возникающий вследствие так называемых восприятий и эмоций. Для самого субъекта она характеризуется осознанным восприятием, а для стороннего наблюдателя — мышечным действием. Доказательством того, что воля является формой мозгового возбуждения, служит следующее: (1) Всякий раз, когда это возбуждение усиливается, укрепляется и воля; (2) Всякий раз, когда оно ослабевает, воля также идет на убыль; (3) Всякий раз, когда возбуждение мозга стеснено скоплением жидкости, парализующей его деятельность, воля исчезает вместе с перцептивными и эмоциональными формами этого возбуждения. В подобном состоянии остается лишь инстинктивный модус того же самого возбуждения, но в самой его притупленной, зачаточной форме, в той его степени, которая допускает лишь ощущение потребности в дыхании и церебральную реакцию, определяющую иннервацию дыхательных мышц. Если бы кто-то задался целью, в надежде выдвинуть возражение, связать это восприятие и эту реакцию, стоящие на низшей ступени инстинкта, с интеллектуальными актами и волей, это послужило бы для нас лишь дополнительным аргументом в пользу того, чтобы видеть в воле исключительно феномен возбуждения головного мозга. Впрочем, нет никакой нужды прибегать к подобному сопоставлению, дабы прийти к такому пониманию: к нему нас принуждают сами факты. И не следует превращать невозможность до конца объяснить механизм явления в довод против его реальности.

Труды многих современных физиологов с переменным успехом стремятся соотнести с определенными областями головного мозга различные формы возбуждения, о которых я только что рассуждал, равно как и ту, о которой пойдет речь далее.

Мышечное действие в живом организме неизменно является следствием воздействия нервной материи на собственно мышечную ткань, или фибрин. Однако, как уже было отмечено, головной мозг участвует в этом не во всех случаях: он непосредственно управляет лишь движениями мышц дыхательных, локомоторных и речевых; тем не менее мозг косвенно поддерживает действие мышц внутренних органов, распространяя возбуждение по всей нервной системе и передавая его нервам, относящимся к этим самым мышцам. Именно по этой причине при сильном его возбуждении наблюдается избыточная сократимость всех мышц тела: отсюда возникают конвульсии произвольных мышц, а также спазмы или судорожные колебания мышц внутренних органов. В таких случаях либо побежденная воля вынуждена вызывать избыточную иннервацию подвластных ей мышц, либо она вовсе исчезает под влиянием чрезмерного раздражения, уступая место болезненному инстинктивному режиму церебрального возбуждения, который и определяет движения этих мышц, сопровождаемые судорогами или протекающие без них. Эти явления могут зависеть от чрезмерно активного влияния других внутренних органов на мозг, возникнув без всякого участия воли; однако весьма часто они проявляются и вследствие интеллектуальной стимуляции — в пылу самых деятельных страстей, в порыве гнева, то есть в тот самый момент, когда воля, приведшая их в действие, кажется наиболее напряженной. Можно сказать, что тот способ церебрального возбуждения, который мы именуем волей, исчезает, когда он достигает предельной высоты, губя себя собственным избытком; впрочем, это не единственный подобный случай: остальные формы деятельности, рассматриваемые как интеллектуальные, в той или иной степени извращаются или вовсе упраздняются по той же самой причине, как мы увидим далее на примере безумия и его последствий.

Это означает, что любые интеллектуальные способности могут проявляться лишь при определенной степени возбуждения головного мозга. Выше этой меры подобное возбуждение порождает лишь бред и действия, которые мы привыкли относить к самым грубым инстинктивным порывам. Ниже этой меры интеллектуальные феномены у наблюдаемого субъекта теряют свою интенсивность, перестают соотноситься с представлениями наблюдателя и тонут в слабоумии, где они либо сливаются с простейшими актами инстинкта, либо исчезают вовсе, оставляя в силе лишь последние. Именно к этому постепенно и неощутимо приводит прогрессирующее старение, если только болезни не вызывают подобное состояние преждевременно.

Таков феномен нервного действия, рассмотренный почти во всех его разновидностях и нюансах; и нет ничего проще, чем подвести под ту же точку зрения и те его формы, которые не были названы нами поименно. Именно таким образом надлежит рассматривать это действие, а не в общем смысле, возводя его в степень одной или нескольких персонифицированных абстракций. Именно этот метод наблюдения позволяет моралистам, правоведам и физиологам установить

пределы, разделяющие сферы их компетенции. Что же касается меня, чья главная цель здесь — подвести под учение о раздражении прочное основание, я добавлю лишь слово о самом феномене нервного возбуждения, рассматриваемом как таковое.

О нервном возбуждении, рассматриваемом изолированно.

Что материального происходит в нервах и головном мозге при отправлении их функций, безотносительно к тем молекулярным связям, что обуславливают их известные нам свойства? В этом, как я уже говорил, заключается великая тайна жизненной экономии; ибо первый импульс, приводящий в движение жизненные акты, рождается в полужидкой животной материи, составляющей нервную систему. Неврилема нервов, оболочки головного мозга и дерма связующих мембран служат для этой материи лишь проводниками или, если угодно, сосудами и опорой. Именно туда мы не можем проникнуть ни одним из наших чувств; именно там, в этом альбумине, та неведомая причина, о которой мы упоминали выше, вступает в связь с нами; но заметьте, что у взрослого человека эта связь осуществляется на оболочках взаимодействия, которые сплошь представляют собой чувствительные поверхности; при этом наиболее существенные из этих связей замыкаются на тех поверхностях, что носят название слизистых оболочек. Данный факт имеет первостепенное значение для врача-физиолога, поскольку он позволяет заключить, что нервное вещество, коим-то неведомым образом слитое в этих тканях с кровяной субстанцией, является одним из главных средств сохранения жизни, а следовательно, должно становиться и одной из основных причин болезни и смерти. Когда возбуждение становится слишком интенсивным в этих внутренних органах чувств — в особенности в двух великих путях взаимодействия, снабжающих нас жизненными материалами: на внутренней поверхности бронхов и желудка, — в них обнаруживается покраснение, сопровождаемое жаром, превышающим норму; именно тогда возбуждение и выходит за пределы естественного состояния.

Мы не в силах наблюдать возбуждение в неосязаемых каналах неврилеммы, по которым оно протекает, следуя вдоль нервной мякоти, дабы достичь от поверхностей взаимодействия головного мозга, вернуться в мышцы, перейти от одного внутреннего органа к другому и так далее. Движения, происходящие в них, до сих пор не удалось зафиксировать ни одним прибором, тем не менее, они заслуживают самого пристального внимания наблюдателей. И если мы не в силах различить этот процесс при помощи наших чувств, то в распоряжении нашем имеется факт из области патологической анатомии, дающий нам основания для определенных умозаключений. Когда при жизни нерв становился источником сильной боли и причиной частых судорог — словом, когда он функционировал необычайным образом — обнаруживается, что его неврилема наполнена кровью или лимфой, а подчас и вовсе окостенела. Нервные же узлы (ганглии) в телах тех умерших, чьи окружающие нервы служили проводниками длительной сверхнормальной иннервации, выглядят более красными и припухшими, нежели

обычно. Из данных фактов можно заключить, что возбуждение собственно нервного вещества сопровождается возбуждением кровеносных и лимфатических капилляров, которые обеспечивают его функции и питание неврилеммы.

Изменения, производимые раздражением, легче всего уловить в веществе головного мозга. Для наших чувств становится совершенно очевидным, что сие вещество краснеет, наливается кровью и нагревается весьма примечательным образом, когда оно действует с великим напряжением — будь то в процессах мышления или же в явлениях двигательной иннервации. Тот факт, что атрофия, нередко наступающая после гипертрофии (наиболее очевидно порождаемой возбуждением), является общим правилом, скорее подтверждает, нежели опровергает данное положение.

Все эти факты устанавливают неоспоримость совпадения возбуждения кровеносной системы с собственно нервным возбуждением. Поскольку нам известно, что чередование периодов сокращения и расслабления сопутствует возбуждению сосудов любого рода, мы можем утверждать, что подобный характер действия является неотъемлемой составляющей возбуждения во всем нервном аппарате. Это тем более справедливо, что мы доподлинно знаем: нервы и головной мозг способны функционировать лишь в течение крайне короткого времени без содействия крови, поставляемой им через кровообращение. Тем не менее, нервное вещество обладает и своим собственным, присущим только ему действием. Можем ли мы задаться вопросом: в чем именно оно заключается?

Нами уже было продемонстрировано, что головной мозг расширяется и вновь сокращается (или уплотняется) сообразно направлению его белых волокон. Таким образом, мы имеем веское основание в пользу существования колебательного движения при возбуждении нервного вещества, происходящего независимо от сократительной способности сосудов, а также клеточных и перепончатых пластинок, которые пронизывают и обволакивают, охватывают и поддерживают его, и которые не могут не колебаться и не содрогаться вместе с ним. Вскоре мы вновь встретим эти факты в истории безумия.

Происходит ли в феномене нервного возбуждения нечто иное, нежели подобного рода сократительные движения; поддерживают ли жизнь теплород, видоизмененный электрический флюид или любой иной невесомый агент как-то иначе, нежели приводя в действие эту сократимость в нервном веществе и в соприкасающихся с ним жидких молекулах — об этом мы можем лишь догадываться. Возможно, там, на этих первичных подмостках жизненных сцен, протекают явления сродства, совершаются превращения флюида, присущего самому нервному веществу (если таковой существует), подобно тому, как это происходит в крови, которая пронизывает его, дабы питать и обеспечивать средствами к действию; однако благоразумнее будет остановиться, нежели строить гипотезы о первопричине иннервации. Хотя нервное возбуждение и воспринимает само себя в

действию через феномен сознания, отнюдь не вероятно, чтобы оно могло простирается столь далеко, дабы постичь свои связи с первопричиной, управляющей всей Вселенной. Поскольку сие понятие не было извлечено ни из одной области наблюдения природы, оно не будет, без сомнения, получено и в физиологии. Основаниями для такого предположения служат: (1) То, что до сего дня человек воспринимал лишь тела, то есть самого себя и тела, отличные от него; (2) То, что его восприятие тел не простирается далее тех объектов, что воздействуют на его внешние чувства; (3) То, что восприятие им собственных внутренних органов смутно и не дает ему никаких идей, которые не были бы сформированы по подобию тех, что получены через внешние органы чувств; (4) Наконец, то, что осознание собственной мысли сводится к факту, который ему невозможно ни приумножить, ни развить, поскольку, помимо утверждения «Я чувствую, что я чувствую», он не в силах сказать об этом предмете ничего, что не относилось бы к восприятиям, полученным через органы чувств, расположенные на поверхности его тела.

Глава восьмая: О роли возбуждения в возникновении болезней.

Изложив явления возбуждения в том виде, в каком мы их понимаем и какими, по нашему убеждению, они должны предстать перед всяким, кто изучает их при помощи своих чувств, мы переходим к исследованию того, каким образом это возбуждение может отклоняться от нормального состояния, принимая форму аномальную или болезненную.

Возбуждение имеет свойство ослабевать по прошествии определенного времени, так что жизнь неминуемо угасла бы, если бы новые стимулы не возобновляли его непрерывно. В этом кроется неоспоримый источник болезней, происходящих от слабости, кои, при всей их частоте, были, однако, чрезмерно преувеличены и неоправданно умножены Брауном и его последователями. Указание на происхождение этих недугов выводит нас на путь постижения болезней противоположного свойства.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О том, как недостаток возбуждения порождает противораздражительные болезни.

Мы уже видели, что существуют два возбудителя, отсутствие которых повлекло бы за собой скорое разрушение организма: кислород для легких и свободная теплота для кожных покровов. Вспоминая положения, развитые нами в ходе исследования нервного возбуждения, можно заключить, что оба этих агента оказывают свое первичное воздействие на нервное вещество поверхностей соприкосновения; при этом не следует забывать, что вызываемое ими возбуждение стремительно пробегает по нервным путям, достигая головного мозга, который затем распределяет его посредством других нервов по всей системе.

Равным образом не стоит упускать из виду процесс проникновения кислорода в кровь и, возможно, проникновение и движение теплоты или какой-либо иной невесомой материи в капиллярных каналах нервной системы.⁴ Опираясь на все эти

⁴ В номере журнала «Le Globe» от 12 апреля 1828 года (в момент, когда мы правили последнюю корректуру этого листа) сообщается, что господин Дютроше провел опыты, из которых следует, что в живых телах существует некое «внутрикапиллярное электричество», коим и должно объяснять движение флюидов в оных телах. Контакт жидкостей электризует твердые тела, и органическая чувствительность живых твердых тел есть не что иное, как свойство воспринимать внутрикапиллярное электричество, которое в действительности и является двигателем органической, или растительной жизни. По мнению автора, эти опыты также доказывают, что твердые и жидкие тела обладают одним и тем же свойством — а именно капиллярно-электрическим свойством, которое он называет активностью. Этим

сведения, наблюдатель сможет составить представление о том дефиците, который должен возникнуть в общей сумме возбуждения, когда этих двух возбудителей начинает недоставать организму, а также в силу тех трудностей, с которыми неизбежно сталкивается процесс питания при поддержании жизнедеятельности всех тканей; особенно это касается нервов в том состоянии жизненной силы, от

словом следовало бы заменить термин «чувствительность», который отныне должен относиться лишь к области психологии.

Органическую чувствительность уже давно сводят к раздражимости волокна или к его способности сокращаться под воздействием стимулов. Давно известно, что электричество обуславливает мышечное сокращение, и нетрудно было предположить, что оно может точно так же воздействовать и на иные формы животной материи. Именно эту мысль мы изложили в тексте. Впрочем, приводится ли раздражимость в действие тем или иным агентом — это не меняет сути вопроса. Электричество, передаваемое жидкостями твердым телам, может быть лишь электричеством, видоизмененным самим состоянием жизни, а не первичным двигателем органической жизни. Вполне мыслимо, что оно дает импульс в живых капиллярных трубках, но лишь при условии, что мы будем рассматривать его как силу, преобразованную под влиянием жизненного состояния — подобно тому, как преобразуются притяжение масс, теплород и молекулярное сродство, следы которого также обнаруживаются в живых телах. Ибо следует полагать, что никто не вздумает приписывать «новому электричеству» господина Дютроше все преобразования живой материи: усвоение определенных молекул теми или иными тканями, отторжение других молекул, а равно способ, длительность и меру развития каждой из форм животной материи, из которой слагается живое тело, и прочее. Поскольку ни обычная химия, ни теплород — этот восхитительный возбудитель всей природы — не смогли дать объяснения явлениям вегетативной или органической жизни, то и внутрикапиллярное электричество, несомненно, не окажется более успешным. Лишь в том случае, если опыты господина Дютроше подтвердятся, об электричестве можно будет сказать то, что до сих пор не решались утверждать прямо: будет доказано, что оно входит в число орудий жизни, подобно тому как издавна говорят о всех прочих физических явлениях, наблюдаемых в живых существах.

Однако неизменным останется факт, общий для всех этих явлений: ни одно из них в отдельности не может рассматриваться как регулятор вегетативной или органической жизни. Ибо в тот самый миг, когда одно из них возобладало бы над прочими в живом существе, сама жизнь была бы разрушена. Жизнь есть неведомое нам видоизменение всех природных явлений, которые открыты нашим чувствам, и, без сомнения, многих других, о которых мы не имеем ни малейшего представления; она не сводится исключительно ни к одному из этих явлений. И хотя мы не можем доподлинно определить её суть, мы, тем не менее, способны наблюдать и выстраивать в стройную систему те явления, которые она представляет, по мере их открытия. В настоящем труде была предпринята попытка, следуя этому методу, исследовать явления сократимости и иннервации, дабы прийти к познанию раздражения — то есть тех расстройств, которые возникают в жизненном строе (экономии) под воздействием агентов, делающих проявления жизни более или менее выраженными, нежели в нормальном состоянии.

Что же касается того простодушия, с коим некоторые физики с недавних пор предлагают уступить изучение чувствительности психологам, то оно, без сомнения, зиждется на их убеждении, будто сие явление до сих пор рассматривается как свойство нервного вещества. Однако мысль, которую первым высказал Вик-д'Азир — о необходимости причислить её к разряду функций, — ныне подкреплена столь великим множеством доказательств, что она не может не стать общепринятой, не оставляя спиритуалистам ни малейшей зацепки. Впрочем, обратитесь к тому, что было изложено по сему предмету в первой и предыдущей главах.

которого зависит исполнение всех функций. В самом деле, кислород, поглощаемый кровью в легких, служит причиной собственной температуры животных — иными словами, снабжает их внутренней теплотой. Несмотря на это, они всё же нуждаются во внешнем возбуждении со стороны свободной теплоты; или, по меньшей мере, необходимо, чтобы окружающая среда обладала достаточным запасом теплорода, дабы не отнимать у их тел слишком быстро то тепло, которое выделяется в процессе отправления их функций. Таким образом, можно утверждать, что возбудимость поддерживается исключительно этими двумя началами; она угасает, как только их влияние ослабевает, и окончательно исчезает, если это влияние прекращается вовсе. В таких случаях человек гибнет, не утратив ни доли своего вещества; он теряет лишь способность к жизни, которая для нас сводится к способности воспринимать возбуждение. Таковы виды асфиксии, вызванные нехваткой пригодного для дыхания воздуха или удушением, при которых человек утрачивает лишь кислород; таково и утопление, при котором он одновременно лишается кислорода и теряет свой теплород; наконец, такова смерть от чрезмерного атмосферного холода, происходящая вследствие слишком быстрого отъятия того же теплорода при отсутствии недостатка в кислороде.

За лишением этого двоякого возбуждения следует лишение пищи: потребность в питании менее настоятельна, чем потребность в теплороде; ибо человек способен до известной степени накапливать кровь и прочие жизненные соки, служащие его внутреннему возбуждению и питанию, тогда как он не может без немедленной угрозы для жизни накапливать теплород, в своих твердых и жидких составляющих. Впрочем, возбуждение, коим пища и питье воздействуют на пищеварительный аппарат, относится к числу средств, поддерживающих возбудимость и питающих жизненную энергию в период внеутробного существования. Если сия поддержка прекращается, в жизненной экономии происходят перемены, ведущие к болезненному состоянию. К упадку сил добавляется тягостное чувство, вызванное лишением необходимого стимула; раздражение соединяется с недостатком питательных веществ, ускоряя приход смерти, коя неизменно сопровождается ужасными страданиями.

Кровь и прочие соки, порождаемые пищеварением, суть, как мы уже видели, естественные возбудители внутренних тканей, кои эти жидкости орошают. Следует помнить, что подобное возбуждение является единственным, поддерживающим функции плода, еще не привыкшего к внешним стимулам; одного сего факта достаточно, дабы судить о его важности. Таким образом, умаление количества крови и соков, подобно лишению пищи, служит причиной снижения возбуждения и возникновения многих зависящих от того болезненных состояний. Если сие умаление происходит стремительно, то природа восстает, и раздражение развивается так же, как и при болезнях, вызванных голодом, но в ином проявлении. Самые ужасные конвульсии неизменно предвеляют последний час сильных животных, погибающих от кровотечения, если предварительно не была подавлена

их возбудимость. Именно во избежание этих судорог и тех пагубных последствий, которые они могли бы повлечь за собой, мясники оглушают животных перед тем, как пустить им кровь. Это яростное воздействие на головной мозг со стороны внутренних органов, внезапно лишенных крови, необходимой им для отправления своих функций, по-видимому, обусловлено тем уже упомянутым общим законом, согласно которому любая потребность — будь то потребность в восполнении или в опорожнении — вызывает к мозгу посредством феномена возбуждения.

Иными словами, выражаясь прямо, везде, где нервное вещество лишается своих естественных раздражителей, оно — если только жизнь не угасает в нем мгновенно — впадает в состояние аномального возбуждения, которое передается по нервным волокнам к самому мозгу. Во всех подобных случаях смерть, наступающая от отсутствия нормального возбуждения, подготавливается возбуждением аномальным; и, в то время как одни органы, например конечности, находятся в состоянии абекситации (отсутствия возбуждения), другие органы чувств и внутренние органы второго порядка; в то же время органы первостепенной важности растрачивают остатки своей жизнеспособности на чрезмерную иннервацию. Таков закон; мы должны самым тщательным образом принять его во внимание, ибо он проявляется и у больных, коим часто отворяют кровь, и у тех, кого подвергают строжайшей диете ради подавления упорного воспаления. Незнание этого закона означает вред для пациентов и предуготовление почвы для успехов невежества и шарлатанства, коим по самой их сути свойственно злоупотреблять подобным положением дел.

Медленное и непрерывное изъятие циркулирующих жидкостей ведет к упадку сил и смерти без ответной реакции. Животные, находящиеся под воздействием наркотических средств, также могут переносить кровопотерю вплоть до полного угасания жизни, при этом у них не наблюдается никаких судорожных проявлений.

В целом можно утверждать, что поскольку те виды возбуждения, которые мы только что указали, являются единственно необходимыми для поддержания человеческой жизни, лишь их отсутствие может напрямую привести к состоянию изнурения. Тем не менее, человек подвержен и иному роду возбуждения, которое может стать для него настолько необходимым, что лишение оно окажется крайне мучительным; я имею в виду возбуждение, воспринимаемое внешними чувствами через созерцание природы и через те связи, которые он по необходимости поддерживает со всеми живыми существами, и особенно с себе подобными, в ходе осуществления своих функций. В самом деле, как мы уже показали, именно в поисках пищи, в попытках оградить себя от воздействия тепла и холода, в уклонении от причин разрушения, угрожающих ему со всех сторон, в совершении различных актов, необходимых для продолжения рода и заботы о детях, и т. д., человек получает нравственные возбуждения, привыкает к ним, и они становятся для него насущной потребностью.

Изменения интеллекта, хотя они бесконечно разнообразны в своих причинах и оттенках, всегда сводятся, как мы видели, к возбуждению, которое передается от нервов и органов чувств к мозгу и отражается последним во всех сколько-нибудь подвижных тканях организма. Это возбуждение, следовательно, неизбежно соединяется с теми, что уже вызваны иными причинами, и в большей или меньшей степени видоизменяет их; то есть оно может влиять на распределение жидкостей, на температуру, на ассимиляцию, на питание, на мышечное движение и так далее; однако его основное действие разворачивается в нервной системе, и именно нервная система привыкает к нему до такой степени, что отсутствие подобного возбуждения порождает состояние вялости, которое может стать источником некоторых болезненных состояний. В них неизменно обнаруживается элемент раздражения — необходимый продукт реакции, развивающейся вследствие устранения возбудителей у тех субъектов, которые не были предварительно лишены своей природной раздражимости.

Исследуем теперь, каким образом лишение этих различных стимулов может приводить к возникновению болезней, вызванных раздражением.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Как недостаток возбуждения порождает раздражительные болезни.

Мы уже говорили, что человек может жить только благодаря возбуждению, но оно, какова бы ни была его причина, имеет свойство ослабевать по прошествии определенного времени; таким образом, жизнь неминуемо угасла бы, если бы новые стимулы не возобновляли это возбуждение непрерывно. Таков общий закон; он применим ко всем видам возбуждения. Впрочем, угасание жизни не всегда происходит с одинаковой быстротой: это зависит от природы и значимости тех возбудителей, лишение которых угрожает нашему существованию. Так, лишение кислорода непосредственно и быстро приводит к угасанию возбудимости, а следовательно, и самого возбуждения. В данном случае никакая реакция невозможна, поскольку она основывается исключительно на возбудимости, а возбудимость может поддерживаться только кислородом. Однако во множестве других случаев эта реакция проявляется в полной мере, что порождает болезни раздражения, возникающие вследствие седации (успокоения) или носящие вторичный характер; о них мы лишь упоминали, рассуждая о болезнях, вызванных прямым ослаблением.

Лишение внешнего тепла, когда оно происходит внезапно и в полной мере, влечет за собой смерть, подобно отсутствию кислорода, добавляя к нему замерзание. Но если теплород отнимается лишь частично и с умеренной силой, при том, что дыхание остается неповрежденным, возбудимость не разрушается.

Напротив, она скорее возрастает, и реакция вызывает в тканях кожи или иного органа, более или менее близкого к кожному покрову, возбуждение, которое превышает пределы нормального состояния и превращается в раздражение. Именно так возникают: кожные воспаления, именуемые обморожениями; острые ревматизмы; простуды; и все прочие флегмазии (воспалительные процессы), кои могут быть следствием охлаждения внешней поверхности тела. Заметьте, что жидкости, неизбежно устремляясь туда, куда их призывает возбуждение — поскольку они не обладают собственным началом действия⁵ — покидают кожу, когда холод замедляет её активность, и возвращаются к ней, если ответная реакция вызывает там воспаление, либо же скапливаются во внутренних органах, в которых эта реакция порождает раздражение. Холод также становится причиной болей, кровотечений, усиления секреции, серозных выпотов и т. д., которые нельзя приписать никакому иному жизненному изменению, кроме как реактивному возбуждению, перешедшему в стадию раздражения. Этот вывод неизбежен, поскольку холод воздействует лишь на раздражимость, а раздражимость управляет всеми ощущениями, всеми движениями, и всеми перемещениями жидкостей.

Лишение пищи и питательных напитков оставляет желудок без возбуждения; но если раздражимость не была разрушена ранее и если функции мозга могут осуществляться, то изменение, производимое недостатком пищевого возбуждения, воспринимается организмом. В этот момент вступают в действие законы реакции: происходит прилив нервной силы (иннервация) к желудку и ко всему аппарату органов, ответственных за первичное усвоение. Испытываемое ими возбуждение переходит в раздражение; сюда устремляются жизненные соки, и, если голод длится долго, воспаление пожирает органы пищеварения, распространяясь в той или иной мере на основные внутренности. В то же время внешние части тела изнуряются, будучи оживляемы лишь сочувственными болями и конвульсиями. Человек погибает от чрезмерности страданий и разрушения своих внутренних органов задолго до того, как истощатся запасы его жира, избыток циркулирующих соков — словом, те материалы, которые природа, казалось бы, уготовила про запас, дабы восполнить нехватку средств питания. Примечательно также, что чем больше в человеке силы и раздражимости, тем менее он способен сопротивляться властной потребности в пище.

Предполагается, что раздражение желудка, лишенного пищи, находится в зависимости от непрестанно нарастающего процесса анимализации — своего рода операции «живой химии», которая начинается с воздействия на принятую пищу

⁵ Если бы они им обладали, они направлялись бы туда, куда влекло бы их это начало, а не туда, куда призывает их потребность в питании; они не могут обладать иным началом действия, кроме сродства, связывающего их молекулы с молекулами твердых тел. Но так как это сродство может проявляться лишь в теснейших каналах, жидкости, образующие массы, приводятся в движение и направляются чисто механическим образом: сокращениями сердца, артерий, вен и давлением воздуха — силами, к которым ныне предлагают добавить эндосмос или внутрикапиллярное электричество. См. примечание 4.

(ingesta) в желудке и завершается закреплением одушевленных молекул в твердых частях организма. Зависит ли гастральное раздражение голодающих от этой ли причины, от избыточной едкости пищеварительных соков, от усиленной иннервации, передающейся от внутреннего чувства желудка к мозгу, или же от совокупности всех этих факторов — несомненно одно: оно существует, и его можно до известной степени сдерживать употреблением воды. С другой стороны, хотя нехватка воды переносится тяжелее, нежели отсутствие твердой пищи, по причине чрезмерного внутреннего жара, сопутствующего жажде, я, тем не менее, слышал от многих моряков, претерпевавших лишения в Тихом океане, что им удалось сохранить жизнь лишь благодаря тому, что они заставляли себя есть, вопреки терзавшей их жажде. Они утверждали, что все их товарищи, не сумевшие преодолеть отвращения к пище, погибли самым жалким образом. Из этого следует заключить, что какими бы возбуждающими ни казались питательные вещества — коими в данном случае служили галеты и солонина, они всё же оказывают успокаивающее воздействие на слизистую оболочку желудка, чрезмерно возбужденную голодом. Упомянутые моряки действительно утверждали, что чувствовали некое освежение от принятия этой пищи. Однако очевидно, что подобное благотворное действие должно иметь свой предел: если бы нехватка воды не прекратилась, эти люди, вопреки самому горячему желанию, в конечном итоге оказались бы не в состоянии проглатывать твердую пищу. Возможно, те, кто погиб, уже достигли этой критической точки. Впрочем, перевозбуждение, вызванное потребностью в пище, столь же объяснимо, как и то, что порождается потребностью в сне, хотя ни то, ни другое явление не может быть истолковано исчерпывающим образом. Сама природа внутреннего органа, лишённого своего привычного регулятора, такова, что он стимулирует головной мозг, побуждая его к действиям, направленным на восполнение утраченного; а от подобной стимуляции до полноценного раздражения обоих органов — расстояние совсем невелика. Здесь, однако, необходимо сделать исключение: оно касается субъектов весьма преклонного возраста, крайне истощенных и немощных, чья жизненная раздражимость уже в значительной степени исчерпана. Последние, будучи неспособны к ответной реакции, в короткий срок и самым прямым образом погибают от полного отсутствия пищевых стимулов.

Сказанное нами о смерти людей крепкого телосложения в достаточной мере доказывает, что недостаток пищи лишь в редких случаях становится прямой причиной кончины, если он не сопряжен с иными обстоятельствами. В самом деле, при наличии питья, способного предотвратить развитие воспалительной реакции в пищеварительных путях, человек может существовать без твердой пищи до тех пор, пока не истощит все свои внутренние запасы и не достигнет крайней степени изнурения. Этот процесс может затянуться на весьма долгое время, если только человек не обременен утомительными физическими трудами. Сия особенность является драгоценным преимуществом нашего вида в условиях общественного

бытия; она должна служить полным успокоением для тех лиц, коим строгая диета предписана болезнью или иными случайными обстоятельствами.

Прочие внешние раздражители, воздействию коих подвержен человек, следует считать искусственными, ибо они не являются безусловно необходимыми для его существования. Их роль сводится лишь к поддержанию привычного равновесия, и лишение их способно породить лишь раздражение. Ибо, независимо от всякой первичной потребности, мы обретаем привычку получать возбуждение определенного рода и в определенных органах; мы находим в этом удовольствие, и со временем оно превращается в потребность искусственную. Если возбудители, которые доставляли нам такого рода удовольствия, исчезают, мы испытываем беспокойство и тягостное недомогание; в нас пробуждается отчетливо выраженное желание получить привычные стимулы. Это желание само по себе порой способно стать источником возбуждения, достигающего степени раздражения, средоточием которого становятся головной мозг и висцеральный аппарат. Такое раздражение обусловлено моральными причинами, однако отсутствие привычного возбуждения может воздействовать на нас и иным образом. Речь идет о тех случаях, когда подобные стимулы провоцировали выделение той или иной жидкости. Когда эта жидкость перестает устремляться к своему привычному эмонктору (выделительному органу), она оказывается в организме в избытке; и, если природа не направит её к естественным путям выведения — таким как кожная транспирация, моча и прочее, — она вызывает в тканях органов исключительное раздражение, представляющее собой настоящую болезнь.

Мы полагаем, что к вышеозначенным категориям можно отнести причины болезней и раздражительных состояний, обусловленных отсутствием возбуждения.

Теперь же приступим к изучению тех явлений, что порождаются возбуждением непосредственно.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Каким образом избыток возбуждения порождает раздражительные болезни, и каковы суть эти болезни.

Мы еще раз напомним, что возбуждение имеет склонность к угасанию, если оно не возобновляется беспрестанно под воздействием стимулов. К этому следует добавить, что для поддержания равновесия необходимо, чтобы новые стимулы воздействовали на нервное вещество органов лишь тогда, когда возбуждение, вызванное предшествующими факторами, уже в известной степени ослабло. Однако предел этот определить трудно; он варьируется в зависимости от индивидуального телосложения, привычек и степени силы самих возбудителей или стимулов. Если возбуждение возобновляется слишком часто — когда оно возникает прежде, чем

предшествующее успело достаточно ослабнуть, — или если оно спровоцировано агентами необычайной активности, оно более не стремится к самопроизвольному угасанию до нормального уровня. Напротив, оно упорствует, даже если орган уже извлечен из-под действия вызвавших это состояние стимулов; оно превышает физиологическую норму и переходит в раздражение. Во всех подобных случаях возбуждение распространяется в нервном веществе с большей стремительностью; оно передается от одного висцерального очага к другому, неизменно получая новый импульс в том из них, что наиболее возбужден; она притягивает и накапливает жидкости во всех тканях, где обретает преобладание, и стремится исказить в них явления теплообразования, секреции, эксгалиции и питания, в чем мы вскоре убедимся.⁶

Факты, подтверждающие это положение, преизобилуют и сами собой открываются взору любого наблюдателя. Нам будет достаточно привести лишь некоторые из наиболее разительных примеров, относящихся к различным органическим системам. Воздух, избыточно насыщенный кислородом, перевозбуждает легкие тем сильнее, чем выше возбудимость этого органа, и следствием того становится воспаление. Пища возбуждает желудок в течение определенного времени; но если, принимая новые вещества, человек упорствует в своем стремлении подвергать сей орган новым возбуждениям прежде, чем действие предыдущего пищеварения достаточно ослабнет, желудок усваивает такое возбуждение, которое более не стремится к угасанию. Это и есть раздражение: поначалу оно носит чисто нервный характер и рассеивается самим приемом стимулирующих средств; однако если упорствовать в их употреблении, раздражение становится достаточно сильным, чтобы вызвать скопление жидкостей в тканях органа и привести к их перерождению. Промежуток времени, необходимый для возникновения подобного перевозбуждения, варьируется в зависимости от возбуждающих свойств пищи и питья, а также от способности организма каждого индивида сохранять равновесие. Однако вне зависимости от того, потребуются ли неделя или долгие годы, чтобы чревоугодие и пьянство привели к гастриту — в большей или меньшей степени нервному, более или менее сопровождаемому патологическим изменением раздраженных тканей, — сам факт остается неизменным. Некоторые чрезмерно возбуждающие вещества, такие как концентрированный спирт, едкие, разъедающие яды и им подобные, нуждаются лишь в мгновении, чтобы вызвать раздражение желудка; точно так же некоторые вредоносные газы могут в мгновение ока перевозбудить дыхательный аппарат. Если

⁶ См. первый «Examen» (1816), стр. 439, где под заголовком «Физиология раздражений» приводится следующий отрывок: «Когда стимул воздействует на наши органы, впечатление всегда первыми воспринимают нервы... Коль скоро раздражающее впечатление воспринято нервной системой, дальнейшая судьба его такова: либо оно остается в ней и порождает болезненные явления — в этом случае возникают невроты; либо оно воздействует на капиллярную систему крови и обуславливает флегмазии; либо оно действует на внесосудистые капилляры — секреторные, экскреторные, эксгалиантные или абсорбирующие — и дает начало тем многочисленным изменениям, о которых я упоминал выше, и т. д.»

естественные раздражители наших органов чувств — глаз, ушей, носовой полости, рта или кожи — оказываются чрезмерно мощными, то аппарат, который они стимулируют, начинает страдать. Однако, если вовремя прекратить эту стимуляцию, вызванное ею возбуждение угаснет само собой, и равновесие вскоре восстановится. Если же стимуляция повторяется беспрестанно, не дожидаясь возвращения к этому равновесию, чувствительный аппарат подвергается раздражению; он заболевает, причем зачастую в такой форме, которая ставит под угрозу целостность самой его структуры. Все те, кто злоупотреблял зрением, знакомы с этим состоянием. Слух раздражается лишь чрезвычайно громкими или шумными звуками; но нос и рот часто подвергаются раздражению из-за употребления чихательных или слюногонных средств. Что касается кожи, то любой может убедиться в справедливости наших слов, прибегая к частым растираниям или беспрестанно нанося на неё раздражающие мази.

Именно мозг является органом, действующим при интеллектуальных операциях. Дайте ему отдых после того, как привели его в действие, и вы сможете безнаказанно наслаждаться плодами учения. Но если вы принуждаете его к работе беспрестанно — будь то чрезмерными занятиями или порывами страстей, — заставляя его входить в состояние нового жизненного напряжения (*érection vitale*) прежде, чем предыдущее успеет спастись до нормального уровня, то возбуждение становится чрезмерным, возникает раздражение, а деликатность строения мозгового вещества делает этот орган крайне уязвимым для глубоких изменений, вызванных необычным приливом жидкостей и нарушением питательного сродства тканей. Этот внутренний орган принадлежит к числу тех, в которых труднее всего восстановить нормальный строй органической деятельности, ибо он является средоточием и конечной точкой любого сколь-либо живого возбуждения, воздействующего на органы чувств или возникающего внутри тканей. Посему не стоит удивляться, что болезни, проистекающие от его раздражения, столь часты. Мигрени, помешательство, судороги, параличи и апоплексические удары — вот основные из них. Все они признают своей первопричиной раздражение, однако оно не всегда бывает вызвано чрезмерным напряжением интеллектуальных или душевных способностей: возбуждение желудка порождает их, пожалуй, столь же часто, в силу тесных связей, соединяющих органы мышления с органами пищеварения.

Слишком долго оставалось незамеченным, что сердце, вынужденное биться с запредельной активностью под влиянием изнурительных упражнений, душевных волнений и даже воспалений, вызывающих лихорадку, в конечном итоге обретает раздражение. Последнего достаточно, чтобы изменить саму его ткань и через гипертрофию привести орган к аневризматическому состоянию. Чрезмерный умственный труд, а также бурные и, прежде всего, непрестанные страсти, не давая ни малейшего отдыха иннервации и не позволяя ей вернуться к нормальному состоянию, неизменно порождают раздражение. Его основное средоточие

располагается в нервном аппарате трех висцеральных полостей; ибо, как мы увидим в дальнейшем, раздражение имеет различные преобладающие места локализации, равно как и различные степени интенсивности.

Все сказанное нами об основных висцеральных аппаратах, рассматриваемых в их подчинении влиянию возбуждающих факторов, может быть с легкостью приложено и к органам воспроизводства, и к тем, что отвечают за секрецию, а равно и к мышцам.

Этот второй источник болезней — избыток возбуждения, переходящий в раздражение, — оказывается, таким образом, гораздо более плодотворным, нежели первый (закрывающийся в недостатке возбуждения). Можно смело утверждать, что именно из него происходит большая часть наших недугов. Часто приходится слышать туманные рассуждения о том, что чрезмерное напряжение органов утомляет их, и что тело, долгое время подвергающееся подобным испытаниям, изнашивается и истощается. Однако, произнося это, люди ограничиваются лишь констатацией следствия, не давая ни малейшего представления о том физиологическом механизме, который его вызывает. Этим механизмом является возбуждение, а также то состояние, через которое проводят нас возбуждающие факторы, ведя к нашему разрушению, во всех подобных случаях именуется раздражением.

Именно к этому раздражению надлежит возводить происхождение множества недугов, приписываемых обычно «порочности соков» или неким ядам (вирусам) — таких как золотуха, лишай и прочие заболевания, развивающиеся под воздействием контагиозных или инфекционных агентов. В самом деле, чем могут эти болезни отличаться от тех, причины которых мы только что указали? Исключительно природой провоцирующего фактора. В наших самых обыденных раздражительных аффекциях эти факторы тождественны тем, что поддерживают наше существование; их пагубность заключается лишь в их избытке или недостатке. Однако стоит их составляющим началам претерпеть изменения, стоит им испортиться вследствие ферментации или гниения, либо же насытиться чужеродными вредоносными элементами, как они превращаются в подлинные яды. В этом случае они встают в один ряд с прочими порождениями природы, которые изначально не были предназначены ни для нашего питания, ни для поддержания жизненного возбуждения в его нормальном состоянии. Между тем, что иное совершают все эти яды, как не переводят упомянутое возбуждение в аномальный режим? Они превращают его — причем без необходимости в повторном или длительном воздействии — в раздражение, способное истощать нервную силу и вызывать коллапс, либо обуславливать активные застойные явления (конгестии), приводящие к дезорганизации важнейших внутренних органов. Утверждалось, будто они заражают наши соки... Однако подобное заражение в живом состоянии — лишь химера. Все, что можно утверждать, это то, что соки могут служить для них проводником в течение более или менее длительного времени; однако эти яды, эти

вирусы никогда не породят никакой болезни, не развев предварительно раздражения в твердых частях организма. Доказательством тому служит тот факт, что живой строй (экономия) всегда привыкает к воздействию всех тех веществ, которые не являются ядовитыми в высшей степени или не разъедают ткани. В силу этого молекулы подобных ядов могут безнаказанно циркулировать в наших сосудах в течение неопределенного времени, при этом раздражение, некогда вызванное их контактом с твердыми частями, более не возобновляется. К таковым относятся: (1) Гнилостные миазмы умеренной силы; (2) Гораздо более активные агенты, вызывающие чуму, желтую лихорадку, оспу и т. д. Что же касается ядов такой силы, что сама жизнь несовместима с их присутствием, они могут поражать её, лишь раздражая органы или разрушая их — подобно кислотам и щелочам, введенным в сосуды, или же лишая нервной материи, вследствие чрезмерно быстрого возбуждения, той возбудимости, от которой зависит само наше существование: таковы газы, источаемые некоторыми гробницами, один лишь вдох которых может повлечь за собой внезапную смерть. Мы утверждаем, что известные яды никогда не являются прямыми седативными средствами, подавляющими нервную возбудимость; это мы доказываем частными наблюдениями, которые не могут быть здесь полностью изложены, но являются решающими. Мы ограничимся лишь тем, что дадим о них общее представление. Всякий раз, когда самые грозные яды в малых дозах воздействуют на высокоорганизованную живую ткань, они её чрезмерно возбуждают; опыт в этом отношении вполне положителен. Позволительно ли нам заключить из этого, что, когда яды убивают мгновенно, будучи применены в огромных дозах, они достигают этого не иначе как путем быстрого истощения возбудимости самых нежных, самых восприимчивых тканей нашего организма — тех, в которых берут начало все движения нашей машины, тех, от чьей целостности зависит сохранение нашего бытия, — словом, нервных тканей?

Сии размышления призваны пробудить наше любопытство к тому, как ведет себя раздражение, едва оно утвердится в наших органах. Именно к этому изысканию мы приступаем, дабы завершить общее описание этого великого и примечательного явления.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Об изменениях, возникающих в органах под влиянием раздражения.

Раздраженные ткани прежде всего начинают двигаться с большей стремительностью, нежели в нормальном состоянии: они притягивают жидкости в силу сродства, существующего между молекулами твердых тел и молекулами жидких, — сродства, которое возрастает по мере усиления жизненного напряжения. Вследствие этого устанавливается то, что мы именуем болезненными жизненными

приливами (*érections vitales morbides*). Сии состояния производят перемены в самом образе бытия наших тканей. Первое и основное из этих изменений заключается в воспалительном состоянии. Раздраженная часть опухает и краснеет, пропитываясь кровью; теплород выделяется в ней в большом количестве, отчего температура её повышается. Этой части начинает угрожать дезорганизация; но так как феномен воспаления способен принимать бесчисленное множество оттенков, то и вызываемое им разрушение структуры также являет формы весьма многообразные. Когда воспаление влечет за собой чрезмерный застой, наступает гангрена, или омертвление воспаленной ткани, и она подвергается гниению еще до того, как будет отделена от живых частей организма. Чаще же всего следствием становится нагноение; в иных случаях – особого рода красное уплотнение. Эти три исхода нередко делают пораженную часть непригодной для отправления функций, к коим она предназначена: она либо отторгается целиком, либо размягчается и растворяется, а составляющие её твердые молекулы резорбируются – то есть уносятся непрерывным током проходящего чрез неё кровообращения. Таким образом, сия часть бесследно исчезает в организме. Это разрушение может быть полным или частичным; в последнем случае орган, претерпевший флегмонозное воспаление, всё еще может исполнять свое назначение.

В некоторых случаях воспаление, в силу своей продолжительности или же строения больной ткани, утрачивает часть своей остроты и переходит в хроническое состояние. Существуют такие виды воспаления, кои устанавливают в пораженных ими частях аномальный образ питания, способствующий появлению на них вегетаций (наращений). Можно даже сказать, что прежде, чем произвести окончательное разрушение органа, воспаление всегда полагает в нем начало некой степени гипертрофии. Однако сия гипертрофия быстро исчезает, ежели воспаление протекает стремительно: она достигает значительного развития лишь при тех формах воспаления, малая интенсивность коих позволяет им длиться долгое время.

На исходе своего развития воспаление, не успевшее привести к разрушению тканей, часто заставляет их образовывать аномальные сращения и вызывает в них более или менее значительные деформации, не сопровождающиеся, однако, истинным распадом органической структуры. Подобные изменения происходят путем превращения в твердое состояние молекул лимфы, выделяемой на поверхность воспаленных тканей. Именно благодаря этому процессу затягиваются раны и устанавливаются прочные связи между поверхностями, которые до того были свободны и скользили друг относительно друга. Плевра, перикард и брюшина являются наиболее частыми местами подобных явлений, однако такие сращения могут возникать повсюду, где соприкасаются две воспаленные поверхности. Эту природную склонность наших органов к адгезии используют для исправления некоторых врожденных пороков развития, таких как расщелина верхней губы, именуемая «заячьей губой». Чтобы добиться успеха, достаточно сделать обе поверхности «живыми» и кровоточащими путем иссечения их свободных краев, а

затем удерживать их в тесном контакте. Развивающееся в этом месте воспаление немедленно вызывает сращение, сохраняющееся на протяжении всей жизни.

Именно в феномене воспаления раздражение производит наиболее удивительные эффекты; однако до сих пор мы лишь указали на те эффекты, что возникают непосредственно в месте её развития, и вскоре мы исследуем их последствия. Теперь же необходимо составить представление о том, что происходит в других органах вследствие воспаления одного-единственного из них.

Легкие воспаления затрагивают лишь ту часть, которая служит им очагом, и зачастую сам человек даже не осознаёт их присутствия. Больной апоплексией не имеет ни малейшего представления о воспалении, вызываемом в тканях его кожи наложением везикатория; точно так же и средства, прикладываемые к парализованным конечностям, часто вовсе не ощущаются паралитиком. Многие глубокие воспаления, локализованные в тканях, небогатых нервами, у субъектов с притупленной чувствительностью проходят через все свои стадии без того, чтобы какое-либо тягостное ощущение свидетельствовало об их существовании. Боль, следовательно, строго говоря, вовсе не относится к числу местных явлений воспаления. Да и как она могла бы к ним относиться, если чувствительность является функцией головного мозга? Таким образом, боль должна быть отнесена к явлениям внетельным (экстра-локальным), которые зависят от передачи раздражения. В самом деле, нервы — эти посредники любого сообщения раздражения, проводники любых стимулов, нервы передают мозгу раздражение, когда оно в значительной степени проявляется в воспаленной части тела. Наше «Я» осознает это состояние; человек говорит: «Я страдаю», и относит свою боль к воспаленной ткани. Именно так боль становится тем драгоценным признаком, который дополняет диагностику воспаления. Становится очевидным, сколь важен этот симптом, когда необходимо распознать воспаление скрытого органа — там, где покраснение невидимо глазу, где жар невозможно определить на ощупь и о нем можно судить лишь по болевому ощущению, и где, наконец, припухлость далеко не всегда поддается обнаружению.

Однако на этом этапе описание воспаления усложняется и становится столь туманным, что требует от врача исключительной сосредоточенности, логики и индуктивных выводов. Именно нехватка этих усилий помешала древним врачам в полной мере познать данное явление и оценить его по достоинству. Как только воспаление, или флегмазия (ибо эти два слова синонимичны), становится достаточно значительным — в силу ли своей интенсивности или обширности, — чтобы мощно воздействовать на орган наших восприятий, то есть мозг, последний, будучи раздражен, в свою очередь раздражает множество других органов. Те же, со своей стороны, вновь посылают импульс раздражения мозгу. Из этого взаимодействия рождается бесконечное множество болезненных ощущений и более или менее мучительных и беспорядочных движений; среди них главное явление — воспаление, этот перводвигатель всей бурной сцены, — часто ускользает

от взора страждущего. Долгое время оно оставалось незамеченным и теми, на ком лежала обязанность наблюдать за больным и облегчать его участь.

Чем же на самом деле были эти лихорадки, служившие на протяжении стольких веков объектом изысканий медиков и вечным предметом их гипотез и споров, если не скрытыми воспалениями? Но почему же они оставались неузнанными? Причина в том, что раздражение, передаваемое мозгу воспаленным органом и отражаемое этим же мозгом в различные другие ткани, вызывает ощущения более сильные, нежели те, что исходят непосредственно из очага воспаления. Эти вторичные раздражения и составляют то, что называют симпатиями воспалительного состояния. Как можно заметить, мы без колебаний приписываем их деятельности мозга; и сказанное нами ранее о неявных воспалениях, не вызывающих ни боли в своем очаге, ни ощущений в других частях тела, в достаточной мере подтверждает наше суждение.

Возникал вопрос: каким образом нервы могут выступать посредниками симпатии между органами, удаленными друг от друга и к которым ведут разные нервы; но при этом упускали из виду, что головной мозг является общим центром для всех них и что он никогда не воспринимает раздражения, не отражая его при этом — не только на те пути, что его передали, но и на все прочие.⁷ Сии отраженные раздражения воздействуют на каждый орган сообразно природе его отправления и зачастую вызывают в них состояния более мучительные, нежели те, что наблюдаются в первичном очаге воспаления. Это происходит не только при воспалениях, достаточно сильных, чтобы вызвать лихорадку, но и во многих иных случаях, когда их интенсивность гораздо ниже. Именно так подчас флегмазии желудка и тонкого кишечника, не будучи сами по себе весьма болезненными, вызывают жестокие боли в голове, в спине, в пояснице, в стенках грудной клетки и в плечах, а также чувство усталости в конечностях или же обуславливают бред, первопричину коего ошибочно приписывают самому мозгу. В силу подобных симпатических передач, совершаемых посредством мозга, воспаления, глубоко заложенные в бронхах, заставляют гортань испытывать некое ощущение, которое вызывает кашель; так, воспаления, локализованные в паренхиме легких, вызывают боль в спине или в средней части грудины; те, что поражают толстый кишечник и составляют суть дизентерии, отзываются в пояснице и бедрах, причиняя там порой более мучительные страдания, нежели в самой воспаленной ткани; воспаления матки у многих женщин в течение долгого времени проявляются лишь болями в пояснице или в паху; при некоторых воспалениях головного мозга основные расстройства обнаруживаются в пищеварительном аппарате или в определенных мышцах, которые сводит судорогой или разбивает паралич; многие воспаления мочевого пузыря болезненны лишь в конечном отделе уретры; болезни почек во многих случаях поначалу заявляют о себе лишь рвотой и скоплением газов в

⁷ Этот факт был доказан в «Трактате о физиологии, примененной к патологии», а также изложен выше, при рассмотрении инстинктивных и интеллектуальных возбуждений.

полости желудка и так далее, и так далее. Подобного замешательства не возникает при флегмазиях наружных покровов: четыре их характерных признака — припухлость, боль, жар и краснота — там очевидны. Посему диагностика этих флегмазий во все времена была более легкой, нежели распознавание воспалений органов, сокрытых в висцеральных полостях; однако из-за отсутствия верного представления о симпатиях, врачи и хирурги зачастую недооценивали влияние внешних воспалений на эти органы.

Если бы все внутренние воспаления всегда проявлялись лишь одними и теми же искажениями восприятия, их диагностика не представляла бы исключительной трудности. Однако одна и та же флегмазия способна вызывать самые разнообразные симпатические реакции, в то время как в иных случаях местное и первичное явление преобладает по своей интенсивности над явлениями вторичными. Именно в этом, без сомнения, кроется причина медлительности, с которой развивалась наука: за прототип принимали воспаления последнего рода, равно как и еще более очевидные поражения периферии тела, тогда как прочие почти всегда оставались нераспознанными. Причины этой кажущейся путаницы раскрываются лишь благодаря изучению физиологической медицины, которая позволяет познать различные функции одного и того же органа и оценить связи, объединяющие его со всеми остальными. Мы не имеем возможности вдаваться здесь в подобные подробности.

Среди явлений, относящихся к переносу раздражения, следует отметить изменения, возникающие в окраске и секреции органов, более или менее удаленных от очага болезни. Наиболее яркие примеры этого явления обнаруживаются при воспалительном раздражении; так, покраснение языка, нёбной занавески и конъюнктивы соответствует состоянию слизистой желудка. Подобным же образом секреция слюны и ротовой слизи усиливается и качественно меняется при наличии гастродуоденальных раздражений. Воспалительные процессы вызывают почти идентичные перемены в свойствах панкреатического сока и желчи. Именно через раздражение, симпатически передаваемое секреторным органам, их деятельность — в обычное время протекающая непрерывно — внезапно активизируется и зачастую переходит в болезненное состояние. Все эти симпатии, которые мы назовем органическими, могут устанавливаться лишь посредством нервов. Однако существует два рода нервов, и главенствующую роль в подобных взаимодействиях играют висцеральные нервы, зависящие от большого симпатического нерва, ибо именно они управляют деятельностью сосудистой системы. Нет сомнения, что и церебральные нервы также способствуют этому процессу, поскольку во всех внутренних органах они соединяются с нервами первого разряда. Однако их действие заключается лишь в распространении и поддержании возбуждения в нервном аппарате в целом; ибо посредничество церебрального восприятия, которое лишь одни эти нервы могли бы вызывать, вовсе не является необходимым для возникновения органических симптомов. Тем не менее, совершенно очевидно, что

головной мозг способен влиять на секреторные органы, поскольку одной лишь мысли о яствах достаточно, чтобы вызвать слюнотечение, а мысли о вскармливании младенца — чтобы у доброй кормилицы прибыло молоко. Известно, кроме того, до какой степени гнев воздействует на печень, а помыслы о детородном акте — на яички. Однако маловероятно, чтобы вмешательство головного мозга было необходимо для органических симпатий иным образом, нежели в качестве причины общего возбуждения; ибо раздражение распространяется по нервам во всех направлениях и отнюдь не нуждается в содействии мозга, дабы передаваться и множиться в нервном веществе. Это было достаточно ясно продемонстрировано в первом разделе IV главы, что освобождает нас от необходимости возвращаться к сему предмету.

В некоторых случаях нормальное возбуждение, превращаясь вследствие своей чрезмерности в раздражение, исторгает кровь, которую оно только что привлекло к органам: это и есть геморрагии. Излияние крови, образующей застой, зависит от органического устройства части тела и от того, что её наружные поры менее раздражены или менее прочны, нежели внутренние капиллярные сосуды. Аналогия, сближающая кровотечения с воспалениями, проистекает из тождественности их причин, сходства местных явлений — вплоть до самого момента излияния крови, — а также из той легкости, с какой геморрагия и воспаление следуют друг за другом или замещают друг друга как в одной и той же ткани, так и в различных тканях. Однако не все ткани подвержены спонтанным кровотечениям, в то время как нет ни одной, которая не могла бы стать местом сосредоточения того вида раздражения, коим является флегмазия.

Раздражение, развивающееся в живых тканях, не всегда изменяет их тем образом, который составляет существо воспаления. Бывают случаи, когда его основным следствием становится накопление лимфатической составляющей наших жизненных соков (гуморов) и нарушение питания тканей в такой форме, которая не во всем подобна тем разрушительным изменениям (дезорганизациям), что вызываются воспалительным состоянием и были отмечены нами выше.

Это различие основывается на различии самих первичных тканей, из которых состоят наши органы, а также на характере действия или оттенке раздражительности, кои управляют жизнедеятельностью каждой из этих тканей. Ареолярная и пластинчатая ткань присутствует во всех органах; она проявляется в них под различными видами форм: иногда предстает в виде малых прозрачных пластинок, более или менее рыхлых или плотных, служащих связующим звеном как между отдельными органами, так и между различными частями одного и того же органа; иногда — в виде жировой ткани, когда ей предназначено заполнять обширные пространства между органами и анатомическими аппаратами. В иных же случаях она является уплотненной и уплощенной в виде мембран, которые неизменно имеют одну сторону ячеистую, сообщающуюся с остальной тканью того же рода, и сторону свободную и скользкую, которая соприкасается с самой собой

посредством складок (дубликатур). Эта поверхность гладка и всегда увлажнена лимфатическим испарением, благодаря которому постоянно сохраняется её скользкость; её назначение — облегчать значительные смещения и смягчать возникающее при этом трение.

Именно эти ткани, столь различные по своему виду, но которые можно рассматривать как видоизменения одной и той же основы, являются обычным средоточием наиболее интенсивных воспалений; сие положение было подробно развито в «Истории хронических флегмазий». Когда раздражение проявляется в них с особой энергией, оно привлекает туда обильный приток крови, расширяет и разворачивает их повсюду, где они не слишком плотны, и порождает флегмону, о которой мы уже упоминали и которую долгое время рассматривали как прообраз любого воспалительного состояния.

Однако под этим первым уровнем сосудистого раздражения скрывается множество других, не менее достойных внимания. Попытаемся в нескольких словах дать о них ясное представление.

Первый факт, который нас поражает, заключается в том, что те же самые ткани восприимчивы к иному уровню раздражения, который, в свою очередь, может быть разделен на несколько вторичных степеней. В самом деле, когда раздражение не доводит эти ткани через воспаление до нагноения или гангрены; когда оно не завершается постепенным снижением своей активности и организацией лимфы на поверхности воспаленных частей — оно переполняет их теми же жидкостями, для которых в нормальном состоянии они служат резервуаром, и искажает их питание самым необычным образом. Отсюда возникают дегенерации: саловидные, фиброзные, себациформные, скиррозные, энцефалоидные и прочие. В прежние времена эти патологические изменения приписывали вирусам или особым порокам органических жидкостей (гуморов); однако изучение их причин, развития, их связи с другими болезнями и способов их лечения показало, что они являются лишь результатом определенных форм раздражения (см. «Историю флегмазий», статья «Перитонит»). Таков первый вид подострого воспаления (*subinflammation*) — тот, что локализуется в тканях, где обычное воспаление имеет свойство развиваться с наивысшей силой.

Второе явное проявление подострого воспаления обнаруживается в лимфатических узлах — своего рода органах, расположенных повсеместно на пути всасывающих сосудов определенного калибра. Эти малые тельца состоят из кровеносных сосудов, нервов и лимфатических протоков, соединенных ареолярной тканью; однако доподлинно неизвестно, каким именно образом распределены в них эти различные составляющие. Тем не менее, можно заметить, что раздражение развивается в них под воздействием определенных возбуждающих факторов и может достигать степени истинного воспаления; впрочем, подобный исход встречается довольно редко. Чаще же лимфатические узлы подвергаются такому

роду раздражения, при котором они опухают и твердеют при заметном повышении температуры, а в конечном итоге превращаются в некую белую некротическую массу, по виду напоминающую старый сыр. Таков второй вид подострого воспаления.

Ареолярная ткань и лимфатическая система узлов входят в состав всех органических аппаратов. Посему не стоит удивляться тому, что они оказываются пораженными и перерожденными при любых длительных раздражениях этих систем. Теперь, когда нам известны эти два первых элемента, перейдем к рассмотрению того особенного, что может быть присуще сим раздражениям.

Сперва мы обратим наше внимание на секреторные органы, коим вверено приготовление жидкостей, предназначенных для отправления множества функций. К ним относятся: слюнные железы; печень; поджелудочная железа; почки; семенники; молочные железы; фолликулы, рассеянные по всем поверхностям соприкосновения — как внешним, так и внутренним; а также некоторые близкие к ним железы, такие как миндалины, простата и слезные железы. Сии железы представляют собой совокупность собственно секреторной ткани, которая несколько варьирует, но неизменно сводится к кровеносным сосудам и сосудам, выводящим секретлируемую жидкость; лимфатических узлов (у наиболее крупных из них); всасывающих сосудов (у всех без исключения); более или менее многочисленных нервов и, наконец, клеточной ткани — более или менее обильной, рыхлой или плотной, — которая служит связующим звеном для всех этих различных тканей.

Эти органы прежде всего представят нам первый вид органического раздражения — это воспаление, которое в своей высшей степени сливает все ткани воедино, чрезмерно развивая клетчатку и наполняя её избытком крови; процесс этот сопровождается сильным жаром, болью и явной угрозой перехода в нагноение или гангрену. Однако если мы обратим внимание на секреторные органы в те моменты, когда они не подвержены столь бурному воздействию, то заметим, что раздражение — вызванное теми же причинами, что порождают флегмону, или же действием множества иных возбудителей — может ограничиваться влиянием лишь на некоторые из их тканей в отдельности. Так, когда железа, став слегка горячей и припухшей, внезапно прекращает выделение секрета, или же, напротив, вырабатывает свою жидкость в большем количестве, чем обычно, либо дает её в измененном виде — разжиженной, загустевшей, зловонной или раздражающей соседние части; когда эта дурно выработанная влага разлагается, образуя более или менее твердые отложения, и всё это сопровождается чувством жжения, тяжести, стреляющей боли и тому подобным — сможем ли мы не признать, что раздражение сосредоточено преимущественно в той части железистого аппарата, которая предназначена для образования слюны (в слюнных железах) или желчи для печени, мочи — для почек, семени — для яичек, кожного сала или пота — для кожи, слизи — для внутренних оболочек легких, пищеварительного тракта, мочевого пузыря и так

далее. Далее, когда эти органы, в течение долгого времени обнаруживавшие расстройства своих секретий, начнут опухать, затвердевать, причинять всё более сильные боли, приобретать скirrosный вид или переходить в раковое перерождение, — основываясь на том, что ежедневно предстает нашему взору в чисто клеточных или лимфатических тканях при их слабом раздражении, мы придем к убеждению, что в конечном итоге и эти ткани, также входящие в состав секреторных желез, оказались вовлечены в процесс раздражения.

Именно так мнимые гуморальные болезни, которые прежде приписывали неким брожениям, едкостям или ядам, — такие как избыточное слюнотечение, желчные расстройства, закупорки печени (сопряженные с хроническими гастроэнтеритами), затяжные катары легких, мочевого пузыря и прямой кишки, лишай, сперматорея, бели, диабет, почечные недуги и прочее, — на поверку оказываются сначала секреторными раздражениями или подострыми воспалениями, а затем окончательно переходят в разряд подострых воспалений смешанного, лимфатического, скirrosного, туберкулезного или ракового характера, когда хроническое раздражение сохраняется в секреторных органах достаточно долго, чтобы привести их к полному перерождению.

Мы только что изучили раздражение сосудов, или васкулярную ирритацию, в тканях наиболее сложного строения; отныне, рассматривая это явление в тех структурах, о которых мы еще не упоминали, мы не найдем ничего отличного от того, что уже видели, поскольку ареолярная ткань и образованные из неё мембраны составляют основу последних. В самом деле, во всех органах, которые нам еще предстоит рассмотреть, мы неизменно обнаружим: (1) В высшей степени проявления — флегмону, если ареолярная ткань, в которой оканчиваются капиллярные артерии, может развиваться беспрепятственно; (2) В степенях менее выраженных, а также в тех случаях, когда ареолярные ткани уплотнены или сдавлены — слабые воспаления, которые прекращаются преждевременно, лишь для того чтобы переродиться в субинфламации, либо же первичные субинфламации. Эти первичные или вторичные субинфламации при длительном течении всегда будут являть нам — как и в органах, уже изученных нами ранее — саловидное состояние, энцефалоидные, скirrosные, туберкулезные образования, разрастания, скопления лимфы, конкреции; наконец, когда раздражение, господствующее в этих измененных тканях, достигнет крайней степени обострения — будь то в силу естественного прогрессирования болезни или под воздействием факторов высокой интенсивности, — раковое перерождение станет его последним и самым роковым последствием.

Всё изложенное нами в общих чертах охватывает любые формы раздражения опорно-двигательного аппарата, известные под названиями подагры и ревматизма, когда они обусловлены воздействием холода или развиваются вследствие раздражения внутренних органов. Эти заболевания чрезвычайно распространены, и их очаги могут локализоваться преимущественно: (1) В мышцах, где возможно

развитие флегмонозной формы ввиду обилия рыхлой клетчатки, разделяющей мышечные пучки; (2) В апоневрозах и сухожилиях, где воспаление зачастую затухает, принимая характер подострых воспалений (subinflammations); (3) В суставах, где раздражение вначале проявляется по-разному, сообразно конституции пациента и тому, возникает ли оно внутри суставных сумок или в связках, удерживающих кости, но где оно неизменно завершается переходом в подострые стадии; (4) В хрящах и костях, которые принимают раздражение от мягких тканей и подвергаются патологическим изменениям, проявляясь либо размягчением, либо костоедой (кариесом), либо некрозом.

Раздражения тех же тканей, вызванные насильственными внешними причинами, подчиняются тем же законам. В самом деле, острые и хронические флегмоны, кариес, «белые опухоли» суставов, возникшие вследствие ранений или ушибов, лишь воспроизводят в опорно-двигательном аппарате те разнообразные картины, которые ранее являли нам ревматизм и подагра. Остается рассмотреть явления передачи: опыт учит, что из опорно-двигательного аппарата раздражение переносится на внутренние органы, поражая их сообразно особенностям их организации.

Наконец, нам остается сказать о раздражениях, локализующихся в нервном аппарате, или системе. Мы разделим этот аппарат на три отдела: (1) Первый отдел включает в себя нервные окончания, которые, проникая в ткани, сливаются там с кровеносными капиллярами, становясь неотъемлемой частью самого органа. Эта часть нервной системы наименее изучена в ее внутреннем строении: именно она, принимая стимулы, передает их второму отделу, состоящему из нервных стволов. Раздражения, которые она испытывает, она разделяет с теми органами, частью коих она является, однако же может быть подвержена раздражению в большей или меньшей степени. (2) Вторая секция, или аппарат нервных стволов, бывает двух видов: один принадлежит к черепным нервам, кои могут, как говорят, подразделяться на нервы чувствительные и нервы двигательные; другой же — к нервам чревным (висцеральным). Стволы эти через определенные промежутки усеяны желатинозно-фибринозными утолщениями, называемыми ганглиями. (3) Третья секция слагается из собственно головного мозга, мозжечка и спинного мозга, каковой сперва именуется продолговатым, а затем спинномозговым; всё это вместе образует так называемый цереброспинальный аппарат, или аппарат внутреннего чувства. Именно раздражениями этих различных секций нам и надлежит теперь заняться.

Первое, что поражает нас — это факт, уже неоднократно нами отмеченный: всякое раздражение известной силы, в коем неизбежно участвует первая секция, передается посредством второй во внутренний чувствительный аппарат, составляющий третью секцию, и отражается последним снова во вторую, дабы в итоге вновь возвратиться к первой. Таким образом, нет ни одного сколько-нибудь живого ощущения, ни одного сколько-нибудь значительного мышечного движения,

кои не подтверждали бы существования сего круга возбуждения. Пока эти возбуждения соразмерны тем, что возникают в вызывающих их органах, они не представляют собой болезни; но как только они, по-видимому, начинают их превосходить, говорят о наличии нервного расстройства или невроза.

Первый раздел неврозов, таким образом, включает в себя болезненные ощущения и судорожные движения, которые, будучи спровоцированы одной из сосудистых ирритаций (о которых мы рассуждали ранее), приобретают столь сильное преобладание, что больной живо на них жалуется и настойчиво ищет средств избавления. К этим случаям относятся: (1) Лица, которые вследствие ранения, даже не задевающего нервный ствол, испытывают невыносимые боли, судороги или столбняк; (2) Те, кто, будучи поначалу поражен острым воспалением (флегмазией) пищеварительного тракта (так называемыми «эссенциальными лихорадками»), вскоре впадает в бред и конвульсии; или же те, кто, изнуренный хроническим раздражением — будь то означенного тракта или иного внутреннего органа, такого как матка, сердце, бронхи и т. д. — жалуется на множество тягостных ощущений, одно другого мучительнее, и обнаруживает беспорядочные движения висцеральных, дыхательных и даже локомоторных мышц. Сюда же относятся и все те, которых называют ипохондриками или истериками.

Число их безмерно, ибо едва ли найдутся люди, дожившие до средних лет и не стяжавшие избыточной чувствительности в какой-либо части своего тела — по крайней мере, при том состоянии цивилизации, в коем мы ныне пребываем. Человек жаждет ощущений; он обретает их лишь посредством возбуждения и требует их от всех своих органов. Он раздражает свой желудок чаще и сильнее, нежели следовало бы, изысканными яствами и в особенности — напитками хмельными. Он заставляет свое сердце биться с чрезмерной быстротой, то отдаваясь во власть бушующих страстей, то изнуряя себя непосильными упражнениями. Он безрассудно истязает свои половые органы ради получения новых ощущений и едва ли способен познать меру своих сил в этом столь важном отношении, пока не растратит их в злоупотреблениях до такой степени, что поставит под угрозу само свое здоровье. Более того, в силу самой человеческой природы он подвержен влиянию множества причин, стремящихся нарушить равновесие его возбудимости: то холод остужает его чувства и парализует члены, кои возвращаются к деятельности лишь для того, чтобы заставить его страдать от острейших болей — и вот он уже во власти мучительного ревматизма или подагры, интенсивность коих возрастает по мере раздражений, коим он подвергал свой желудок; то он оказывается раздавлен бременем несчастья, от которого страдает тем сильнее, чем больше у него поводов для самобичевания; то смерть похищает у него существо, которое одно и привязывало его к жизни. Если не упускать из виду изложенные выше рассуждения о функциях нервной системы, следует признать: едва ли возможно, чтобы человек долго жил среди столь ужасных потрясений без того, чтобы в одном или нескольких его органах не установилось постоянное раздражение. Сперва перевозбуждается

нервная субстанция органа; но вслед за ней приходят воспаление и субимфламация. До тех пор, пока эти две формы раздражения не разрушили структуру больной ткани, нервные явления — то есть тягостные ощущения, более или менее болезненные, более или менее необычайные, равно как и сокращения, и конвульсивные муки нервного состояния, — все эти симптомы изменчивы и могут уступить средствам врачебного искусства. Но когда аномальное питание, ставшее следствием различных видов сосудистого раздражения, окончательно перерождает раздраженные ткани, средств к спасению более не остается. Органы и системы, в состав которых входят эти ткани, более не могут функционировать иначе как порочным образом. Нервная субстанция, входящая в их состав, более не находится в унисоне с нервными тканями других областей тела; она сообщает церебральному центру избыточное возбуждение и, как следствие, принуждает его слишком сильно отражать это возбуждение в другие нервы, отчего гармония и мир уже никогда не смогут воцариться в жизненном строе организма. Остаток жизни, таким образом, проходит в беспрестанных мучениях, примечательных прежде всего необычайным разнообразием видов боли. Ибо человек страдает не в одних лишь пораженных органах: он последовательно относит свои страдания едва ли не ко всем областям чувствительности; он связывает свои тягостные или необычайные эмоции со всеми идеями и представлениями, усвоенными им с тех пор, как он начал осознавать себя. Он впадает в заблуждение, он страдает — и заставляет страдать всех, кто к нему приближается. Таков портрет невропата.

Все эти болезненные состояния свидетельствуют о том, что, воспринимая раздражение и обуславливая вследствие этого восприятия произвольные или волевые движения, внутренний чувствительный аппарат сам был возбужден до той степени, которая и составляет ирритацию (раздражение). Будучи же однажды приведен в этот аномальный регистр, сей аппарат неизбежно претерпевает все вытекающие последствия: иными словами, его раздражение способно перерасти в флегмазию (воспаление), в геморрагию, в подострое воспаление. Именно так энцефалит и арахноидит осложняют то, что прежде именовали «эссенциальными лихорадками», и так меланхолики, ипохондрики и страдающие истерией впадают в безумие, становятся эпилептиками или гибнут, сраженные апоплексическим ударом. Таково вторичное раздражение нервной системы: поначалу оно является лишь неврозом, но затем перерастает в нечто более гуморальное — в сосудистое раздражение.⁸

⁸ В умах современных врачей царит великая неопределенность и сбивчивость касательно воспалений серозной оболочки мозга, именуемой паутинной. Многие наблюдатели приписывают бред исключительно этой флегмазии, как если бы само мозговое вещество могло оставаться к нему непричастным; другие полагают, что лишь мягкая мозговая оболочка может быть подвержена воспалению; иные же, наконец, утверждают, что бред проистекает единственно от воспаления серого вещества, покрывающего выпуклую часть полушарий мозга. Нам представляется, что раздражение в церебральном аппарате не может достичь степени, соответствующей воспалению, без самого деятельного участия

Второй факт, на который нам следует обратить внимание, заключается в том, что нервы (речь идет здесь о нервных пучках), будучи частично сформированы из той же пластинчатой ткани, которую мы назвали наиболее предрасположенной к развитию воспалений, делают нервы подверженными этому виду раздражения. Оно развивается в них в большей или меньшей степени, в зависимости от того, насколько обильна, плотна или сжата эта ткань, образующая их неврилемму. В самом деле, если не говорить о травматических причинах, которые могут поражать нервы так же, как и любой другой орган, существуют и иные факторы, которые направляют и фиксируют раздражение в нервных ветвях, доводя его до степени флегмазии. Воспаления крупных нервных стволов поясницы, бедер и рук нередко возникают вследствие воздействия холода, а также подавления кровотоков, кожных или суставных воспалений; следствием этого становятся боли и местные судороги, известные под названием невралгий. Эти же состояния могут быть вызваны во всех нервных ветвях наружных частей тела, вызванные раздражением одного лишь нервного тяжа, принадлежащего к этим ветвям, который оказался бы погружен в самый очаг воспаления. Так, воспаление зубных корней, поражая входящее в них нервное волокно, оказывается достаточным для развития и поддержания невралгии в различных ветвях пятой пары и лицевого нерва. Перед нами, следовательно, второй род неврозов, который всецело принадлежит ко второму отделу нервного аппарата и проистекает из воспалительного раздражения. Совершенно очевидно, что, с одной стороны, этот род недугов зависит от сосудистых раздражений в

кровеносных сосудов; и, с другой стороны, мы считаем несомненным, что бред не может возникнуть без возбуждения белых волокон мозга, кои, очевидно, и составляют его собственную нервную систему. Исходя из этих данных, можно, как нам кажется, принять за истину, что воспаление развивается сперва в мягкой мозговой оболочке, откуда оно может распространяться, конвергируя к серому и белому веществу и дивергируя к паутинной оболочке, достигая даже твердой оболочки и самих костей — подтверждением чему служат эбурнированные (уплотненные, подобно слоновой кости) черепа безумцев. Нетрудно представить, как очаг воспаления, занимающий более или менее обширный участок сосудистой сети, облекающей мозг, передается капиллярам серого вещества и сообщает нервной материи белых волокон раздражение, достаточное для возникновения бреда. Далее можно было бы долго рассуждать о тончайших нюансах раздражения этих тканей: о тех случаях, когда оно воздействует на кровеносные сосуды в степени, не достигающей до гнойного воспаления; о тех ситуациях, когда оно локализуется преимущественно в нервном веществе белых волокон или в той или иной области этой субстанции — то есть в определенном отделе внутричерепного нервного аппарата. Однако подобные суждения требуют опоры на огромный массив фактов. Мы еще вернемся к этому предмету. Здесь же, касательно механизма возникновения арахноидитов, мы считаем возможным добавить следующее: нетравматическое воспаление головного мозга развивается двояким путем: (1) Во-первых, оно может возникнуть под влиянием причин психических (моральных); в этом случае раздражение берет начало в белом волокне, поначалу проявляясь в возбуждении внутричерепных нервов в формах, именуемых бредом и конвульсиями, и лишь затем воздействует на кровеносные капилляры, вызывая в них воспаление. (2) Во-вторых, когда раздражение, уже находясь в другой кровеносной сосудистой ткани, распространяется путем органических симпатий на ткани мягкой и паутинной оболочек. Разве безумие и арахноидиты по моральным причинам не относятся к первому разделу? А безумие и арахноидиты вследствие гастроэнтерита разве не входят во второй?

органах, а с другой — тесно связан с раздражениями внутреннего чувствительного, или энцефалического, аппарата. Ибо само восприятие боли всегда предполагает возбуждение тканей последнего, а любое возбуждение способно возрасти до степени истинного раздражения.

Сие последнее соображение возвращает нас к тому великому факту, с которым сопряжены неврозы третьего разряда. Речь здесь идет, безусловно, о тех случаях, когда цереброспинальное вещество возбуждено до степени, соответствующей раздражению. Оно может прийти в такое состояние прежде всего вследствие двух первых состояний нервной системы; ибо бред, конвульсии и безумие, истекающие из более или менее сильного раздражения головного мозга и его оболочек, могут быть спровоцированы уколом, разрывом или ущемлением нервного ствола, значительно удаленного от головы, равно как и острыми или хроническими флегмазиями (воспалениями) внутренних органов. Далее следуют первичные раздражения головного мозга; этот раздел включает в себя те же болезненные состояния, что были упомянуты выше, а именно: бред — кратковременный или стойкий, перемежающийся или непрерывный — и судороги, в той мере, в какой эти недуги не зависят от местных немозговых причин. Они вызываются воздействиями, направленными непосредственно на мозг, такими как внешние повреждения, либо же возбуждаются в нем вследствие напряженных интеллектуальных трудов, душевных потрясений, кровяной плеторы и прочего.

Наконец, какова бы ни была причина, вызвавшая раздражение в мозгу, следствием её, помимо бреда, могут стать сопорозные состояния, эпилепсия, апоплексия и параличи — симптомы, свидетельствующие о том, что раздражение мозга приобрело сосудистый характер и приобщилось к состоянию воспалительному. Последствиями же этого становятся: застой крови; нагноение; отвердение; излияния крови и лимфы; изъязвления; а также более или менее значительные перерождения тканей: скirrosные, хрящеватые, костные и прочие образования, обусловленные нарушением питания и всегда аналогичные тем, что наблюдаются в других тканях, на примере которых мы изучали великое явление сосудистого раздражения.

Таков весьма краткий очерк болезней второго класса — тех, что зависят от раздражения, будь оно первичным или вторичным. К ним следует добавить описание состояний, являющихся следствием обоих классов: хотя они и не относятся к первичным, они часто обнаруживают признаки, заслуживающие особого внимания.

Первое общее следствие, на котором нам надлежит остановиться, — это препятствие току крови; оно может быть частичным или общим. Оно всегда является результатом либо слабости, способствовавшей скоплению жидкостей в одной точке, либо раздражения, вызвавшего их приток к ней. К таковым относятся: аневризмы сердца и артерий; артерииты и флебиты; варикозное расширение вен;

опухоли, какова бы ни была их причина, развивающиеся по ходу магистральных сосудов. Болезни этого рода могли быть познаны лишь с тех пор, как поражения наших органов стали относить к их истинной причине; вот почему врачи древности имели о них лишь весьма несовершенное представление.

Препятствия току крови, изучение коих представляет наибольший интерес, суть те, что образуются в самом центре кровообращения. Проистекает ли сие препятствие от стеснения сердца, вызванного внутривнутрикардиальным или даже плевральным выпотом, или же оно происходит от растяжения сердечных стенок, сопровождаемого их размягчением, либо от их уплотнения с уменьшением объема при отсутствии перикардита; кроется ли причина сего препятствия в одном предсердии или в другом; является ли оно следствием расширения дуги аорты и полостей вены или же воспалительного выпота, который, сгущаясь, сузил просвет главных сосудов, прилегающих к сердцу; проистекает ли оно от закупорки аортальных отверстий губчатым наростом или вегетацией мышечных стенок, сохраняющих свою силу, либо от чрезмерного расширения тех же отверстий при размягчении мясистого вещества органа; имеем ли мы дело с грыжей желудочков или разрывом их столбов — основные симптомы всегда будут неизменны. Разумеется, возникнут и добавочные признаки, свойственные самому роду повреждения, однако они будут столь же изменчивы, как и сама раздражительность, коя призвана служить мерилем всех жизненных поражений; тогда как следующие три признака неизменно будут налицо: (1) Затруднение дыхания; (2) Затруднение или невозможность передвижения; (3) Затруднение или невозможность сна.

Сочетание этих трех родов симптомов составляет патогномичный признак центрального препятствия кровообращению и, следовательно, свидетельствует о вынужденном застое этой жидкости в сосудах крупных внутренних органов, и в особенности — в паренхиме легких. Именно эти симптомы дают основные клинические указания, позволяя предвидеть вероятные последствия недуга; они же предупреждают врача о необходимости тщательного обследования для выявления специфической причины, вызвавшей это конкретное препятствие. Впрочем, вполне возможно, что причина эта окажется лишь кратковременной — как, например, спазм сердца, наблюдаемый при некоторых приступах судорожной астмы; ибо только постоянство сочувственных проявлений (симпатий) служит доказательством неизменного препятствия току крови. (См. «Комментарии к патологии»). Наконец, во всех безнадежных случаях именно эта группа симптомов дает те единственные указания, коими следует руководствоваться, дабы облегчить страдания и максимально отсрочить последний час. Стоило ли извлекать из хаоса древней патологии сведения о поражениях, связанных с затруднением прохождения крови через двойную теснину грудного центра, дабы превратить их в характерные признаки особого рода болезней! Довольно многочисленные симптомы группируются вокруг трех видов поражений, совокупность которых определяет

саму природу этих недугов; однако сейчас не время вдаваться в подобные подробности.

Второй эффект, который мы стремимся распознать, — это экстравазация серозных жидкостей, или водянка. Вызываемая в одних случаях прямой слабостью, порожденной истощением возбудимости — как следствие обильных кровопотерь, голода, водянистой диеты, влажного воздуха и прочего; определяемая в других случаях раздражением, которое либо порождает её непосредственно путем болезненного внутреннего выпота, превратно замещающего очистительные серозные выделения, либо провоцирует косвенно через разжигаемое им острое воспаление, — водянка, как мы видим, бывает иногда первичной, но чаще является следствием иного недуга. Однако в этом последнем случае она неизменно становится для живого существа источником вторичного раздражения и страданий, постоянно обнаруживая, помимо признаков той болезни, от которой они проистекают, необходимость вызвать выведение излившейся серозной жидкости: именно это заставляет нас выделить их в особый род болезней, в подробности которого мы не имеем возможности здесь вдаваться.

Третьим неизменным следствием болезней любого рода является посягательство на ассимилирующую силу и препятствование совершенному преобразованию наших соков. Отсюда проистекает ряд симптомов, которые авторы относят к кахохимии и цинге. Эти болезни также характеризуются предписанием определенного рода питания; по этой двойкой причине они заслуживают того, чтобы быть рассмотренными отдельно.

Цинга также может быть первичной, и в этом случае она зависит от недоброкачественной пищи или от холодного, влажного, мрачного и нездорового воздуха. Её характерными признаками всегда выступают: с одной стороны — недостаток сократительной способности мышечного фибрина, что является общей причиной вялости больных и ослабления двигательных функций; с другой стороны — кровоизлияния в кожу и подкожную клетчатку. Однако к этому важно добавить следующее: (1) во-первых, внутренняя оболочка пищеварительного тракта всегда первой принимает на себя удар, будучи главным органом усвоения; это подвергает больных хроническим флегмазиям и кровотечениям из одного канала, включая кровоточивость десен; (2) Во-вторых, страдающие скорбутом отнюдь не избавлены от флегмазий в иных органах; напротив, они подвержены им тем более, что одна из мощнейших причин скорбута — влажный холод — беспрестанно их тому подвергает; (3) В-третьих, воспаление у скорбутных больных обнаруживается в двух видах (а): хроническом апиретическом, поражающем десны и слизистую оболочку пищеварительного тракта, что не препятствует скорбуту оставаться «холодным» (b); острым и лихорадочным, кое может проявиться в любом органе, составляя то, что авторы именуют «горячим скорбутом»; Равным образом скорбутные больные подвержены и перемежающимся раздражениям; (4) В-четвертых, ткани скорбутных больных, обладая меньшей силой сцепления и меньшей силой органического

сродства, нежели ткани здоровых субъектов, в гораздо большей степени подвержены разрушению (дизорганизации). Отсюда происходят: развитие аневризм сердца вследствие скорбута, разрывы мышц при весьма умеренных усилиях к сокращению, обширные экхимозы от легких ушибов и, наконец, изумительная быстрота, с коей флегмазии вызывают разрушение тканей у больных цингой; (5) и наконец, в том, что при цинге всегда существуют два рода показаний: а) показание, вытекающее из нарушения ассимиляции, которое требует употребления свежей пищи, в особенности растительной, а также сухого, постоянно обновляемого воздуха и света; б) показание, обусловленное сопутствующими воспалениями, против которых применяются те же средства, что и у прочих субъектов, однако с большей осторожностью в том, что касается кровопусканий. В силу всех этих причин цинга должна рассматриваться в трудах по патологии как отдельное заболевание.

Четвёртым общим следствием, которое нам надлежит отметить, является слабость, наступающая вслед за раздражениями, которые мы кратко рассмотрели. Упадок сил, в сущности, есть общий итог всех наших недугов, и задача по восстановлению сил неизменно встает после того, как была выполнена задача по их уменьшению. Все ткани, сосудистая система которых была переполнена вследствие ирритации, по прошествии определённого времени ослабевают и приходят в состояние расслабления, отчего общая сумма жизненных сил более или менее уменьшается; все нервы, деятельность которых была чрезмерно возбуждена, в той или иной степени утрачивают свою возбудимость и порой впадают в полный паралич. Церебральные нервы, в частности, неизменно парализуются, когда раздражение разрушает точку их прикрепления — будь то в головном или спинном мозге. В этих различных случаях общая сумма сил всегда оказывается в той или иной степени подорванной, и показание к стимуляции неизменно сдерживается необходимостью щадить возбудимость органов; этого достаточно, чтобы выделить подобные состояния в особый род болезней.

Такова общая история раздражения, таков краткий очерк физиологического учения. Ни одно жизненное явление, будь то в нормальном или патологическом состоянии, не может быть изъято из этой системы; у врачей есть выбор лишь между двумя способами рассуждения: либо они должны быть физиологами, — а таковыми они могут стать, лишь избрав своим путеводителем понятие раздражимости; либо они обречены оставаться эмпириками, и в таком случае они подвержены бесчисленным теоретическим и практическим противоречиям, не будучи в силах извлечь сколь-нибудь значительную пользу из сделанных ими наблюдений. Мы не раз касались этого вопроса в речах, произнесенных при открытии наших публичных и частных курсов, а также в труде «Анализ медицинских учений»; однако, дабы еще нагляднее продемонстрировать высокую важность вышесказанного, мы обратимся к рассмотрению безумия — одного из тех заболеваний, на которые древние смотрели с наиболее эмпирической точки зрения, но которое, тем не менее, острее

всего нуждается в свете рациональной медицины. Избирая безумие в качестве примера для применения изложенных физиологических начал к частным патологиям, мы преследуем двойную цель: По мере наших сил способствовать совершенствованию терапии этого прискорбного недуга, который доселе еще не был явным образом (*ex professo*) соотнесен с нашими принципами; и поставить это исследование на службу прогрессу науки о человеческом разумении и делу сокрушения онтологии.

Часть II. О безумии, рассматриваемом согласно физиологическому учению и соотнесенном с феноменом раздражения

Глава первая: О причинах безумия

Для врача безумие есть продолжительное прекращение того образа деятельности мозга, который в нормальном состоянии служит регулятором человеческого поведения и от которого зависит способность, именуемая разумом. Однако, чтобы за больными было признано состояние безумия, необходимо, чтобы они могли в значительной мере сохранять отправление функций прочих органов; по этой причине к числу безумцев не причисляют ни лиц, находящихся в состоянии острого бреда, ни многих больных, пораженных острыми воспалительными процессами, которые также лишены разума. Лишившись сего инструмента, человек более не в силах противиться слепым порывам инстинкта, притом что и сам этот инстинкт в состоянии безумия более или менее извращен: отсюда проистекает возможность всевозможных отклонений в речах и поступках людей, пораженных душевным расстройством.

Мозг, или, вернее, энцефалический аппарат, состоящий из собственно головного мозга, мозжечка, варолиева моста и продолговатого мозга — общего центра всей нервной системы, — мозг, повторяю я, есть орган инстинкта и интеллекта, и обе эти способности неизменно претерпевают изменения вместе с мозгом. Энцефалический аппарат не может подчиняться иным законам, нежели те, что управляют другими органами: следовательно, расстройства инстинкта и интеллекта могут проистекать лишь из избытка или недостатка возбуждения головного мозга. (См. главу IV первой части). Первичный недостаток возбуждения не вызывает стойкого извращения инстинкта и интеллекта; следовательно, безумие может возникнуть лишь вследствие перевозбуждения или раздражения головного мозга.

Причины безумия могут быть классифицированы так же, как и причины любых других болезней: иными словами, они сводятся к воздействию гигиенических факторов и влиянию иных недугов на головной мозг.

Эти причины подлежат тому же разделению, какому подвергаются причины всех прочих болезней раздражения; то есть их можно рассматривать в соответствии с теми гигиеническими силами, к которым они относятся. Мы поставим во главу угла персепта как факторы, оказывающие наибольшее влияние на возникновение психических расстройств, и обозначим их термином «нравственные причины». В

них мы находим два вида возбуждения, имеющих чисто физическую природу: (1) чрезмерно бурные страсти, которые мы упоминаем первыми как наиболее значимые; (2) интеллектуальные труды, доведенные до крайности. Страсти имеют свойство вызывать прилив крови к мозгу и активировать иннервацию, следствием чего становится одновременное возбуждение сердца, легких, желудка (чье жизненное напряжение разделяет и печень), мочеполовых органов и даже всего опорно-двигательного аппарата. Страсти могут быть связаны с удовольствием или со страданием. И те, и другие в своем первоначальном состоянии сильно возбуждают нервную систему; однако существуют такие душевные состояния, при которых человек последовательно и с необычайной быстротой испытывает ощущения удовольствия и страдания. Именно это мучительное состояние — наблюдаемое в порывах амбиций, гордыни, уязвленного самолюбия; в зависти, ревности, в метаниях между надеждой и отчаянием и тому подобном — наносит разуму самые тяжелые удары.

Интеллектуальные труды, заходящие слишком далеко, способны внести расстройство в мысли: во-первых, из-за возбуждения, вызванного неослабевающим вниманием и пренебрежением сном; во-вторых, из-за страстных движений души, которые почти всегда сопутствуют им, таких как честолюбие, зависть, а также экзальтированное или униженное самолюбие. Грусть и ужас, если рассматривать их воздействие на наши органы в отдельности, обладают видимым седативным эффектом, поскольку мы наблюдаем, как они замедляют пульс и парализуют двигательные мышцы. Тем не менее, это успокоение не является полным: неизменно сохраняется некая форма церебрального возбуждения, присущая сосредоточенному вниманию, и нельзя отрицать, что оно — одно из самых деятельных. Этот витальный прилив в мозгу, или этот постоянный режим иннервации, может препятствовать другим видам иннервации при наивысшей степени печали, ужаса или внезапного потрясения, и приводить к скоропостижной смерти. Однако всякий раз, когда этого несчастья не происходит, развивается реактивная иннервация, которая, подобно прямому возбуждению от бурных страстей, ведет к воспалению.

Никогда не наблюдалось, чтобы безумие, вызванное моральными причинами, развивалось у ранее здорового субъекта, не сопровождаясь в своем начале тем сосудистым возбуждением (*excitation sanguine*), подробное описание которого будет дано ниже.

Дети мало подвержены безумию по моральным причинам, так как впечатления у них менее долговечны, чем у взрослых; однако интенсивность этих впечатлений может восполнить их краткость. Впрочем, встречаются дети, у которых преждевременное развитие головного мозга порождает склонность к меланхолии, способной привести к психическим расстройствам.

В действии прочих гигиенических факторов или физических причин мы также усматриваем лишь возбуждение различных органов. На первое место мы поставим возбуждение самого головного мозга, связанное с внешними воздействиями (*applicata*), и некоторыми заболеваниями, сопредельными с мозгом и вызванными ранами, ушибами головы, сотрясениями мозга, воспалением волосистой части головы в случаях рожистого воспаления внутреннего происхождения, эритемой, вызванной внешними причинами, солнечным ударом или флегмонами околоушных желез — словом, любые очаги воспаления, соседствующие с органом мысли, поскольку раздражение может легко распространиться и на него.

Вслед за раздражениями близлежащих тканей наиболее влиятельными мы находим те, что возникают в желудке, двенадцатиперстной кишке и печени. Они могут быть обусловлены различными гигиеническими факторами, но чаще всего зависят от *ingesta* (потребляемого внутрь) и *percepta* (воспринимаемого чувствами). В самом деле, множество людей под влиянием чрезмерно возбуждающего режима, вследствие действия ядов или избыточно раздражающих лекарственных средств, приобретают хронические гастриты. Эти недуги, удерживая больных в течение многих лет в состоянии ипохондрии и невропатии, в конечном итоге приводят их к душевному расстройству. Другие теряют рассудок по той же причине за гораздо более короткий срок. Если же этот период чрезвычайно мал, а гастрит протекает в острой форме, то возникающий бред уже не называют безумием: он переходит в разряд френита (неистовства) и лихорадочного бреда. Однако заслуживает особого внимания тот факт, что зачастую причины нравственного порядка, даже те, что действуют наиболее непосредственно на мозг, порождают безумие лишь после того, как в течение некоторого времени в организме развивались и поддерживались гастрические воспаления; словно бы головной мозг у определенных субъектов нуждался в ответной реакции внутренних органов, дабы достичь высшей степени раздражения. Именно таков случай многих меланхоликов, страдающих от тоски по родине, несчастной любви, утраты состояния или уязвленного самолюбия: они теряют рассудок лишь после долгого страдания от гастроэнтерита с сопутствующими симптомами невропатии. Впрочем, сему не стоит удивляться, поскольку у многих людей нравственные потрясения, хотя и воспринимаются мозгом, в первый момент оказывают менее влияния на устройство сего органа, нежели на состояние сердца, легких или желудка. Мозг никогда не страдает в одиночестве, как было нами доказано в нашем «Трактате о физиологии». Возможно, со временем удастся даже подтвердить, что ощущение — по крайней мере, для физиологов — представляет собой некий круг возбуждения, проходящий через головной мозг и нервные окончания. Однако ныне на нас возложена довольно обременительная задача, коя препятствует подробному рассмотрению сего вопроса, который, впрочем, был бы здесь совершенно уместен.

Возбуждения иных внутренних органов — сердца, легких, толстого кишечника, селезенки, почек, мочевого пузыря — каков бы ни был гигиенический фактор,

послуживший им причиной, расстраивают рассудок лишь в высшей степени своей интенсивности, когда они принимают форму острого воспаления; однако в подобных случаях возникающий бред еще не именуется безумием.

Нельзя сказать того же о чрезмерном возбуждении половых органов, возникновению которого способствуют как впечатления (*percepta*), так и поглощаемые вещества (*ingesta*) и даже средства наружные (*applicata*), не говоря уже о прочих причинах. Будучи более «нервными» или, по крайней мере, более богатыми нервами отношений, нежели вышеупомянутые органы, и будучи столь же обильно снабжены волокнами большого симпатического нерва, детородные органы разделяют с желудком, также изобилующим обоими видами нервов, свойство живо воздействовать на головной мозг. Добавьте к этой особенности способность симпатически вовлекать в свое возбуждение желудок и все эпигастральные нервные сплетения, и вы поймете, почему женщины, страдающие истерией и нимфоманией, столь подвержены риску впасть в безумие. У противоположного пола это влияние выражено значительно слабее.

Во всех подобных случаях раздражение действует прежде всего действует симпатически на головной мозг, который впоследствии поражается уже идиопатически, притом что раздражение не покидает и первоначально затронутый орган.

Последний разряд физических причин составляют перемещения раздражения. В таких случаях болезненное состояние иных частей тела прекращается, и мозг поражается тотчас же. Внутренние органы редко служат исходной точкой для подобного рода метастазов: мы часто наблюдаем, как они воздействуют на мозг, но обычно это происходит без прекращения их собственного раздражения, как мы только что отметили. Они лишь кажутся менее воспаленными, когда мозг страдает сильнее; однако и тогда он неизменно возвращает им достаточное возбуждение, дабы воспрепятствовать их полному исцелению, даже если бы те были к нему предрасположены. Внешние органы — и в особенности кожа, края слизистых оболочек и суставы — напротив, чаще оказываются теми частями, которые раздражение оставляет, дабы перекинуться на внутренности; и мозг, при малейшей к тому предрасположенности, неизменно подвергается мощному удару. Заметим также, что он поражается почти всегда совместно с желудком и сердцем, что придает подобным метастазам еще большую тяжесть. Именно сюда следует отнести все виды безумия, обусловленные внезапным исчезновением лишаев, рожистых воспалений, естественных или искусственных кровотечений, старых язв, корковых экссудаций, а также частичного пота — зловонного, густого, необычайного; словом, тех исчезновений, которые гигиенисты относят к категории экскретов, к ретроцессии (метастазу) подагры, ревматизма и так далее.

Безумие, столь часто наблюдаемое после родов, не возникает под влиянием одного лишь органа; в этот примечательный период вся система находится в

состоянии перевозбуждения. Для каждого органа становится неизбежной угроза застоя (конгестии); и если необходимые выделения прерываются, то даже малейшей причины достаточно, чтобы сосредоточить этот застой на головном мозге, равно как и на любой другой системе внутренних органов. Причем эта определяющая причина зачастую лежит в душевной (моральной) плоскости.

Поскольку вышеперечисленные причины не всегда и не с неизбежностью приводят к безумию, нам придется признать определенную предрасположенность у лиц, подверженных этой болезни. Такая предрасположенность может быть обусловлена только чрезмерной раздражимостью головного мозга, или же его порочным развитием. В первом случае, будучи избыточно раздражимым, головной мозг слишком долго удерживает полученные стимулы и переходит в состояние перманентного раздражения. Во втором случае, будучи недоразвитым и слишком слабым, он не может противостоять неистовым порывам страстей и чрезмерному жизненному возбуждению, которое сопровождает великое напряжение внимания и памяти. Чрезмерно развитый мозг, напротив, наделяет нас поразительной легкостью восприятия, которая делает интеллектуальный труд весьма приятным. При втором типе организации перевозбуждение проистекает из нашей интеллектуальной немощи; при третьем же оно становится следствием нашей силы — из-за злоупотребления тем наслаждением, которое успело стать для нас первой потребностью. Подобно тому как слабый желудок раздражается от умеренной дозы вина, так и крепкий страдает от дозы вчетверо большей, коей человек подвергает себя тем смелее, чем меньше он страдал от своих первых излишеств. Срединное состояние менее всего подвержено великим потрясениям: *medio tutissimus ibis* — «безопаснее всего держаться середины».

Глава вторая: Об инкубации безумия: две формы, заслуживающие внимания

Когда головной мозг находится в состоянии сколько-нибудь длительного перевозбуждения, вызванного страстями, а также чрезмерным напряжением внимания и памяти, безумие становится неизбежным. Оно столь же близко и в тех случаях, когда мозг непрерывно стимулируется импульсами, исходящими от крайне раздраженного желудка (у обоих полов) или от половых органов в состоянии подострого воспаления (у женщин). Подобное состояние неизменно сопровождается общей возбудимостью нервного аппарата, из-за которой любые ощущения становятся чрезмерно острыми. Исходя из этого, различают два пути инкубации и вспышки безумия: церебральный (мозговой) и нецеребральный; при этом оба они могут протекать как в острой, так и в хронической форме.

Острая церебральная инкубация, возникающая под воздействием активных факторов у субъекта молодого и впечатлительного, представляет собой не что иное, как раздражение мозга. Она характеризуется ощущением жара в голове, покраснением лица и глаз, головными болями, головокружением и спутанностью мыслей. Это состояние также может быть следствием острой церебральной болезни. Больные чувствуют, что вынуждены созерцать некие образы, кои неотступно их преследуют; образы сии сочетаются причудливым и чудовищным образом: тщетно разум силится их отвергнуть; они настойчиво возвращаются, и несчастный сознает, что они вот-вот предстанут пред ним как неоспоримая явь и лишат его последних остатков рассудка. Вторично он испытывает расстройство пищеварительных функций: жажду, отсутствие аппетита или же его чрезмерность, горечь во рту, жар и пульсацию в эпигастрии, сердцебиение и своего рода толчки в области сердца, приступы удушья, вздрагивания, внезапные испуги, бессонницу, неопишное беспокойство, грусть или же вспыльчивость, ярость, позывы к дурным поступкам — плод инстинкта, извращенного раздражением; позывы, коим он поначалу противится и коим уступает лишь тогда, когда окончательно теряет рассудок.

Хронический период созревания мозгового недуга отличается от вышеописанного лишь меньшей степенью интенсивности; зачастую он является следствием нравственных причин, действовавших менее остро, либо же зависит от меньшей силы, раздражительности и энергии кровеносной системы. Он часто длится по несколько месяцев и даже лет. Чаще всего подобное состояние наблюдается у людей со странным, оригинальным характером и ложными суждениями; у тех, кто склонен к уединению, всегда был скрытен и никогда не испытывал потребности в душевных излияниях или дружеских откровениях. Таких людей нередко даже считали в некотором роде безумными, хотя это слово и не употреблялось в его самом полном значении. Как правило, подобные умы, не настроенные в унисон с большинством людей, по народному выражению, «пребывают в постоянном брожении» — то есть слишком живо возбуждаются по причинам, которые почти не задевают окружающих, и находятся в состоянии непрерывного раздражения, незаметно ведущего их к помешательству. Как острая, так и хроническая формы церебральной инкубации (скрытого периода болезни) могут в равной степени быть следствием либо недостаточного, либо чрезмерного развития мозга, а также легкости или, напротив, затрудненности интеллектуальной деятельности. Тысячи обстоятельств могут приносить различия в степень интенсивности причин, провоцирующих перевозбуждение мозга.

При этой последней форме инкубации порывы безумия неоднократно подавляются разумом, который сопротивляется гораздо дольше, чем в случае, описанном ранее. Зачастую само безумие существует уже долгое время, прежде чем его распознают; ибо обычно это название дают лишь вспышке раздражения,

вызванной какой-либо случайной причиной, которая лишь сменяет привычное хроническое состояние состоянием острым или подострым.

Церебральная инкубация также может быть следствием раздражения мозга, проявлявшегося в форме, отличной от безумия: затяжные мигрени, повторяющиеся приступы прилива крови к голове, или апоплексические застойные явления, неполные параличи, склонность к каталепсии, экстазу, эпилепсии — всё это составляет совокупность причин, предрасполагающих к безумию и определяющих его. Само же оно может вспыхнуть либо в острой, либо в хронической форме, в зависимости от сил больного, а порой и в виде слабоумия — состояния еще более прискорбного, о котором речь пойдет далее.

Нецеребральная инкубация чаще всего носит гастрический (желудочный) характер. Речь здесь идет о больных, которых в просторечии именуют ипохондриками, и о некоторых из тех, кого принято называть меланхоликами. К мучающему их хроническому гастриту может присоединиться одна из вышеупомянутых церебральных предрасположенностей; в таком случае возникает двойное раздражение, которое ведет к ослаблению рассудка. Раздражение становится тройственным, если одновременно поражены половые органы, как это наблюдается у некоторых женщин, страдающих истерией и нимфоманией.

Признаки гастрита здесь проявляются так же, как и при изолированном течении болезни: чувствительность или боли в области эпигастрия и в глубине того или иного подреберья; газы, отрыжка пищей или с тухлым запахом (nidoreux); замедленное пищеварение; нерегулярные запоры и диареи; красный язык и прочие симптомы гастроэнтерита. К ним следует добавить множество более или менее невыносимых ощущений в голове, в органах движения и даже во внутренних частях тела. Все эти недуги терзают дух больных, располагают их к печали, к уединению, к непрерывным размышлениям о состоянии своих органов, к бессоннице, к чтению медицинских книг, к поиску тайных средств и услуг шарлатанов. Они воображают у себя любые болезни, о которых им доводится слышать; их осаждает множество мнимых страданий; время от времени они становятся жертвами галлюцинаций. Находясь в бодрствовании и при полном дневном свете, они мнят, будто слышат зовущие их голоса, чувствуют, как кто-то хватает их за волосы, и так далее. Сновидения их исполнены ужаса, и, даже пробудившись, они продолжают воображать, будто видят или слышат предметы, занимавшие их во время сна. Истерические женщины поначалу чувствуют мучительное ощущение жара и едкости в половых органах; у них часто наблюдаются бели, менструации нерегулярны, шейка матки воспалена, и если приподнять матку пальцем, нередко вновь возникает чувство удушья и ощущение комка, подступающего к горлу — верное доказательство того, что истерия не является заболеванием чисто мозговым, как то пытались утверждать. К этому состоянию часто присоединяются плотские желания, что составляет нимфоманию, к которой могут добавиться сожаления об утрате дорогого существа или горечь от невозможности обладать тем, кого желают.

Явления, соответствующие хроническому раздражению пищеварительных путей, могут сопутствовать — и действительно сопутствуют весьма часто — всей этой совокупности симптомов.

Все лица, находящиеся во власти этих различных рядов воспалительных и нервных расстройств, имеют предрасположенность к безумию. Когда же их бессонница и грезы наяву (галлюцинации) становятся преобладающими симптомами, они оказываются более чем предрасположенными к нему, их можно даже считать пребывающими в состоянии зарождающегося безумия — то есть в том состоянии, когда разум едва находит силы противиться внушениям чрезмерно деятельного воображения и неизбежно должен ему покориться. Наравне с ними следует рассматривать как уже лишившихся рассудка и тех, кто, вопреки формальной здравости суждений, изъясняется с крайней поспешностью; глаза их блестят, лицо горит румянцем, черты лица подвижны; они беспрестанно жестикулируют, суетятся и шагают стремительно, словно возбужденные вином или кофе. Подобные субъекты крайне вспыльчивы, и малейшего противоречия довольно, чтобы повергнуть их в состояние неистового помешательства, обычным предвестником которого, по мнению всех исследователей мании, и является подобного рода возбуждение.

Все те несчастные, коих долгие и глубокие горести, утрата состояния, уязвленное самолюбие или поруганная честь, истерзанная угрызениями совесть, затаенное отчаяние или тоска по родине, друзьям и всему, что им дорого, довели до состояния печали, тревоги и одиночества, обрекая на бледность и истощение, — все они неизбежно примыкают к тому двойному ряду явлений, картину коего я только что представил.

Дети до десятилетнего возраста редко бывают подвержены бредовому помешательству: они еще не обладают достаточным запасом идей или твердых убеждений, чтобы в них можно было заметить устойчивое расстройство рассудка. Те из них, кто наиболее развит в этом отношении, подвержены опасности более прочих. Однако если у других и не наблюдается бреда интеллектуального, то взамен при острых недугах у них всегда проявляется, если можно так выразиться, бред инстинктивный — то есть извращение вкусов, appetитов и привязанностей, проистекающее из тех же причин, что и бред в собственном смысле слова.

Женщины более предрасположены к безумию, нежели мужчины, что можно объяснить лишь их большей раздражительностью и меньшим развитием головного мозга, в особенности тех его областей, которые ведают интеллектуальными явлениями.

Отныне должно быть очевидно, сколь серьезна опасность перехода внешних воспалений на внутренние органы, избыточного употребления спиртных напитков, внезапных душевных потрясений, вспышек нетерпения, воздействия солнечных лучей на голову и даже влияния резкого холода на всех лиц, находящихся в

вышеописанных состояниях: следствием этого может стать внезапное обострение раздражения мозга, которое вызывает приступ яростного помешательства. Однако среди всех этих причин наиболее могущественными являются те, что проистекают из умственного возбуждения.

Встречаются случаи, когда безумие вспыхивает внезапно вследствие сильнейших, чрезвычайных душевных потрясений — например, из-за публичного оскорбления, нанесенного высокопоставленной особой, или же по причине прекращения менструаций. Словом, оно вызывается случайными факторами, которые стремительно воздействуют на нервные волокна головного мозга, не успев при этом глубоко изменить состояние сосудистой системы, вызвать лихорадку или пройти через одну из стадий инкубации, о которых мы упоминали выше.

Болезнь обнаруживает себя попросту экстравагантными выходками, изумляющими окружающих. Органы пищеварения на первых порах затронуты мало, и такое безумие носит характер скорее «нервный» и исключительно церебральный, нежели в обычных случаях; тем не менее, лежащее в его основе раздражение не является вполне независимым от явлений воспалительного характера. Впрочем, оно неизменно и в полной мере развивается в течение последующих нескольких дней.

Глава третья: Признаки безумия

Явное помешательство проявляется в нескольких формах; оно бывает острым или хроническим, общим или частичным и так далее.

Острая мания, или мания с возбуждением.

Она протекает с неистовством или без оно; в обоих случаях она носит общий характер и всегда является одновременно инстинктивной и интеллектуальной.

А. Острая неистовая мания представляет собой высшую степень безумия, наиболее близкую к френиту. Ее называют острым бредом; однако наивысшая степень активности бреда в целом свойственна острым воспалениям (флегмазиям) головного мозга, тогда как неистовая мания занимает лишь второе место по силе активного раздражения, будучи при этом способной к длительному течению, то есть являясь подострой. Это всегда высшая степень того, что именуется безумием: к ней восходят все прочие виды, когда больные сильно возбуждены, если только силы субъектов еще не истощены полностью. Безумцы в этом состоянии пребывают в постоянном движении, выкрикивают слова, раздражаются по малейшему поводу и даже без всякого подстрекательства, но намного сильнее, если с ними заговорить: достаточно начать беседу, чтобы их возбуждение вскоре достигло высшей степени.

Речь их бессвязна, глаза горят, а физическая сила кажется невероятной; их постоянно приходится сдерживать, ибо ими владеет непреодолимое желание крушить и уничтожать любые предметы, подворачивающиеся под руку. Они убили бы всякого, кто к ним приблизится, если бы над ними не брали верх. Некоторые из таких больных, чей приступ начинался внезапно, успевали лишиться жизни нескольких человек прежде, чем их успевали схватить и усмирить; другие же обращают свою ярость против самих себя, нанося себе удары холодным оружием или бросаясь с высоты — порой это становится их первым проявлением бреда. Пульс у них малый и сжатый, более или менее частый. Иногда ускорение сердцебиения едва заметно. Если им еще не делали кровопускания, лицо их выглядит багровым и отечным, вены вздуты; кожа на ощупь горячая, язык красный; наблюдается чувствительность — весьма, впрочем, неопределенная — в области эпигастрия, отсутствие аппетита, а иногда — желтоватый оттенок вокруг глаз. В этом плачевном состоянии они могут пребывать долгое время, обходясь без сна и пищи, не чувствуя холода, день и ночь выкрикивая ругательства и проклятия, они отчаянно силясь разорвать свои путы, и остаются крайне опасными, если им это удастся. Невозможно объяснить, как жизнь может поддерживаться при столь колоссальном расходе мозгового и мышечного напряжения, какой порой наблюдается у этих несчастных в течение двух, трех, четырех месяцев кряду, а иногда и более года.

Встречаются и такие, кто, будучи совершенно изнурен двумя или тремя месяцами добровольного воздержания от пищи, все еще обладает мускульной силой, соразмерной охватившему их безумному неистовству. На наш взгляд, это самая поразительная из всех форм мании ввиду неимоверной растраты нервной энергии; сие предполагает некое восполнение сил, источник которого остается непостижимым. Как вообразить, что хрупкая женщина, не принимающая никакой питательной пищи, может неделями оставаться полуобнаженной в самую суровую зиму, при слабом притоке крови к коже и малом, сжатом пульсе, не наживая ни простуды, ни ревматических болей? И тем не менее, именно это мы и наблюдаем; подобное явление можно приписать лишь чрезмерному возбуждению нервной силы, первопричина которого нам совершенно неизвестна. Не будем, однако, забывать, что у безумцев подобного рода голова всегда горяча, и, следовательно, именно нервно-сосудистому возбуждению головного мозга эти больные обязаны своей поразительной способностью противостоять воздержанию от пищи, холоду и боли. Поначалу удивляет та легкость, с которой без всякого лечения заживают наносимые ими себе ушибы и раны; однако, когда длительное нервное возбуждение окончательно истощает их силы, любое повреждение плоти легко переходит в гангрену.

Ярость подобных безумцев всегда обусловлена либо убежденностью в том, что на них нападают, их преследуют или покушаются на их жизнь — согласно неким вымышленным историям, своего рода романам, которые беспрестанно творит их воображение; либо же обликом, речами, угрозами и жестами воображаемых

существ, телесных или духовных, к которым они обращаются. Подобного рода иллюзии принято называть галлюцинациями. Большинство людей, предстающих перед взором этих несчастных, тотчас причисляются ими к числу врагов или гонителей; и именно в этом качестве безумцы стремятся принести их в жертву. Было бы ошибкой полагать, что они всегда лишены всякой способности к рассуждению: во многих случаях они говорят и действуют вполне последовательно, сообразно видениям своего воспаленного воображения; однако их умозаключения столь стремительны, что редко удается за ними уследить.

Тем не менее, благодаря признаниям, сделанным уже после выздоровления, иногда удается с уверенностью установить, что больные не всегда обосновывают свои дурные поступки доводами рассудка; зачастую они совершают их под влиянием произвольных органических или инстинктивных импульсов. Однако сей порок чаще встречается при менее порывистом помешательстве, нежели то, о котором шла речь выше.

В. Острая мания без неистовства

Вслед за неистойвой манией, сопряженной с возбуждением, следует выделить иную ее форму, при которой возбуждение также присутствует, но лишено ярости. Здесь, наряду с неудержимой потребностью в движении, выражающейся в постоянном хождении и жестикуляции, наблюдаются гиперемия лица, лихорадочный блеск глаз, жар в голове и поразительная способность противостоять голоду и усталости. Это свидетельствует о чрезмерной иннервации, преобладающей над работой органов пищеварения и мышечным аппаратом. Больным свойственно шумное многословие, которое, как и в предыдущем случае, неизменно зиждется либо на убежденности в ложных событиях (радостных или печальных), якобы имевших место в их жизни, либо на явлении и голосах мнимых существ, к которым они обращают свои речи (галлюцинации). Такие пациенты обычно содержатся в изоляции, но не стеснены путами, если только к прочим симптомам не присоединяются ярость и жажда разрушения, что иногда случается и под воздействием лишь чрезмерного раздражения.

Продолжительность этого состояния также весьма изменчива. У этих безумцев, как и у одержимых неистовством, часто наблюдается ряд господствующих идей, которые не всегда легко уловить; однако они, подобно последним, впадают в бессвязные рассуждения на любые темы. И хотя они узнают проходящих к ним людей, это не мешает им превратно судить о них, поскольку они причисляют их к предметам своего бреда и приписывают им прошлые поступки и речи, которые тем совершенно чужды. Они также одержимы манией «узнавать» людей, которых никогда прежде не видели, и вплетать их в свои вымыслы.

Хроническая мания.

Она бывает общей или частичной, инстинктивной или интеллектуальной, а зачастую и той, и другой одновременно.

Общая хроническая мания.

Речь идет о душевнобольных, чей бред обычно распространяется на все предметы, но при этом они не охвачены сильным возбуждением, как в предшествующих случаях. Эта форма безумия обычна для тех стадий, когда уже началось слабоумие; однако до наступления этого периода большинство безумцев находятся во власти какой-либо одной идеи или ряда идей и способны рассуждать о большинстве других предметов, когда они более не находятся в состоянии возбуждения, при условии, однако, что от них не требуют напряженного и длительного внимания.

Хроническая частичная мания, или Мономания.

Частичная мания — именовавшаяся меланхолией у древних авторов и у господина Пинеля и мономанией у доктора Эскироля — представляет собой наиболее обычное хроническое состояние маний как до, так и после периодов возбуждения, если только болезнь еще не перешла в стадию слабоумия. Мономании различаются между собой в зависимости от того, насколько больные способны здраво рассуждать о предметах, не относящихся к их обычному бреду, а также в зависимости от рода самого этого бреда. Существует немало мономанов, которые не могут поддерживать беседу на какую-либо тему, не возвращаясь к привычному кругу своих идей, с которыми они связывают все новые чувственные впечатления, хотя и воспринимают последние совершенно отчетливо. Такие больные занимают промежуточное положение между субъектами, страдающими общей манией, и «совершенными» мономанами с исключительным бредом, которые, подобно знаменитому герою Сервантеса, рассуждают здраво обо всем, что не имеет отношения к их господствующей идее. Мы еще увидим, существуют ли подобные им во всех отношениях.

Классификация мономаний представляет известную трудность, если стремиться к тому, чтобы она была содержательной и легко запоминающейся. Я попытаюсь соотнести их, с одной стороны, с инстинктивными и интеллектуальными способностями, а с другой — с более или менее болезненными ощущениями, равно как и с различными степенями раздражения внутренних органов.

1. Инстинктивные мономании, или основанные на искажении инстинкта и так называемых физических потребностей, с сопутствующим бредом или без него.

Мы питаем любовь или ненависть к людям и предметам: эти чувства могут быть извращены — иными словами, одни из них могут возбуждаться в ущерб другим; это и порождает всё многообразие различных мономаний. Я изложу их, придерживаясь классификации инстинктивных потребностей, установленной в «Трактате по физиологии, примененной к патологии», и упомянутой в первой части сего труда:

А. Искажение потребности в самосохранении.

Мономания самоубийства

Порой она проста и не сопровождается бредом, заключааясь лишь в безрассудном порыве или же основываясь, по крайней мере внешне, на той или иной частной боли; но, по сути, это *tædium vitæ* (отвращение к жизни) является следствием невыносимого тягостного состояния, наиболее частая причина которого кроется в дурном состоянии желудка. Впрочем, этот внутренний орган не единственный, кто подвержен раздражению; сердце и легкие поражены им одновременно. Очаг раздражения находится в нервно-сосудистых разветвлениях этих органов: оно отдается во всех соматических нервах, и именно воздействие всех этих тканей на головной мозг делает существование мучительным и властно толкает несчастных к самоистреблению. Все прочие мотивы — лишь предлоги. Однако следует четко отличать этот органический импульс к самоубийству от того, что вызван отчаянием по причинам морального толка или чисто интеллектуальным заблуждением. Мы еще вернемся к этому вопросу.

Иной вид извращения той же потребности порождает воображаемые болезни. Первую их степень мы уже отмечали — она наблюдается в период ипохондрического созревания безумия. Высшая же степень встречается у мономанов, которые мнят себя пораженными неизлечимыми болезнями, зараженными, гниющими или окруженными пожирающим пламенем; тех, кому воображение рисует стеклянные или деревянные ноги, металлическую голову, жалящих насекомых или змей, грызущих их внутренности; которые воображают, будто не способны ходить, так как их ноги слишком слабы или хрупки, и так далее. Все эти бредовые состояния основываются на восприятии некоего более или менее болезненного, а порой весьма слабого ощущения, относимого к тем органам, на которые больные жалуются. На почве этих ощущений извращенное воображение в часы бодрствования выстраивает целые романы, подобно тому как спящему астматику чудится скала, сдавливающая ему грудь, или монстр, стремящийся его задушить.

В. Извращение инстинктивной потребности в физической активности и отдыхе

Мы уже наблюдали, как потребность в движении и возбуждении достигает необычайной силы при неистовой мании. Это нарушение может стать преобладающим симптомом у некоторых мономанов. Другие же, напротив, не находят в себе сил привести в движение ни единую мышцу; они пребывают в

безмолвии и неподвижности, скованные невыразимым внутренним чувством, которое не зависит от состояния прилива крови к мозгу или паралича. Душевные привязанности также подвергаются искажению.

С. Извращение инстинктивной потребности в общении с себе подобными

Эта потребность служит источником чувства дружбы, благорасположения и сострадания. Чрезмерное усиление (экзальтация) этой потребности порождает бред, при котором больные беспрестанно сокрушаются о том, что лишены возможности видеть дорогих им людей; они плачут и стенают, умоляя вернуть их. Однако, когда те предстают перед ними, больные не уделяют им никакого внимания и говорят о них так, будто те отсутствуют — хотя и узнают их, — приписывая им воображаемые речи или поступки.

Извращение этой потребности в противоположную сторону влечет за собой жестокость, страсть к разрушению и безотчетное — порой даже осуждаемое самим страдальцем — влечение причинять мучения и убивать тех, кого он любит более всего. Подобное извращение часто сопутствует склонности к самоубийству. Причины этого неизменно кроются в раздражении триспланхического аппарата, и в особенности желудка (признаки коего были изложены выше), воздействующем на мозг. Сам этот орган в силу своего естественного устройства может иметь предрасположенность к жестокости; однако в болезненном состоянии именно тягостное чувство (*malaise*), охватывающее всю совокупность внутренних органов, включая и сам мозг, делает мысли об убийстве преобладающими вопреки доводам рассудка. Эту извращенность, равно как и склонность к самоубийству (А), можно рассматривать как своего рода хронический гнев или ненависть, которые направлены то против нас самих, то против окружающих людей и предметов. Мы уже наблюдали её в подострой форме при неистовом помешательстве, тогда как в том проявлении, которое мы описываем сейчас, она носит исключительно хронический и безлихорадочный характер. В самом деле, она может быть крайне упорной и таиться под личиной спокойствия, радости или благожелательности до тех пор, пока больные не найдут подходящего мгновения для исполнения своего ужасного замысла. См. все трактаты о мании, и в особенности обширное и важное примечание, которое доктор Эскироль, первейший из ныне живущих знатоков душевных болезней, недавно добавил к переводу Гоффбауэра.

При средней степени раздражения мономаны, чувствующие в себе зарождение этой неприязни к подобным себе, осуждают эти чувства и глубоко ими сокрушаются. Встречаются безумцы, и в особенности безумные женщины, которые пребывают в отчаянии от того, что более не любят своих супругов, детей и близких, и которые по одной этой причине почитают себя недостойными видеть свет дня.

В самой легкой своей степени это извращение проявляется как угрюмость, нетерпеливость и отвращение к определенным лицам — состояние, которое столь

часто встречается у многих детей разных возрастов, а также у взрослых, чей властный нрав, неблагодарность и эгоизм, до поры искусно скрываемые, обнаруживают себя при малейшем болезненном расстройстве и, в особенности, при раздражении органов пищеварения.

Несчастные, подпавшие под власть этого пагубного влечения, также находят предлоги для оправдания своих злодеяний: порой это некий голос, повелевающий им совершить убийство, в иных же случаях — сам Бог. Некоторые мнили, будто на них возложена миссия спасения человечества через «кровавое крещение»; другие же утверждали, что обеспечивают спасение собственным детям, полагая, что превращают их в ангелов, перерезая им горло. Как правило, их ярость направлена на тех, кто им дороже всего; когда же убийство совершено, они либо холодно созерцают своих жертв, либо отвлекаются на что-то иное — в зависимости от характера бреда, сопутствующего убийственной мономании. В тех случаях, когда бред ограничивается исключительно импульсом к убийству, они либо лишают себя жизни в порыве отчаяния от содеянного, либо добровольно сдают в руки правосудия. Встречаются и такие — но это люди, пребывающие в глубоком помешательстве, — которые утверждают, будто лишили жизни другого человека лишь для того, чтобы принять на эшафоте ту смерть, которую им не хватило мужества причинить себе самим, и найти в задержках судопроизводства время для примирения с Богом. Однако очевидно, что в большинстве случаев подобные мотивы внушаются им тем ужасным висцеральным недомоганием, о котором я уже упоминал, и тем колоссальным влиянием, которое оно оказывает на волю.

Несомненно также и то, что определенные формы раздражения головного мозга могут изначально обуславливать эти две разновидности мономании; но даже в таких случаях влияние больного мозга вызывает последующее раздражение в поддиафрагмальном нервном аппарате. Ибо все авторы сходятся во мнении, признавая сопутствующее раздражение пищеварительных путей при мономаниях, толкающих к убийству и самоубийству.

D. Извращение инстинктивной потребности в питании

Мономания, побуждающая к поеданию необычных, а порой и крайне отвратительных вещей, таких как земля, уголь, мел, черви, насекомые, навоз, экскременты и т. д.

Первая степень этой мономании встречается у некоторых больных хлорозом при раздражении желудка, а также при некоторых формах гастрита у мужчин. В домах для умалишенных это состояние нередко сопровождается бредом; тем не менее, раздражение желудка остается вполне реальным. Оно проявляется в форме булимии, то есть болезненного возбуждения пищеварительной способности; ибо эти безумцы-какофаги на первых порах не испытывают ни малейшего неудобства от тех нечистот, которыми им угодно себя пресыщать.

Потребности в извержении, следующие за потребностями в поглощении, также подвержены извращению: многие безумцы находят удовольствие в том, чтобы мараить себя при удовлетворении этих нужд, что часто совпадает с позывом поедать свои экскременты, пить свою мочу и т. д.

Е. Извращение инстинктивной потребности к продолжению рода

Эротические мономании различных родов. Одни терзаемы приапизмом или нимфоманией, и все их слова, равно как и поступки, направлены лишь к удовлетворению их порочного влечения. Другие же становятся жертвой страсти чисто нравственной: примеры подобного рода эротизма являют собой преимущественно женщины кроткого и меланхолического нрава, к тому же прекрасно воспитанные. Они пребывают в вечном созерцании совершенств обожаемого предмета; им кажется, что они видят его, слышат его, осязают его; они обращаются к нему с нежными словами, то произнося их жизнерадостным тоном, то с глазами, полными слез; они непрестанно испускают стенания и кажутся близкими к смерти от горя, вызванного его отсутствием. И всё же они встретили бы его с крайним хладнокровием, предстань он перед ними наяву — узнали бы они его или нет, ибо и то, и другое равно возможно. Находясь во власти занимающих их призрачных образов, таковые больные в своем сознании не отводят должного места людям, предстающим перед их взором. Зачастую у них есть к тому и желание, и намерение, как мы увидим позже, — в особенности когда речь идет о тех, кто за ними ухаживает; однако внутренний вихрь их болезненного воображения, кажется, увлекает за собой все чувственные впечатления, смешивая их с химерами, из которых он и состоит. Все мономаньяки с преобладающим, но не исключительным кругом идей находятся в подобном состоянии и в этом отношении сходны с теми, кто пребывает в состоянии общего безумия. Посему я более не стану упоминать об этом, разбирая те виды мономании, о которых мне еще предстоит поведать.

2. Мономании интеллектуальные, или основанные на извращении нравственных потребностей и на преобладании одной идеи или ряда усвоенных идей

Потребность в наблюдении, проявляющаяся у нас вслед за удовлетворением так называемых физических потребностей, благодаря постоянному упражнению становится настолько преобладающей, что часто определяет поступки, прямо противоположные некоторым из этих нужд. Она развивается — как мы уже доказывали в нашей «Физиологии» и в первой части настоящего труда — одновременно с внутричерепными нервными аппаратами, специально предназначенными для деятельности интеллекта. Именно эта потребность доставляет нам все те идеи, что возникают при восприятии тел, находящихся вне нас, то есть посредством внешних чувств. Благодаря удовольствию, которое мы находим в созерцании всех природных тел, и внутреннему удовлетворению, испытываемому при открытии того, что представляется нам естественной связью

вещей или истиной, мы обретаем страсть к интеллектуальным трудам. Эта страсть тем сильнее, чем более развиты наши органы интеллекта; однако, что бы мы ни предпринимали, нам никогда не удастся полностью отделить восприятия, порожденные инстинктивными потребностями, от тех, что зависят от потребности во внешнем наблюдении. Именно поэтому первичные извращения инстинкта влекут за собой расстройства интеллекта — факт, который только что был установлен в первом разделе, посвященном формам безумия; по этой же самой причине мы увидим, как инстинкт последовательно извращается при мономаниях интеллектуального происхождения.

А. Мономания, основанная на самодовольстве.

Если удовольствие (физическое ощущение), сопутствующее удовлетворению самим собой, является главным мотивом наших усилий по развитию интеллектуальных способностей, то болезненное превознесение этого удовольствия должно составлять основную форму мономании интеллектуального происхождения — мономанию горделивости. Именно это наблюдается у множества тех, кто лишается рассудка вследствие чрезмерных трудов и ученых занятий, — будь то по причине успехов, раздувавших их тщеславие, или же из-за отчаяния перед лицом непреодолимых трудностей. Однако мы черпаем тщеславие не только в интеллектуальном богатстве. Человек гордится своей силой, молодостью, здоровьем, красотой, состоянием, властью, воинскими подвигами — словом, всем тем, что он находит в себе сопоставимым с достоинствами других людей. Если человеку и не всегда дано вкусить радость триумфа, он, по крайней мере, жаждет её и тешит свое воображение наслаждениями, которые мог бы получить в тех «воздушных замках», что он неустанно возводит. Рассматриваемые нами мономании суть не что иное, как воплощение тех самых воздушных замков. У одних это происходит оттого, что их самолюбие было удовлетворено; у других же — оттого, что оно было уязвлено и подавлено. Первые, впадая в безумие, лишь продолжают грезить о счастье, к которому стремятся, — о возможности превозноситься собственными достоинствами. Вторые же, после множества унижительных для их гордости преград, предаются этим грезам со всей вольностью, едва лишь избавившись от навязчивого разума.

Заметьте, однако, что этот бред счастья, этот рай горделивых безумцев, может сохраняться лишь до тех пор, пока он не будет разрушен болезненными ощущениями, возникающими в важнейших внутренних органах.

Разновидности мономании, основанной на самодовольстве или моральном удовлетворении, многочисленны. Вот наиболее распространенные из них: природа бреда определяется убеждениями, почерпнутыми из воспитания, зрелищами, разворачивающимися перед глазами, и тому подобным.

Суть этих мономаний заключается в том, что больной воображает себя богом — будь то христианским или языческим (несомненно, безумцы-мусульмане часто принимают себя за Магомета); или же считает себя духом, ангелом, демоном или гением; он может воображать себя королем, папой, императором, принцем крови, героем, знатным вельможей, богачом, облеченным властью или ученым; верить, будто совершил великие открытия, и тому подобное. Мономаны перенимают язык, тон, осанку и жесты персонажей, которых они из себя представляют; они столь совершенно копируют достоинство властителей, что их можно было бы счесть воспитанными у самого подножия трона. Это, по-видимому, доказывает, что сии люди еще в здравом состоянии глубоко обдумывали ту роль, которую ныне играют в своем безумии.

В других случаях удовлетворение чувства самолюбия проявляется через внешние признаки того, что именуют тщеславием. Один важно расхаживает, желая заставить окружающих восхищаться своей грацией; другие, особенно женщины, стремятся украсить себя, видя драгоценные наряды в самых грязных лохмотьях, а ювелирные украшения — в любых кусках дерева или металла, которые им удастся раздобыть.

В. Мономания, основанная на недовольстве собою

Мы помещаем её здесь, поскольку она представляет собой извращение того же самого чувства, но в противоположном направлении. Те, кто поражен этим недугом, считают себя униженными, презираемыми, преследуемыми по справедливости; они мнят себя виновными в тягчайших злодеяниях, заклеяемыми, приговоренными судом, обещенными и недостойными жизни. Если их разум прежде был чрезмерно занят религиозными помыслами, они воображают себя предметом гнева небесного, мнят, будто их преследует дьявол, что он вселился в их тело, или что они уже погружены в пучину адского пламени. У некоторых наблюдаются судороги и вопли, образ которых они почерпнули из картин, книг и проповедей, изображающих одержимых и проклятых: именно это состояние называют демономанией. Фанатизма и ужаса, охватывающего людей со слабым рассудком при виде конвульсий мнимого бесноватого, оказывается достаточно, чтобы породить в них тот же бред. Именно так демономания получила широкое распространение и стала в некотором роде заразной в Средние века; при этом чаще всего подобные примеры являли женщины.

Нетрудно представить себе все те речи, что ведут, и те позы, кои принимают различные безумцы этой категории, в зависимости от того, каким именно бедствием, по их мнению, они поражены. Один в ужасе устремляет неподвижный взор на врага или монстра, его преследующего: глаза его дики, лицо безобразно искажено, волосы стоят дыбом; зрелище это внушает содрогание. Другой прячется; третий испускает стоны; четвертый пребывает в безмолвии и оцепенении. Мне известна одна безумная, чья навязчивая идея состоит в убеждении, будто она

разорена; вследствие этого она пребывает в глубочайшем унижении. Она желает облачаться лишь в рубище, есть из деревянных мисок оловянной ложкой и ходить босоногой. Лицо ее выражает скорбь, на глазах всегда стоят слезы; она почти никогда не говорит, поскольку те, кто за ней ухаживает, отказываются верить в её мнимое разорение.

У всех мономанов этого разряда наблюдается сильное и стойкое раздражение пищеварительного тракта, и признаки его вполне очевидны. Однако это раздражение может быть порождением самих мрачных мыслей.

Мы только что видели, как идеи, воспринятые чувствами и ставшие волею случая преобладающими, влекут за собой нарушение внутреннего довольства или того побуждения, которое поддерживает в нас способность к наблюдению. Рассмотрим теперь случаи мономании, при которых иные ряды усвоенных идей становятся господствующими и доставляют удовольствие или причиняют страдание, но при которых расстройство вышеупомянутой потребности не является главенствующим.

С. Веселые мономании

К первому виду относятся мономаньяки, которые без гордыни и тщеславия кажутся веселыми, довольными, вечно смеющимися и счастливыми — либо оттого, что мнят себя обладателями богатств, власти и высоких чинов, полагая, будто приносят счастье любому, кто к ним приближается; либо же оттого, что они пребывают в добром согласии со сверхъестественными существами, чье покровительство осыпает их всевозможным блаженством, или же воображают, будто уже вкушают радости мира чисто духовного.

Д. Печальные мономании

Ко второму разряду я отношу все виды печальных мономаний, в которых, однако, отсутствует унижение уязвленного самолюбия. Сие различие крайне важно, поскольку висцеральные ощущения в подобных случаях не столь мучительны, как при скорбном бреде, сопровождаемом чувством стыда и вины. Все мономаньяки этой группы полагают себя несправедливо преследуемыми, гонимыми, разоренными или осужденными человеческим правосудием; либо же они мнят себя отданными на растерзание свирепым зверям, видят себя беглецами, покинутыми всеми, лишенными средств к существованию — словом, несчастными во многих отношениях, но, по крайней мере, довольными собой. Они не одержимы всеми этими идеями одновременно, но пребывают в плену той или иной из них, приноровленной к особым обстоятельствам, которые занимают их мысли исключительно. Это — меланхолия древних, или липемания Эскироля.

Сюда же следует относить мономании корыстолюбия, ибо они заключаются в болезненном преобладании ряда идей скорее печальных, нежели радостных. Если

скупец и ведает наслаждение, то лишь в отдаленной перспективе либо при созерцании своих сокровищ; однако сия радость отравлена страхом потери, и именно сей страх составляет господствующее чувство.

Не считая себя виновными, безумцы сего рода не воображают, будто одержимы дьяволом; однако они могут, подобно святому Антонию, страшиться его искушений и расставленных им сетей. Все таковые мономаньяки более или менее печальны, но не доведены до отчаяния, подобно тем, кто мнит за собой тяжкие грехи и почитает себя недостойным видеть свет божий.

Е. Сложные мономании

Следует выделить и третий вид для мономаний, основанных на ряде сложных идей, кои по своей природе способны возбуждать попеременно радость и грусть, надежду и отчаяние, гордыню и унижение, страх и ответный порыв, именуемый гневом и т. д. Подобные ряды идей преобладают попеременно в тех различных жизненных обстоятельствах, когда человек охвачен тем, что именуют честолюбием, ревностью, завистью и, прежде всего, фанатизмом — своего рода чувством, которое питается гордыней, гневом, завистью и всеми наиболее разрушительными эмоциями, порожденными интеллектуальными причинами. Эти различные последовательности идей служат скорее причинами безумия, нежели становятся непосредственным предметом бреда помешанных. Это означает, что люди, лишившиеся рассудка под их влиянием, в болезненном состоянии не сохраняют эти идеи в той же сложности, какая была им присуща в здравии. Как правило, у безумцев, не пребывающих ни в состоянии возбуждения, ни в состоянии глубокого слабоумия, господствует некая навязчивая идея (*idée fixe*). Происходит это потому, что болезненное состояние головного мозга воспроизводит один и тот же ряд мыслей, пока орган находится в неизменном режиме, а больной лишен поддержки разума, которая позволила бы ему отвергнуть этот ряд или же вызвать в памяти и сопоставить несколько последовательных воспоминаний с текущими впечатлениями.

Тем не менее, поскольку подобное состояние всё же может иметь место, по крайней мере в некоторых своих нюансах, следует допустить существование вида, который я определяю здесь как сложную мономанию, — то есть основанную на преобладании ряда идей, которые порождают последовательно противоположные ощущения.

Ф. Интеллектуальные мономании без преобладания приятных или тягостных внутренних эмоций

Вслед за мономаниями, в которых господствующую роль играют удовольствие и страдание морального — то есть интеллектуального — происхождения (хотя вызываемые ими эмоции и носят подлинно висцеральный характер), я помещаю те, при которых усвоенные идеи, сделавшись преобладающими, не причиняют ни

радости, ни горя, по крайней мере в степени, достаточной для того, чтобы стать прискорбным осложнением. Такого рода мономании представляют собой лишь более или менее удивительные странности, которые скорее забавляют зрителей, нежели огорчают их. К их числу относятся случаи, когда больной верит, будто он превратился в собаку, волка, кошку или иное животное, и начинает подражать их крикам и повадкам; или же воображает себя превращенным в камень, бутылку, горчичное зерно и так далее. Подобного рода превращения бесчисленны. Иногда они основываются на определенных изменениях, произошедших в телесных функциях. Так, безумец, ставший бессильным вследствие мастурбации, воображает, что превратился в женщину, и стремится перенять её голос и одежду. Ноги...

Стеклянные ноги, картонные животы, отрубленные головы и вырванные сердца; мнимое зловоние всего тела, впадающего в состояние распада (*deliquium*); духи и призраки, порхающие подобно мухам вокруг несчастных; лилипуты, тысячами взбирающиеся по ногам безумца, которому кажется, будто с каждым шагом он давит их дюжинами, — эти и иные причуды подобного рода могут проистекать из мучительных ощущений. Однако ощущения эти недостаточно сильны, чтобы болезнь можно было счесть имеющей инстинктивное происхождение. В подобных случаях неизменно обнаруживается преобладающее раздражение мозга, которое с упорством воспроизводит одни и те же идеи в ущерб как памяти о прежних представлениях, так и текущим впечатлениям.

К этой же категории следует отнести всех тех безумцев, что одержимы манией постоянно совершать определенные движения — будь то в жестах или при ходьбе; тех, кто упрямо твердит одни и те же слова или же хранит молчание в течение долгого времени, порой годами; а также тех, кто всецело отдается какому-либо одному роду занятий: механике, письму, описанию растений или животных, химии, астрономии, топографии, сочинительству, стихосложению и так далее. Разновидности этих мономаний столь многочисленны, что в их классификации можно было бы окончательно запутаться, если бы не ограничивались их соотношением с поражением интеллекта и преобладанием ряда усвоенных идей, обусловленных постоянным характером церебрального раздражения, при отсутствии серьезных нарушений как первичных инстинктивных потребностей, так и особой потребности, понуждающей нас к наблюдению и сравнению.

Поскольку мономании зависят от характера раздражения мозга, и характер этот может меняться, сами мономании также претерпевают изменения: многоречивый безумец становится совершенно молчаливым, и наоборот. На смену печали может прийти веселость; фраза, повторяемой долгое время, — иная фраза; одной позе — другая и так далее: для каждого из этих состояний безумия не существует строго определенной длительности.

Тщетно нас уверяют, будто некоторые мономаньяки сохраняют полную рассудительность во всем, что не касается круга их преобладающих идей. Они могут

здро̀во рассу̀ждать о простых вопросах, связанных с физическими потребностями и повседневными делами; однако, по свидетельству лучших наблюдателей, ни один из них не способен поддерживать серьезную беседу, требующую внимания и дискуссии, или изложить письменно какой-либо вопрос морали или философии — будь то общего или частного характера — без того, чтобы вновь впасть, по меньшей мере, в противоречия. Это факт, о котором не следует забывать: совершенных Дон Кихотов не существует, и, что бы ни говорили, тот, кто не способен здраво рассу̀ждать о столь важном предмете, как его собственное положение в обществе, не в силах верно применить разум и к любому иному вопросу первостепенной важности. Таким образом, эти мономаньяки — истинно безумные, в чем можно убедиться, принудив их к логическому рассу̀ждению; тогда обнаруживается, что их мысли становятся бессвязными и спутанными, либо же они впадают в раздражение, переходящее в общее помешательство. Наименьшая степень безумия, которой они могут быть подвержены, — это то состояние, при котором различные инстинктивные потребности, подробно описанные нами ранее, изменены лишь незначительно. Это позволяет занимать таких больных некоторыми видами ручного труда, которые не требуют напряженного внимания и лишены сложных интеллектуальных комбинаций, как то: механическое ремесло; садоводство; простые игры; музыка; повседневные хлопоты по дому или на производстве. Подобные занятия возможны лишь при условии, что на больного не возлагается никакой серьезной ответственности.

Следует также заметить, что даже при мономаниях, которые кажутся наиболее ограниченными, неизменно наблюдается извращение аффективных чувств, которые были наиболее долго и сильно вскармливаеть больными; я имею в виду любовь к их близким. Так и должно быть; ибо эти субъекты, подобно страдающим общим помешательством, безумны лишь потому, что находятся во власти ложных восприятий, которые поглощают всё их внимание и не позволяют им отвести должное место реальным впечатлениям, поступающим через органы чувств, равно как и воспоминаниям о прежних восприятиях. Именно поэтому они забывают своих родных или даже начинают ненавидеть их как своих преследователей. Первым же признаком выздоровления становится возвращение так называемых сердечных привязанностей и признательность за те заботы, которым выздоравливающие обязаны своим исцелением.

Если бы мы судили лишь по поступкам, которые совершают безумцы вследствие расстройства их интеллектуальных способностей, мы бы порой крайне неверно классифицировали их мономании. Пример: Больной, воображающий себя императором Австрии, слышит от своего врача, желающего подчинить его своей воле, что тот — император Китая. С этого мгновения он верит, что врач явился свергнуть его с престола, и принимает решение застигнуть его врасплох и убить, дабы сохранить свою корону. В данном случае мы имеем дело со случайным убийством, не обусловленным убийственной мономанией. Бредящие безумцы могут

иметь тысячи подобных мотивов для убийства окружающих или самоубийства, при этом моноomanия убийства вовсе не обязательно является их преобладающим недугом. Один разит в лице своего друга демона или преследующее его чудовище; другой пронзает себе сердце, дабы избежать позора эшафота, который, согласно его бреду, ожидает его, и тем самым спасти честь семьи; третий поджигает собственный дом, ибо верит, что тот превратился в вертеп разбойников, и так далее. Отсюда вытекает необходимость тщательного поиска мотива, побудившего обвиняемого к действию, — не только для решения вопроса о виновности, но и для определения очага болезни и выбора наиболее эффективного лечения.

Подобно тому как страсть, породившая безумие, не всегда остается господствующей после утраты рассудка, так и моноomanия порой меняет свой характер; это предполагает изменения, происходящие в поражении различных больных органов. Однако подобные перемены суть лишь вариации и отклонения в течении одной непрерывной болезни. Иначе обстоит дело со следующим видом.

Периодическое помешательство

Все описанные выше формы душевных расстройств могут носить прерывистый характер и повторяться периодически до тех пор, пока вызывающее их раздражение не привело к патологическим изменениям в структуре мозга и органов брюшной полости; именно это и составляет суть перемежающегося безумия. Некоторые его виды возвращаются по несколько раз в год, другие же проявляются лишь единожды в определенные сезоны — например, весной или осенью. Одна дама на протяжении тридцати лет страдает от ежегодных приступов помешательства, длящихся по три или четыре месяца. Иногда их начало задерживалось на срок от двух до четырех месяцев, однако ни разу интервал между ними не превышал шестнадцати месяцев. Предчувствуя возвращение недуга, она сама отправляется в лечебницу, где ее запирают на время припадка. По ночам она видит перед собой самые трагические сцены Революции, свидетельницей которых была когда-то: ей являются палачи; она, как и в прежние годы, чувствует себя окропленной кровью жертв; она впадает в неистовство, предается отчаянию и кричит во весь голос. Но стоит лишь заняться рассвету, как характер ее бреда меняется: она становится веселой, часто ведет себя непристойно и даже грубо. Вечером сцены ужаса возвращаются — и так продолжается на протяжении всего приступа. Она неизменно ведет одни и те же речи, изрыгает те же ругательства и обращается к тем, кто за ней ухаживает, в одних и тех же выражениях; словом, на протяжении столь долгого времени в этой периодической мании всё повторяется с неизменной точностью. Едва приступ заканчивается, эта дама, вновь обретя рассудок, возвращается к себе домой. При этом она несколько не теряет памяти о том, что говорила или делала, и наслаждается полнейшим здравомыслием до следующего рецидива. Во время предвестников её последнего приступа в 1827 году она получила известие о кончине своего супруга, с которым долгое время жила в разлуке. Приступ был прерван этим

потрясением, однако два месяца спустя болезнь вернулась и протекала обычным чередом.

Глава четвертая: Течение, продолжительность, осложнения и исход помешательства

Помешательство, подобно всякому иному неспецифическому раздражению, не имеет течения, не зависящего от модифицирующих факторов, равно как и строго определенной длительности, свойственной, к примеру, оспе или кори. Оно может быть излечено внезапно: либо благодаря средствам врачебного искусства; либо самой природой, восстанавливающей какую-либо функцию (например, менструации, прекращение которых послужило причиной недуга) или преобразующей помешательство в иное заболевание; либо волею случая, когда болезнь рассеивается под воздействием сильного душевного потрясения. Последнее возможно, пока отсутствует воспалительный процесс и пока мозговое вещество не подверглось органическому разрушению, — состояние, которое может сохраняться весьма долго. Болезнь также может тянуться неопределенно долго без какого-либо улучшения или лишь с временными ремиссиями, заканчиваясь в итоге слабоумием. Именно так и происходит в большинстве случаев, когда против недуга не было предпринято действенных мер в самом его начале.

В настоящее время мне надлежит обратиться к описанию течения безумия, над которым усилия медицины не одержали победы в короткий срок.

После того как воспалительные симптомы были смягчены врачебным искусством, больные продолжают пребывать в бреде, свойственном их состоянию: это может проявляться как в общем помешательстве, так и в частичном, сосредоточенном на одном и том же предмете, либо же в постоянной смене образов и тем в течение более или менее длительного времени. Продолжительность этого периода крайне изменчива. Некоторые пациенты исцеляются в различные сроки на протяжении первых двух лет, даже находясь под наблюдением практиков, чьи методы лечения являются наименее активными. Известны случаи возвращения к рассудку после десяти и даже двадцати лет душевного отчуждения, что доказывает способность мозга сохранять свою целостность в течение долгого времени у некоторых исключительных субъектов. Подобное наблюдение применимо и к ряду других внутренних органов, однако это вызывает меньше удивления, нежели когда речь идет о столь нежной животной субстанции, как мозговое вещество. Как правило, маниографы мало надеются на выздоровление по прошествии второго года болезни (Эскироль); наиболее же обычный срок излечения составляет от пятидесяти до ста пятидесяти дней.

В тех случаях, когда безумцы не возвращаются к рассудку, они неизменно впадают в слабоумие и общий паралич, если только какое-либо сопутствующее заболевание не сократит их дни; ибо безумцы подвержены всем тем же недугам, что и прочие люди. Поскольку способностью противостоять холоду они обладают лишь в периоды возбуждения, а мер для их защиты от него принимается недостаточно, они крайне страдают от его воздействия. Это становится причиной плевритов, перипневмоний и перикардитов, способных унести их жизнь в считанные дни; отсюда же проистекает постоянный застой в легких, сопровождающийся бронхитом, что рано или поздно может привести к печальным последствиям. По той же самой причине большинство умалишенных страдают от ревматических и подагрических болей, которые могут сделать их совершенно недвижимыми или же, внезапно прекратившись, смениться удушающими расстройствами желудка, легких или сердца. Острые гастроэнтериты и перемежающиеся лихорадки также не щадят больных, часто возникая из-за сырого холода в их жилищах. Однако из всех превратностей наиболее грозной, ввиду своей стремительной летальности, является прилив крови к мозгу: он вызывает внезапную кончину и часто проявляется во время эпилептического припадка. Многие из них также погибают от легочной чахотки; однако большинство погибает от хронического энтероколита, ибо предрасположенность к острым гастроэнтеритам не может сохраняться бесконечно. Этот недуг заявляет о себе диареей, сопровождаемой коликами, что ввергает больных в состояние маразма (крайнего истощения) с признаками лейкофлегмазии и легким выпотом в брюшину.

Помешанные не достигают столь глубокой степени истощения, не протрадав прежде долгое время от хронического поражения верхних отделов пищеварительного тракта. Чаще всего они почти не жалуются на это; однако распознать их гастродуоденит можно по желтушному оттенку конъюнктивы, слизистому и желчному налету на языке, резистентности в правом подреберье, где зачастую выступает край печени, а также по более или менее тупой боли, возникающей при давлении на эпигастрий и под область правых или левых ложных ребер. Именно после долгого течения этого состояния, которое не всегда препятствует больным принимать пищу, появляется диарея, которой иногда предшествуют отеки лодыжек и легкая флюктуация в брюшной полости.

Если субъекты, не излечившиеся от безумия, имеют участь избежать этих болезней, они могут достичь весьма преклонного возраста в состоянии мании; однако они никогда не являют собой примера исключительного долголетия, ибо они окончательно и бесповоротно больны, а достичь глубокой старости способны лишь те, кто в течение долгого времени отличался добрым здоровьем. Известны случаи, когда больные жили в подобном состоянии более тридцати лет. На протяжении этого долгого периода множество причин оказывает влияние на их бред, и у некоторых из них наблюдаются светлые промежутки. Всё, что вызывает у них раздражение, усиливает беспорядок в мыслях и ведет к возвращению состояния

возбуждения, ярости и общего бреда, если только он не носит постоянный характер. Весна, осень, сильный зной, резкие и пронизывающие холода — вот обыкновенные причины подобных обострений. Замечено также, что атмосферное электричество сильно возбуждает их и даже грозит приливами крови к мозгу, если больные находятся в состоянии полнокровия; все такие пациенты либо с самого начала, либо со временем становятся крайне чувствительны к любым переменам погоды. Огорчения, споры или даже просто горячие дискуссии, многочисленные визиты, зрелище шумных собраний, слишком рано предоставленная свобода, употребление вина, спиртных напитков и любых летучих возбуждающих средств — всё это неизменно приводит их в сильное волнение и препятствует исцелению. То же самое относится и к неуместно назначаемым тонизирующим средствам, и вообще всем раздражающим средствам, которые могут быть предписаны в рамках ошибочной медицинской системы, за исключением тех случаев, когда они противопоставляются внезапным состояниям слабости, природа которых будет уточнена ниже.

Безумцы нередко предаются одиночным излишествам, которые оказывают мощное влияние на течение их болезни, вызывая сильное возбуждение сердца и провоцируя приливы крови к головному мозгу. Эта причина является одной из тех, что способствуют развитию у них аневризмы сердца и эпилепсии — одного из самых пагубных осложнений, способных поразить таких больных.

Как я уже отмечал, слабоумие и прогрессивный паралич становятся уделом тех душевнобольных, кто не достиг исцеления и не погиб от упомянутых выше осложнений. Рассмотрим теперь, как проявляются эти недуги, и обратимся к частному описанию слабоумия, представляющего собой последнюю разновидность безумия.

Слабоумие и прогрессивный паралич

Оно заявляет о себе тремя рядами явлений, соответствующих трем великим функциям головного мозга: (1) Утратой интеллектуальных способностей; (2) Утратой мышечных движений; (3) Утратой функций органов чувств. Первая из них составляет то, что маниографы условились именовать деменцией; вторая же и третья с давних пор носили название параличей. Посему мы объединим с историей деменции, составляющей последний вид безумия, факты, относящиеся к общему параличу.

Осложнение эпилепсией ускоряет появление деменции, которая также может начаться без предшествующего помешательства, будучи следствием и прямым результатом самой эпилепсии. В самом деле, безумие не обладает исключительной привилегией порождать деменцию.

Мы видим, как последняя следует за упорными головными болями, за продолжительными умственными трудами, ночными бдениями, чрезмерным напряжением памяти, повторными апоплектиформными приливами крови и приступами паралича. Мы наблюдаем, как она постепенно развивается у лиц, оставшихся гемиплегиками или лишившихся некоторых чувств после того, как они перенесли один или несколько апоплексических ударов. Она также развивается у тех, кто страдает частичными параличами — будь то органов чувств или определенных мышц — без предшествующих полных приступов апоплексии с гемиплегией или же приступов без гемиплегии, за которыми некоторые авторы сохраняют название «кровоной удар». Наконец, деменция проявляется под воздействием преклонных лет у лиц, чье устройство головного мозга несовершенно или же тех, кто злоупотреблял этим органом.

Мы уделили пристальное внимание той разновидности слабоумия, которую называют старческой, и заметили, что она особенно часто наблюдается в семьях, где конституция мозга не отличается крепостью и где также встречаются душевнобольные в молодом возрасте. Это подлинное хроническое раздражение головного мозга, носящее в большей или меньшей степени воспалительный характер. С раздражением мозга дело обстоит так же, как и с раздражением других органов: среди лиц, рожденных с предрасположенностью к хронической пневмонии, гастриту или суставным воспалениям, самые слабые, наиболее впечатлительные или подвергавшиеся наибольшему возбуждению заболевают в молодости; тогда как наиболее крепкие и менее подверженные раздражению впадают в болезнь лишь в старости, когда время берет верх над их жизненным сопротивлением. Эта истина была бы безутешной, если бы не существовало некоего среднего пути, открытого для тех, кто умеет следовать правилам гигиены, дабы избежать воздействия определяющих причин.

Слабоумие проявляется по-разному, в зависимости от того, является ли оно простым или осложненным помешательством либо общим параличом. Самое простое из них — слабоумие стариков, которые не являются ни безумными, ни паралитиками, проявляется бессвязной многоречивостью, в которой заметны постоянные повторения, свидетельствующие об ослаблении памяти. У больных случаются кратковременные галлюцинации — верные признаки раздражения, ведущего к разрушению структуры головного мозга; они плачут, смеются, поют, предаются фантазиям и в остальном кажутся вполне здоровыми.

Слабоумие лиц, уже пораженных помешательством, также узнается по отсутствию памяти и бессвязности речей, но зачастую и по тупому молчанию, и по утрате выразительности лица. Однако примечательно следующее: с того мгновения, как они впадают в состояние оцепенения, утрачивая тот мрачный и дикий взор, в котором отражались их тревоги, то бледное и словно искаженное лицо, столь свойственное им всем, — они удивительным образом преобразуются в том, что касается отправления внутренних органов. Они полнеют, приобретают свежий,

цветущий вид и кажутся наделенными отменным здоровьем — при условии, конечно, что расстройство желудка или легких не препятствует совершенству питания. Можно видеть, как они бродят в одиночестве, ведя безумные речи, но без возбуждения и ярости; либо же они пребывают в молчаливости, тупо взирая на тех, кто к ним приближается, отвечая лишь односложно на задаваемые им вопросы и редко впопад, за исключением тех случаев, когда дело касается самых насущных нужд. Те, кто затронут недугом в меньшей степени, прилагают заметные усилия, дабы связать мысли воедино, когда их принуждают слушать и отвечать, и выказывают некоторое нетерпение оттого, что не могут сего достичь.

Примерно таков же и ход слабоумия у лиц, коих к этой прискорбной болезни привела эпилепсия. Однако в тех случаях, когда оно протекает одновременно с параличом, наблюдается затруднение речи наряду с расстройством памяти. Больные плохо выговаривают определенные слоги, запинаясь при разговоре и не могут подобрать искомое выражение. В то же время замечается трудность в поднятии ног, кои кажутся им тяжелыми и словно онемевшими; если на ходу они поворачивают голову, то шатаются и рискуют упасть. Мало-помалу лицо утрачивает выразительность; они становятся безразличны к происходящему вокруг и редко вступают в разговор. Наконец, они доходят до такой степени безучастности и тупости, что их можно видеть пребывающими неподвижными и безмолвными, сидящими или лежащими целыми днями напролет.

Если общий паралич прогрессировал так же неуклонно, как и слабоумие, то больные со временем приходят к состоянию, в котором не могут совершить ни одного произвольного движения; они лишаются даже самой способности желать, так что им приходится вкладывать пищу в рот и беспрестанно заботиться об их чистоте. При столь крайнем упадке функций, связывающих человека с внешним миром, движения мышц, отвечающих за дыхание и глотание, сохраняются до самого конца жизни.

Слабоумие обнаруживает себя без какого-либо сопротивления со стороны организма, проявляясь в молчаливости и полнейшем отупении у лиц, которые в течение долгого времени страдали односторонним параличом (гемиплегией) и хроническим гастродуоденитом. Однако паралич лишь одного из чувств, если он не осложнен потерей мышечной активности и расстройством важнейших внутренних органов, не препятствует возникновению при слабоумии той многоречивости, о которой мы упоминали ранее. Все те, кого апоплексические удары оставили немощными и лишенными подвижности одной половины тела, становятся, по общему выражению, «слабы головою»: они вспыльчивы, плачут и смеются по пустякам, хотя по видимости еще сохраняют рассудок. Их следует считать находящимися на первой ступени слабоумия.

До тех пор, пока слабоумие еще не слишком глубоко — то есть пока оно не приблизилось к тому состоянию молчаливого отупения, которое знаменует собой

его высшую степень, — оно может сопровождаться осложнениями или периодами интеллектуального возбуждения. Эти вспышки образуют весьма своеобразный контраст с характерным для недуга состоянием оцепенения. Так, порой вызывает изумление вид человека, который из-за провалов в памяти не способен поддержать простейшую беседу, но при этом превосходно играет в шашки или занимается музыкой не хуже человека здравомыслящего. Что касается приступов возбуждения, то они проявляются либо внешне спонтанно в неопределенные сроки, причина коих остается неизвестной, либо же с определенной регулярностью — например, в периоды менструаций. В это время больные, кажется, вновь впадают на какое-то время в состояние ажитации, близкое к излечимым формам мании; однако врачу достаточно проявить лишь толику внимания, чтобы не поддаться этому обманчивому впечатлению и не впасть в заблуждение.

Продолжительность слабоумия определена не более, чем длительность иных форм душевного расстройства. Когда оно протекает без осложнений, мозг не претерпевает значительных разрушений, ибо можно встретить несчастных, пребывающих в этом плачевном состоянии на протяжении многих лет. Однако присоединение паралича делает столь долгое продление жизни в этом состоянии затруднительным.

Общий паралич может, как уже было сказано, начинаться одновременно со слабоумием; однако случается и так, что он предшествует ему или следует за ним через различные промежутки времени. Многие люди разных возрастов, но преимущественно в так называемом возрасте увядания, после изнурительного интеллектуального труда, душевных страданий, длительных головных болей, а также вследствие ударов или падений на голову, позвоночник, грудную клетку и даже область таза, начинают испытывать боли в мышцах, затруднения при ходьбе и сложности с произношением определенных слов задолго до того, как заметят, что память начинает им изменять, и над ними нависнет угроза слабоумия. Я не стану более задерживаться на подобных случаях, развитие которых мною уже было описано ранее; здесь речь пойдет исключительно о параличе, рассматриваемом как исход безумия. Этот последовательный паралич может возникнуть до или после наступления состояния слабоумия, хотя чаще всего оба недуга обнаруживают себя и прогрессируют одновременно.

Когда паралич у больного манией начинается прежде слабоумия, он всегда носит характер случайный, проявляясь вследствие жестоких головных болей, сильного прилива крови, приступа эпилепсии или апоплексии. В подобных случаях паралич обычно бывает частичным, ограничиваясь либо одной стороной тела, мышцы которой перестают действовать, либо одним из внешних чувств, утрачивающим способность к восприятию. Такой паралич ускоряет наступление слабоумия в гораздо меньшей степени, нежели паралич общий. Последний же, когда он развивается вследствие помешательства, всегда протекает в неразрывной связи со слабоумием, следуя в своем развитии по тому пути, который мы уже обозначили.

Если безумцы не погибают внезапно — будь то от молниеносного апоплексического удара, случившегося до или после проявления слабоумия, или от острого воспаления внутренних органов грудной клетки или брюшной полости, — они находят мучительную кончину. Иногда это происходит в состоянии полной неподвижности, присущей глубокому слабоумию, порой сопровождаясь появлением гангренозных пролежней в области крестца и вертелов бедренных костей, а также параличом мочевого пузыря и прямой кишки, если болезненное поражение головного мозга распространяется и на позвоночный столб. В иных случаях, еще до наступления этого периода, смерть наступает вследствие хронического поражения и органического разрушения легких или органов пищеварения, о чем мы уже упоминали выше. Огромное число больных оканчивает свои дни от легочной чахотки, поскольку они не были в достаточной мере защищены от воздействия холода. У тех, кто погибает подобным образом, неизменно обнаруживается сопутствующий хронический гастроэнтерит — болезнь, неизбежно завершающая жизнь тех, кого не унес прилив крови к мозгу и не настигла легочная чахотка. Ибо сама природа хронических раздражений головного мозга такова, что они неизменно влекут за собой расстройства пищеварительного аппарата. Этот гастроэнтерит, всегда сопровождающийся поражением печени, доводит больных до состояния маразма. Если болезнь распространяется на толстую кишку, она сопровождается изнурительным поносом, а в последние дни жизни — иногда и водянкой, которая маскирует худобу и скрывает крайнюю степень истощения. Помешанные, страдавшие от ревматических болей, часто погибают от аневризмы сердца, которая присоединяется к поражениям других внутренних органов. Впрочем, эта аневризма, будучи следствием раздражения, может развиваться у душевнобольных совершенно независимо, точно так же, как и у прочих людей.

Глава пятая: Патологоанатомические исследования умерших безумцев

По мнению некоторых врачей, вскрытия тел не принесли никаких новых знаний относительно локализации и природы безумия; однако многие другие исследователи далеки от подобного взгляда. Напротив, они утверждают, что мозг неизменно сохраняет следы болезни, следствием которой и стало душевное расстройство. Сначала мы представим отчет о состоянии, в котором были найдены различные органы; в последующем же рассуждении о значении симптомов выявленные нами нарушения послужат подспорьем в определении физиологической природы безумия.

Именно в голове следует искать изменения, соответствующие состоянию безумия. В случаях смерти, наступившей в разгар приступов неистовства, обнаруживали мозговое вещество, сильно налитое кровью и отличавшееся необычайной твердостью. Что касается меня, то у одного молодого человека восемнадцати лет я наблюдал нервы настолько твердыми в местах их вхождения в основание мозга, именуемых истоками нервов, что их легко можно было принять за небольшие сухожилия. Если подобные субъекты умирали от молниеносного апоплексического удара, обнаруживаются, сверх того, кровоизлияния на поверхности, в полостях или в самой субстанции мозга.

В тех случаях, когда безумцы жили долго, обнаруживаемые изменения оказываются куда более разнообразными; однако авторы не проводили четкого различия между состояниями тех субъектов, кои скончались от случайной смерти, не успев дойти до стадии деменции и общего паралича, и состояниями больных, претерпевших все степени упадка рассудка и двигательной способности. Органические поражения, затронувшие их, можно свести — продвигаясь снаружи внутрь — к следующему: неравенство объемов обеих сторон головы; утолщение или истончение черепа: в случае утолщения иногда обе костные пластинки раздвинуты, оставляя между собой значительное пространство диплоэ; в других же случаях череп плотен и подобен слоновой кости, а когда это не так, он зачастую оказывается сильно налитым кровью; при истончении череп бывает то твердым, то хрупким и даже ломким; твердая мозговая оболочка обнаруживается огрубевшей, утолщенной и окостеневшей; паутинная оболочка — утолщенной, непрозрачной, местами она спаяна с ней и покрыта более или менее плотным слоем гнойного экссудата; оболочка желудочков утолщена, нагноена и приращена к мозгу; мягкая оболочка наполнена кровью и серозной жидкостью, подчас сильно утолщена и образует единое целое с паутинной оболочкой.

Особенно поражало плотное сращение мягкой оболочки с поверхностью мозга: у некоторых субъектов оно было столь сильным, что отделить мембрану, не вырвав при этом часть серого вещества, было невозможно. В таких случаях извилины выглядели спавшимися и тесно прижатыми друг к другу. Напротив, когда мягкая оболочка была влажной, те же извилины оказывались раздвинутыми и истонченными, а промежутки между ними были заполнены лимфой, которой была пропитана сама оболочка. Мы находили мозговое вещество лоснящимся и словно пропитанным серозной жидкостью, из-за чего оно казалось влажным на разрезе. Серое вещество иногда представлялось более толстым, чем обычно, что, по всей видимости, соответствовало чрезмерному развитию прилегающей к нему сосудистой ткани — так называемой мягкой оболочки. Иногда серое вещество было трудно отличить от белого. В случаях, еще близких к острой стадии, отмечались ярко-красные пятна, а в случаях более затяжных — более или менее синюшная или бледная мраморность в других случаях, занимающая периферию мозга и до известной степени смешивающая оба вещества; при этом вещество головного мозга

обыкновенно оказывалось более плотным, нежели вещество мозжечка. Тем не менее, и то, и другое было сильно размягчено, в особенности у субъектов, страдавших эпилепсией и общим параличом. Местами наблюдались очаги размягчения или уплотнения мозгового вещества, которое представлялось некоторым наблюдателям железистым или скirrosным. Иногда обнаруживались нагноения или изъязвления, имевшие вид раковых поражений, на внешней поверхности либо в желудочках мозга; в сосудистых сплетениях встречались пузырьки, подобные гидатидам. В этих мембранных складках, а равно и в других местах или в самой мягкой субстанции мозга, порой находили каменистые конкреции, а иногда — значительные окаменелости или костные образования. Излияния крови или серозной жидкости сопутствовали как хроническим, так и острым состояниям; при этом общий объем головного мозга в первом случае был гораздо менее значителен, нежели во втором. В случаях общего паралича в оболочках спинномозгового канала обнаруживались те же поражения, что и в оболочках головного мозга, а иногда даже глубокие изменения в мозговом веществе и нервных пучках.⁹

Патологические изменения, обнаруживаемые в прочих органах, ничем не отличаются от тех, что встречаются у субъектов, не страдавших безумием. Нам уже довелось видеть, что душевнобольные часто подвержены хроническим воспалениям органов дыхания и кровообращения; посему неудивительно находить у них аневризмы, отвердение легких, их изъязвление или туберкулезные поражения; равно как и изменения плевры и перикарда или же скопление в них излившегося ликвора. Однако чаще всего одновременно с поражениями мозга обнаруживаются расстройства органов пищеварения. Так, в брюшной полости безумцев, прошедших через все ступени интеллектуального упадка, неизменно находят следы хронических гастроэнтеритов с перерождением печени. Иными словами, слизистая оболочка желудка оказывается красной, бурой, черной, покрытой кровоподтеками, утолщенной или изъязвленной; реже — истонченной и размягченной или разрушенной в нижней своей части, за исключением тех случаев, когда желудочные симптомы обретают преобладающий характер, чему мы не раз были свидетелями. Куда чаще обнаруживается двенадцатиперстная кишка — покрасневшая, бурая, расширенная; её внутренняя оболочка утолщена и усеяна набухшими, перерожденными или изъязвленными фолликулами. Печень представляется желтой, жирной, увеличенной в объеме или же, напротив, сморщенной; порой она поражена туберкулезом, скirrosным перерождением или содержит кисты с серозным выпотом в брюшную полость. Остальная часть пищеварительного тракта претерпевает более или менее выраженные изменения слизистой оболочки, в зависимости от степени воспаления, которому она подверглась. У тех, кто скончался

⁹ Желаящие могут также ознакомиться с превосходной монографией доктора Кальмейля под заглавием «О всеобщем параличе у душевнобольных». Проницательность и неутомимое терпение — вот качества сего исследователя, коему, по-видимому, суждено внести окончательную ясность в эту область патологической анатомии.

от диареи, внутренняя оболочка ободочной кишки оказывается бурой или чёрной, покрытой мелкими, чётко очерченными изъязвлениями — точно высеченными пробойником. Следы хронических флегмазий (воспалений) находят также и у женщин, страдавших нимфоманией. Впрочем, было бы излишне останавливаться на описании всех прочих расстройств, кои можно встретить при вскрытии тел душевнобольных. Ибо сии несчастные, в равной мере подверженные как действию холода, так и влиянию страстей — этого источника тысячи бедствий, — заставили бы нас излагать патологическую анатомию едва ли не всех недугов, присущих роду человеческому.

Глава шестая: О теориях безумия, согласно воззрениям древних и современников, вплоть до эпохи физиологической медицины

Теперь, когда нам стали известны явные факты, касающиеся душевных недугов, мы можем приступить к исследованию фактов менее очевидных, которые подчиняются физиологическим законам и должны послужить объяснением первым. Было бы излишним останавливаться на нелепых мнениях, господствовавших в отношении безумия в века фанатизма и суеверий. В лоне католичества невежды всегда отличались склонностью объяснять помешательство одержимостью бесом, подобно тому, как в язычестве его зачастую приписывали преследованию фуриями. Но оставим эти жалкие заблуждения.

Еще со времен античности безумие рассматривалось как болезнь мозга; его сравнивали с френитом и даже приписывали, как и последний, воспалению мозга и его оболочек. Все эти идеи можно встретить у Целия Аврелиана, переводчика Сорана, равно как и описание терапии, предназначенной навеки утвердить их в медицине: таковы применение пиявок и скарифицированных банок к голове, затылку и плечам, охлаждающий режим, диета, отвлекающая стимуляция кожи и прочее. Поразительно, что современные врачи пожелали приписать себе честь этого открытия. По правде говоря, другие, не менее прославленные древние авторы, такие как Гален и его последователи, отвлекли внимание от подлинных терапевтических показаний, сосредоточив его на необходимости выведения «дурных соков» (гуморов), и в особенности чёрной желчи (*atrabile*). Однако даже в учении галенистов этот «сок» неизменно воздействовал на мозг и порой вызывал в нём воспаление. Подобное объяснение, принятое всеми врачами-гуморалистами и механицистами — Бургаве, Ван Свитеном и другими, — сохранялось вплоть до наших дней. Есть все основания удивляться тому, как долго современные медики

медлили с тем, чтобы заменить расплывчатые «гуморальные повреждения» древности и Средневековья концепцией воспалительных поражений мозга.

Причина этого промедления заключается в том, что само явление воспаления понималось слишком узко. Принимая за эталон этого болезненного состояния флегмону и почти всегда требуя наличия нагноения для характеристики тех флегмазий, которые не заканчивались гангреной, вплоть до нашего времени это препятствовало наблюдателям довериться свидетельству собственных чувств в отношении непосредственной причины покраснения, припухлости и жара, которые они обнаруживали во множестве случаев. Всякий раз, когда раздражение, действуя на секреторный орган, увеличивало объем или изменяло естественные свойства выделяемой им жидкости, именно эта жидкость (гумор) считалась причиной местного недуга; и если в какой-либо иной части тела, сколь угодно отдаленной, одновременно возникало болезненное состояние, его приписывали нарушениям всё той же жидкости. Таким образом, пот, желчь или слизь (под названием «флегма») стали признаваться источниками почти всех болезней, которые не возводились к самой крови. На основании того же принципа позднее любые поражения внутренних органов, возникавшие вследствие нагноения ран — как простых, так и изъязвленных, — стали целиком относить на счет гнойного заражения.

Подобная склонность к обобщению немногих, более или менее точных наблюдений принимала различные обличья всякий раз, когда совершалось важное открытие. Так, открытие кровообращения и предполагаемой формы кровяных телец породило теории механические, гидравлические и гидродинамические; открытие желез, а позднее — поглощающих сосудов, дало повод приписывать все болезни лимфе, закупорке желез, инфарктам (застойным явлениям) или воспалению самих лимфатических путей. Открытие мышечной раздражимости и исследования, посвященные нервной системе, вновь обратили внимание медиков в эту сторону: отныне почти все наши недуги приписывались первичному повреждению либо жизненной силы, посредниками которой выступали нервы, либо тончайшего флюида, проводниками коего они считались, либо, наконец, нервных фибрилл, чьей степенью натяжения объясняли все феномены те исследователи, что отрицали наличие в нервах какой-либо жидкости.

В то же время такие абстрактные понятия, как архей, материальная или нематериальная душа, сила или слабость — сущности, кои объявлялись либо локальными, либо независимыми от каких-либо телесных границ, — стали почитаться регуляторами всех органических движений. На них возлагали ответственность за все болезни, и к ним же адресовали все лечебные средства, нимало не заботясь о том, чтобы достоверно установить действие этих веществ на сами органы.

Позднее, в эпоху гораздо более близкую к нашей, некоторые врачи почувствовали отвращение к подобным абстракциям и возомнили, что совершат нечто чудесное, заменив их другими. Они отказывались объяснять — из страха повторить старые нелепицы — каким именно образом кровь, желчь, слизь, лимфа или нервы могут становиться причинами болезней; однако они допускали некую причинность, наделявшую их этой силой, признавая в самом общем виде существование кровяного начала, желчного начала, слизистого и нервного.

Среди их предшественников одни приписывали те или иные недуги воспалению, другие — нечистотам (сабурре), кои следовало извергнуть; иные видели причину в избыточной силе желудка, прочие — в слабости сего органа; некоторые ссылались на гнилость соков, и не меньшее число врачей — на злокачественность, чья причина восходила к недостатку энергии жизненного начала. Наши новаторы-онтологи примирили всех этих несогласных, создав для тех же самых болезней воспалительные, сабурральные или гастрические элементы (что почиталось синонимами); стенические и астенические (сущности прямо противоположные); а также гнильные, злокачественные, неправильные или атаксические. Нет ничего проще, чем диагностика и лечение болезней при наличии сего легиона сущностей: медики всегда пребывали в согласии друг с другом, ибо для каждого симптома создавался свой особый «гений», а якобы специфическое лекарство, которое на деле было не более, чем средством, рекомендованным теми самыми древними, чей язык некогда отвергался; ныне же оно включалось в пространный фармацевтический реестр, призванный изгнать всех этих мнимых духов. Именно так достигалось согласие на консилиумах и в самых многочисленных врачебных собраниях, к вящей пользе внешнего приличия; ибо профаны более не становились свидетелями тех скандальных споров, память о которых сохранили для нас Мольер и другие сатирики.

Стоит ли удивляться, что древнее представление Сорана о природе безумия оказалось утраченным и что потребовалось немало усилий, дабы вновь извлечь его на свет? Стихии, первоначально, болезнетворные сущности воздействовали на мозг — вот и всё, что могли сказать ученые мужи; и если они бывали вынуждены признать наличие воспаления, этот феномен считался — как и при так называемых эссенциальных лихорадках — лишь осложнением, случайным обстоятельством.

Достаточно известно, что из всех вышеупомянутых теорий в конечном счете возобладало учение об отклонении нервной и жизненной силы, проявляющемся либо в ее избытке, либо в недостатке. Впрочем, анимизм не утратил своих сторонников: и в наши дни встречаются врачи, заявляющие в своих трудах, что безумие коренится в нематериальном начале, и что оно не имеет определенного местонахождения; однако гораздо большее число врачей утверждает, что оно может зависеть от болезнетворных начал, не давая при этом механизму действия этих сущностей никакого объяснения, способного удовлетворить разумного человека.

Вслед за построениями теоретиков-гипотетиков следуют воззрения приверженцев патологической анатомии. От них нельзя не ожидать чего-то если и не более здравого, то, по крайней мере, более осязаемого и доступного простому обывательскому уму. Посмотрим же, насколько основательно это предположение.

Мы уже говорили о том, что врачи слишком сузили понятие воспаления, приняв флегмону за единственный прообраз этого явления; и ни один недуг не доказывает это с большей очевидностью, чем безумие. Поскольку в мозгу душевнобольных крайне редко находят гной, подобный тому, что образуется при флегмоне, о воспалении здесь и не помышляли. С другой стороны, так как между упомянутыми посмертными изменениями органов и психическим расстройством не видели никакой причинно-следственной связи, медики оказались в крайнем затруднении, пытаясь найти материальную основу этого страдания. В самом деле, как, исходя из господствовавших тогда представлений о воспалении, можно было понять, что затвердения, размягчения, уменьшения и неравенства объема мозга и мозжечка, плотность, помутнение или кровенаполнение (инъекция), сращение оболочек, твердость или мягкость, толщина или тонкость, консистенция с ороговением или без него, или хрупкость костей черепа могли быть причинами столь многих видов бреда, неистовства, конвульсий, поразительного возбуждения определенных талантов и полного оупения интеллектуальных способностей? Можно было бы примирить неистовство и прилив мышечной силы с уплотнением мозгового вещества, когда оно сопровождалось притоком крови, — ибо в этом случае можно было бы усмотреть первую стадию воспаления. Однако для подтверждения этой мысли требовалось, чтобы все хронические проявления обнаруживали следы нагноения, характерные для данного типа патологии, то есть для флегмоны. Но именно это почти никогда не наблюдалось; и именно это обстоятельство, по нашему мнению, заставило отказаться от идеи о флегмазии мозга как причине безумия. Тем не менее, поскольку было необходимо во что бы то ни стало связать органические изменения мозга и его оболочек с душевной болезнью, то, не имея возможности видеть в них причину, их стали считать следствием этого недуга.

Это объяснение, при всей своей нелепости, принималось на веру в ряду многочисленных абсурдов, которыми кишела патология, пока в 1816 году я не опубликовал в «Исследовании общепринятого медицинского учения» вопрос, который задавал на своих частных лекциях еще с 1814 года. Я спросил своих почтенных коллег: что они понимают под патологическими изменениями, вызванными болезнью, и как они представляют себе саму возможность воздействия болезни на органы? Ведь, согласно определениям наиболее философски мыслящих нозографов, болезни суть не что иное, как совокупность симптомов. Я применил этот вопрос к каждой болезни в отдельности и в особенности к так называемым «эссенциальным лихорадкам»; в 1821 году я вновь изложил его во втором «Исследовании». Я пытался постичь, как можно вообразить себе группу симптомов, которая вызывает полнокровие, отвердение, размягчение, изъязвление, прободение

или гангрену органов. Не обнаружив ни в одном из свойств этой группы силы, способной производить подобные действия, я пришел к выводу, что врачи, вне всякого сомнения, превратили слово, коим они обозначают понятие болезни, в некую материальную или нематериальную сущность — не знаю, какую именно, но, по меньшей мере, наделенную собственной активностью, независимой от деятельности самих органов. Один из моих наиболее выдающихся учеников весьма удачно развил эту мысль в опровержении трактата о лихорадках, который пытались возвести в ранг классического. Рассматривая каждый симптом в отдельности, доктор Рош с иронией вопрошал составителя-онтолога: обладают ли едкий жар, налет на слизистой рта, жажда, оцепенение, зловоние и упадок сил — то есть те элементы, к которым, по мнению нозографов, сводится сущность «динамической» или «гнилостной» лихорадки, — способностью размягчать внутреннюю оболочку желудка, изъязвлять её, приводить к прободению или вызывать инвагинацию кишечника?

Сии доводы против «эссенциальности» болезней, на протяжении десяти лет решительно поддерживаемые множеством достойных последователей, вышедших из лона физиологической школы, произвели величайший переворот во французской медицине. Однако эта революция лишь с огромным трудом проникала в общественные и частные заведения, посвященные лечению душевных недугов.

Среди главных ныне живущих классиков, чей авторитет признан неоспоримым в обсуждаемом вопросе, одни по-прежнему твердят, что органические изменения мозга являются лишь следствием болезни, которую они определяют путем простого перечисления симптомов. Другие же полагают, что хотя воспаление — сперва острое, а затем хроническое — порой и имеет место, оно встречается далеко не всегда; по их мнению, существует некое повреждение жизненного начала, предшествующее поражению тканей — повреждение, которое подготавливает и завершает их разрушение. Первые, кажется, ничуть не страшатся вопроса о том, какой же силой бред, неистовство и прочие симптомы могут вызвать отвердение мозга, или каким образом тупоумие способно привести к его гиперемии, размягчению и атрофии. Вторые же, вероятно, не задумывались, как трудно явить в действии ту нематериальную или даже нервную «жизненную сущность», которая ввергает человека в делирий и одновременно разрушает его мозг.

Известно, что большинство ученых, обладающих твердыми принципами, не меняют их, особенно если они уже были обнародованы. Посему следовало ожидать, что учение о душевных болезнях будет продвигаться вперед скорее благодаря трудам учеников, нежели их наставников. Именно так и произошло, но лишь до определенной степени: ибо ученики, прикомандированные к домам для умалишенных, не всегда были последователями физиологической школы. Некоторые из истин, преподанных в стенах этой школы, были применены к учению о безумии, однако наиболее важными из них пренебрегли.

В 1820 году господин профессор Лаллеман, будучи еще учеником, опубликовал труд, в котором утверждал, что воспаление паутинной оболочки, распространяющееся и на мягкую мозговую оболочку, встречается часто и является основной причиной бреда; однако он не применил это наблюдение к самому безумию. Он также высказывал мнение, что воспаление вещества головного мозга не может быть причиной бреда: он рассматривал его скорее как источник конвульсий и частичных параличей и, разделяя мою точку зрения, приписывал размягчение мозга воспалительному процессу.

Среди молодых врачей, работавших в лечебницах для умалишенных, один в 1823 году — наперекор своему профессору — доказывал, что душевные болезни порождаются самыми разнообразными изменениями в мозговых оболочках и в самом головном мозге. Другой в 1825 году, обнаруживая новую доктрину психических заболеваний, учил, что не только обычный бред, но и само безумие чаще всего заключаются в хроническом воспалении мозговых оболочек; при этом он добавлял, что в ряде случаев оно зависит от специфического или симпатического раздражения мозга. Первый из них, развивая ранее высказанную им мысль, притязал на то, что открыл медицинскому миру важную истину: поражения, наблюдаемые различными авторами и упомянутые нами выше, являются причинами, а не следствиями безумия. Это, по его мнению, в корне меняло существовавший до тех пор взгляд на данную болезнь. Он приписывал её развитие: то врожденному или приобретенному порочному строению головы; то поражению мозговых оболочек; иногда — отвердению мозга; в иных же случаях — его частичному или общему размягчению. Одним словом, он связывал болезнь, в зависимости от конкретного случая, с каждым из уже упомянутых органических изменений. При этом он утверждал, что полнокровие сосудов головного мозга и мягкой мозговой оболочки является самым частым из этих изменений и, следовательно, наиболее обычной причиной помешательства.

Второй исследователь, разделяя мнение многих учителей, полагал, что безумие может быть симпатическим следствием поражения иного органа, нежели мозг. В ответ на это первый в 1826 году побудил третьего автора, чьи принципы были схожи с его собственными, заявить: ни подагра, ни болезни легких, ни даже заболевания пищеварительного тракта не могут быть органической причиной безумия, поскольку оно не может иметь иного средоточия, кроме как в головном мозгу.

Итак, вот некоторые из начал физиологического учения, проникающие ныне в стены домов для умалишенных; и именно ученики выступают их проводниками. Впрочем, сии ученики не исполняют того, что им следовало бы и что было бы в их силах совершить. Они делают то, чего им делать не должно, поскольку кичатся открытием некоего, по их мнению, плодотворного принципа теории и практики душевных болезней, согласно которому поражения мозга и его оболочек суть причина, а не следствие недуга. Они не совершают того, что могли бы, ибо подобным утверждением — вопреки трудам физиологов — дают ложное понятие о

том, каким образом пораженные органы порождают явления психического расстройства. Доказательства этих двух положений станут еще более явными из того обзора, который я намерен представить; в нем я изложу всё то, что проповедовалось и печаталось в стенах физиологической школы еще до появления сочинений этих молодых медиков.

В своих лекциях, начиная с 1814 года, я возводил любые формы бреда, как острые, так и хронические, к первичному или сочувственному раздражению мозга, добавляя, что в одних случаях это раздражение доходит до степени воспаления, в других же — не достигает его: такова общая идея. Судороги, частичные и общие потери чувствительности и движения, застои, приливы, размягчения, излияния и разного рода кровоизлияния в головном мозге и его оболочках приписывались мною той же причине; и многие были немало удивлены, видя, что апоплексия и слабоумие объясняются той же теорией, что и головная горячка (френиг). Более того, я настойчиво призывал учеников искать факты, подтверждающие или опровергающие эти утверждения. Именно после того, как господин Лаллеман (Lallemand) прослушал все эти рассуждения, он выпустил свои первые «Письма о головном мозге» — труд, составленный по большей части из наблюдений, почерпнутых из практики врачей, за которыми он следовал в бытность свою учеником, но расположенных и прокомментированных в манере, свойственной моей «Истории флегмазий». Он представил доказательства моих положений о причинах судорог и параличей; и, кроме того, попытался уточнить симптомы, соответствующие каждой степени поражений головного мозга, о которых он трактовал. Однако следует заметить, что он вовсе не признавал раздражение движущей силой описываемых им болезней; он говорил лишь о воспалении — явлении, известном еще с древних времен и вновь вошедшем в моду в Англии в связи с рассматриваемыми недугами благодаря доктору Аберкромби и прочим. К тому же, причину бреда он усматривал в воспалении паутинной оболочки.

В следующем, 1821 году, я представил в печати идеи относительно заболеваний головного мозга, которые проповедовал на протяжении семи лет и которые к тому времени уже стали достоянием общественности. Они полностью соответствовали взглядам, опубликованным мною ранее касательно многих других недугов. В своем труде «Исследование медицинских доктрин» (стр. 770) я напечатал то, о чем только что сообщил, а именно: церебральный застой крови; серозный застой или гидроцефалия; арахноидиты; так называемая нервная апоплексия и апоплексия кровяная; рак мозга; грибовидные опухоли твердой мозговой оболочки; ацефалоцисты или гидатиды; туберкулы мозга; костные опухоли внутренних стенок черепа; наконец, летаргия, эпилепсия и размягчение мозга (которое доктор Аберкромби уже рассматривал как следствие энцефалита). Все вышеперечисленное является следствием единого феномена, чьи проявления многообразны; и феномен этот — раздражение. Пусть же теперь попробуют отыскать в результатах вскрытия

безумцев, обобщенных авторами, чьи труды я анализирую, хоть одно органическое изменение, которое не укладывалось бы в этот перечень!

Оставалось лишь номинально соотнести безумие с этими изменениями; именно это я и сделал в положении СХХIII, опубликованном вместе с «Исследованием» (Eхamen) в 1821 году. Данное положение, как и четыреста шестьдесят семь других, сопутствующих ему, является лишь кратким изложением курсов физиологии и патологии, которые я читал к тому времени на протяжении семи лет. Вот текст этого положения: *«Мания всегда предполагает раздражение головного мозга. Это раздражение может поддерживаться в нём долгое время другим воспалением и исчезать вместе с ним; но если оно затягивается, то неизменно завершается переходом в истинный энцефалит — либо паренхиматозный, либо мембранозный»*.

Между тем, это положение вовсе не является простым суждением, высказанным наугад; оно представляет собой итог весьма обширных рассуждений, которые можно встретить в данном труде при рассмотрении вопросов нозографии, новой работы о размягчении мозга, первых двух писем профессора Лаллемана и, наконец, устных наставлений, в течение семи лет повторяемых мною в теоретических и практических курсах. Именно из этих многочисленных источников и вытекало общее положение, которое — дабы избежать нелепостей в языке и пагубных противоречий в лечении — надлежит признать раздражение первичным феноменом и связующим звеном большинства церебральных поражений; сие необходимо, дабы избежать нелепостей в терминологии и пагубных противоречий в лечении. Это положение уже выдвигалось в 1808 году в «Истории флегмазий»; я вновь изложил его в 1816 году, применив ко всей патологии в целом; наконец, в 1821 году оно предстает с еще большей степенью точности и применяется непосредственно к безумию.

Ныне нетрудно рассудить, что авторы, о которых идет речь, поступили предосудительно, приписав себе открытие якобы «подрывного» принципа, ниспровергающего прежние теории мании, — в то время как принцип этот весьма не был новым. Столь же необоснованно они похваляются тем, будто первыми установили в 1824 году, что медицинская диагностика заключается в придании внешним феноменам значения, отражающего внутреннее состояние или поражение органа, являющегося их средоточием. Эта мысль есть основополагающая идея физиологической доктрины: именно она вдохновила «Историю флегмазий» в 1808 году; она продиктовала первое «Исследование» в 1816 году; второе же «Исследование», опубликованное в 1821 году, является лишь полным развитием этой самой идеи. Данное учение излагалось в теории и применялось на практике в стенах крупного госпиталя на глазах у многочисленных свидетелей в самом сердце столицы еще с 1814 года — то есть, вероятно, задолго до того, как эти молодые врачи вообще приступили к своим медицинским занятиям.

Приписывая безумие изменениям, происходящим в головном мозге и связанных с ним структурах, данные авторы не сделали всего, что было в их силах; и вот по какой причине: будучи не знакомы с физиологическим учением, они не могли осознать необходимость понятия раздражения для выстраивания стройной патологической системы. Они лишь подхватили на лету идею о том, что симптомы должны отражать состояние органов, но не имели ни малейшего представления о физиологическом, постижимом механизме («как») этого отражения. Они и не подозревали, что именно через раздражение, и исключительно через раздражение, один орган воздействует на другой — что и составляет суть механизма симпатий. Им не пришло в голову, что раздражение присутствует в органе воспринимающем (sympathisé) так же, как и в органе воздействующем (sympathisant); что оно является общим феноменом для обоих и что только оно объясняет, каким образом воспринимающий орган может изменяться и разрушаться, подражая состоянию воздействующего.

Именно незнание этого факта, который они могли бы постичь, если бы изучили физиологическое учение, привело их к утверждению, будто безумие зависит порой от порочного строения, врожденного или приобретенного, черепа или самого мозга; то от повреждения мозговых оболочек, то от отвердения мозга, а в иных случаях — от его частичного или общего размягчения. В других обстоятельствах его связывают с иными изменениями, упомянутыми выше, но чаще всего — с полнокровием сосудов головного мозга и мягкой мозговой оболочки. Эти утверждения туманны и затруднительны для читателя, ибо они ничего не говорят уму. Каким образом можно напрямую связать бред с столь разнообразными поражениями? К тому же безумие проявляется задолго до того, как все эти изменения окончательно сформируются, что доказывается его перемежающимся характером и случаями внезапного исцеления под влиянием сильного нравственного потрясения, происходящими на фоне самых бурных интеллектуальных расстройств или полнейшего оцепенения. Безумие является следствием не самих этих поражений, а той причины, которая их порождает. При этом данная причина не обязательно представляет собой воспаление, как утверждали многие авторы. Это подтверждается возможностью внезапных исцелений под воздействием факторов душевного свойства даже после многих лет болезни; подобная перемена была бы несовместима с истинным воспалением, которое неизбежно должно было бы вызвать органическое разрушение органов.

Это объясняется также тем, что они совершенно не имели представления о раздражении, и этим объясняется то, что некоторые авторы трактатов о мании утверждали, будто бы безумие не может быть симпатическим или зависеть от влияния иного недуга. Довод, который они приводили, заключался в том, что средоточие болезни может находиться лишь в том органе, чьи функции нарушены; это язык туманный и загадочный, служащий источником праздных словопрений. Без сомнения, наши врачи-физиологи ответят им: средоточие мании всегда находится

в головном мозгу; однако мозг может быть раздражаем иным органом, охваченным раздражением еще сильнее. Он может пребывать в этом состоянии долгое время без признаков воспаления и без органических разрушений, и перестать быть таковым, как только орган, воздействовавший на него, прекратит свое возбуждение в аномальном ритме. Именно так начало менструаций, геморроидальное кровотечение, рвота кровью или иной жидкостью, прикладывание пиявок к эпигастральной области и тому подобное могут в мгновение ока, а подчас и навсегда, излечить помешательство.

Однако не понять этого, не подчинить манию феномену раздражения, оставить её в смутной зависимости от органических повреждений, которых она не предполагает, отказываясь объяснять, каким образом эти повреждения могут её вызвать; отнюдь не развить терапевтический метод, который естественным образом вытекает из знания наиболее общих законов раздражения; иными словами, не показать, как, изменяя влияния органов друг на друга, можно придать безумию благоприятное направление; иметь лишь два общих взгляда: один — на исключительное помещение очага мании в мозг, без всякой попытки объяснить симпатические мании и ограничиваясь их отрицанием — это значит не углубиться в доктрину, о существовании которой знали, поскольку делали из неё некоторые заимствования, доктрину, к тому же содержащую все элементы решения проблем, которые следовало решить; одним словом, это значит не сделать того, что можно и должно было сделать.

Автор, чье имя надлежит упоминать всякий раз, когда речь заходит о мозге, и который своими великими трудами о функциях головного мозга снискал вечную признательность человечества, — доктор Галль — не остановился на этих поверхностных воззрениях и грубых объяснениях. Он с презрением отвергает мнение тех, кто приписывает безумие изменениям костей черепа или иным подобным причинам. По его словам, *«механические и органические расстройства подчинены тем переменам, кои происходят в жизненной силе; они суть лишь их следствия, и жизнь отдельной части тела или всего организма в целом может угаснуть без всякого видимого органического расстройства»*. Он добавляет, что *«в тех случаях, когда мания длилась недолго, обнаружить ничего не удастся; однако если болезнь затягивается, в мозгу, в мозговых оболочках и в черепе замечаются самые явные изменения. К ним относятся, например, окостенение сосудов, убыль того или иного мозгового вещества, отложения костной материи на внутренней поверхности черепа и прочее — всё это плоды перемен, неуловимых для наших чувств, коим подверглась та сила, от коей зависят жизнь и все жизненные отправления»*. Доктору Галлю известны и другие формы вышеупомянутых поражений, и он объясняет их подобным же образом. Воспаление не является первопричиной сих расстройств: он ставит его в один ряд с сотрясениями, случайными повреждениями, органическими пороками мозга или его оболочек, шероховатостью внутренней поверхности черепа, а также с однообразным и

слишком долго поддерживаемым умственным напряжением или несбывшимся замыслом, обманутой надеждой, безмерным честолюбием, уязвленным тщеславием и прочими моральными причинами, кои он, наравне со всеми остальными, относит к поражению жизненного начала. В иных местах он замечает — впрочем, лишь в тех своих трудах, что увидели свет после провозглашения физиологического учения (в 1816 году), — что возрастание раздражимости мозга со всей очевидностью проявляется в продромальный период и на первой стадии безумия. Таким образом, он не уподобляется тем, кто в порыве ретроградства оставляет объяснение Пинеля, полагавшего безумие по природе своей расстройством нервным, дабы примкнуть к стану анатоми-патологов, не признающих за болезнями иных признаков, кроме тех, что обнаруживаются при вскрытии тел после смерти.

Доктор Галль объясняет атрофию мозга вследствие затяжного помешательства вовсе не воспалением; он приписывает её поражению жизненных сил. Мозг, который долгое время находился в состоянии, коим характеризуется безумие, атрофируется подобно седалищному нерву, в коем долгое время ощущалась боль. Впрочем, мозг не может осесть и сжаться в самом себе без того, чтобы за ним не последовал череп, если только тому не препятствует какое-либо изливание, то это приводит к расхождению внутренней пластинки черепа, которая отделяется от наружной, менее склонной следовать за мозгом в его «отступлении». Подобное явление наблюдается и при естественной атрофии мозга, вызванной преклонным возрастом. Однако существует существенное различие: у безумца пространство, образующееся вследствие расхождения двух костных пластинок, вместо того чтобы заполниться крупноячеистой диплоической тканью (которая делает кости стариков легкими), напротив, заполняется чрезвычайно плотным костным веществом. Оно пропитывает обе пластинки, отчего череп становится очень толстым, тяжелым и приобретает плотность слоновой кости. Такого рода изменения встречаются столь часто, что Грединг наблюдал их в семидесяти восьми случаях из ста у неистовых маньяков и в двадцати двух случаях из тридцати — у людей, страдающих слабоумием.

Эти размышления доктора Галля должны были наставить исследователей мании на путь истины. Я не могу безоговорочно принять все идеи этого ученого касательно причин и локализации мании; тем не менее, поскольку именно ему мы обязаны наиболее точными данными, следует опираться на них, дабы продвинуться дальше, если это возможно, или, по крайней мере, совершить к тому попытку.

Доктор Галль рассматривает безумие как болезнь, локализирующуюся исключительно в головном мозге; именно у него современные молодые авторы, пишущие об этом недуге, заимствовали это мнение: согласно Галлю, мания заключается в поражении жизненной силы мозга. Чаще всего она представляет собой — особенно в начальной стадии — повышение раздражительности, сопровождающееся чрезмерной активностью кровообращения и даже воспалением; однако это воспаление не является основной причиной разрушения мозга. Автор

более занят доказательством того, что средоточием безумия является мозг — в чем никогда не сомневался ни один по-настоящему просвещенный и здравомыслящий человек, — нежели определением природы той физиологической модификации мозга, которая и порождает болезнь. Именно витальное поражение мозга приводит к его атрофии, уплотнению и перерождению вместе со всеми его придатками; однако никто не дает себе труда связать это поражение с каким-либо ощутимым фундаментальным явлением, ограничиваясь лишь рассуждениями об изменениях — или, вернее, об изменении в целом — некоего неведомого начала, именуемого жизнью. Что ж, это вполне понятно.

Главное же, к чему стремится доктор Галль, утвердившись в мысли о локализации безумия в мозгу, — это определить, какой именно мозговой орган служит его прибежищем. Известно, что этот автор рассматривает мозг как совокупность парных нервов, аналогичных нервам внешних чувств, с той лишь разницей, что они не выходят за пределы черепной коробки, а число их до сих пор точно не определено. Каждая из этих внутричерепных пар отвечает за определенную склонность или интеллектуальную способность; они носят название органов. Их расположение на периферии мозга позволяет — по выпуклостям, которые они образуют на костном своде, — с большей или меньшей точностью распознавать инстинкты, способности, а также различные степени и роды интеллекта каждого индивидуума. Это применимо не только к человеческому роду, но и ко всем позвоночным животным. Согласно этой теории, жизненное изменение, составляющее суть безумия, может иногда проявляться в равной степени во всех органах одновременно. Однако гораздо чаще оно преобладает или локализуется исключительно — либо последовательно — в каждом из них по отдельности. Из этого следует, что, помимо общего помешательства (мании), должно существовать столько же видов частной мономании, сколько в мозгу имеется органов.

Подобная концепция дает средства для объяснения того, каким образом необузданные страсти и чрезмерное интеллектуальное напряжение могут довести человека до безумия. Именно чрезмерной активности того или иного влечения, которому человек придает еще больше силы, потакая ему, или же влиянию преобладающей способности, обольщающей волю легкостью своего проявления, обязан человек потерей своего рассудка. Воспаление весьма часто развивается в органах, подвергающихся чрезмерному напряжению, что является обычным делом в период возбуждения при общей мании; в иных же случаях этот феномен ограничивается лишь каким-то отдельным органом: отсюда возникает возможность нагноений. Однако порой воспаление отсутствует, что подтверждается вскрытиями, при которых не обнаруживается никаких следов видимого поражения. Впрочем, даже если не оно вызывает расстройства организации (что случается лишь в меньшинстве случаев), то, по крайней мере, причиной становится витальное поражение, составляющее саму суть безумия.

Прежде всего, здесь заметен очевидный пробел. Ученому-органологу следовало бы сказать, что в тех случаях, когда мозг дезорганизует не гнойное воспаление, то, по меньшей мере, это делает порождающее его явление — раздражение. Данная модификация возможна во всех типах тканей; в рассматриваемом же случае она воздействует не только на собственно мозговое волокно, но и на все прочие ткани, составляющие «интеллектуальный аппарат»: то есть на омывающие его сосуды, на оболочки, его облегающие, и вплоть до костного вместилища, в коем всё это заключено.

Пинель и его последователи заблуждались в равной степени, когда усматривали в безумии лишь нервный феномен; я доказываю это тем же аргументом, который только что привел против г-на Галля. Ибо что же такое это «нервное повреждение», способное вызвать застой в сосудах мозга, привести к излияниям и флегмонам, стать причиной спаек, уплотнений и окостенений, воздействовать даже на череп, придавая ему плотность слоновой кости и твердость эмали? Подобная «нервная сущность» представляется еще менее постижимой, нежели «жизненное повреждение» органолога; ведь жизненное повреждение — понятие произвольное и неопределенное — допускает любое предположение о воздействии на органы, какова бы ни была разница в их строении, консистенции и прочем. Но как вообразить себе, исходя из привычных представлений о нервной природе, некий невроз, порождающий столь глубокие органические разрушения? Пинель полагал найти выход, рассматривая все эти расстройства как осложнения или случайные совпадения; это призрачная уловка, населяющая теорию безумия, равно как и большинство других описанных тем же автором неврозов, множеством необъяснимых, случайных болезненных элементов, при помощи которых невозможно поставить диагноз и чье лечение остается неизвестным.

Не принимая во всех деталях органологию доктора Галля, следует, однако, согласиться с ним — как и со всеми подлинно просвещенными врачами, предшествовавшими ему, — в том, что безумие имеет свое средоточие в мозгу. Но необходимо вновь критически рассмотреть само выражение «имеет свое средоточие», ибо им странным образом злоупотребляют; оно чинит препятствия прогрессу науки и по сей день внушает многим медикам утверждения, которые опровергаются наблюдениями. Что именно сосредоточено в мозгу у помешанных? Бред? Вне всякого сомнения, бред невозможен иначе как через приведение мозга в действие. Следовательно, бред по сути своей есть абберация действия, а значит — болезнь мозга. Теперь возникает второй вопрос: почему мозг подвергается этой абберации? Я отвечаю: это происходит потому, что его раздражимость повышена, или же его сократимость значительно больше, чем в нормальном состоянии; иными словами, потому что он перевозбужден или просто раздражен — если придерживаться того значения этого слова, которое было закреплено в первой части сего труда.

Далее следует третий вопрос, который должны продиктовать наблюдение и врачебная практика: почему мозг раздражен? Или же, развивая этот вопрос: находится ли причина, раздражающая мозг, в самом этом органе или в каком-то другом? Врач, судящий о предмете по первому впечатлению от фактов, отвечает, что причина может заключаться исключительно в мозгу, но может также иметь свое средоточие и в ином органе; он делает такой вывод на основании случаев безумия, возникающих вслед за поражением какого-либо органа и излечивающихся, как только это поражение устраняется. Однако г-н Галль и его приверженцы, ныне весьма многочисленные, отвечают иначе. Они говорят: *«Поскольку бред не может существовать без поражения мозга, его причина не может находиться нигде, кроме как в самом мозгу»*. Но они уклоняются от вопроса; необходимо вернуть их к нему. Скажем же им: Мы не спрашиваем вас, поражен ли мозг, когда наблюдается бред; это был бы столь же нелепый вопрос, как если бы кто-то спросил, поражены ли мышцы во время судорог. Но мы спрашиваем вас: не может ли поражение мозга быть настолько подчинено поражению другого органа, что оно порождается им и может прекратиться вместе с ним? Вы отрицаете этот факт, уверяя нас, что во всех подобных случаях, которые вы наблюдали, мозг уже был поражен; и вы обвиняете нас в неверности наблюдений, когда мы приписываем его расстройство недугу иного органа; тем самым вы возвращаете нас на почву эмпирического опыта.

Что ж, мы вновь утверждаем: нам встречались случаи, когда безумие порождалось и поддерживалось иной болезнью; иными словами, случаи, когда деятельность мозга расстраивалась лишь потому, что прежде пострадал другой орган, и восстанавливалась тотчас, как только сей орган возвращался в нормальное состояние. Теперь же надлежит показать, каким образом можно объяснить сию зависимость мозга, коя представляется вам непостижимой; мы сделаем это, предварительно обезопасив себя от туманности, двусмысленностей и ловушек языка. В самом деле, слово «поражение» (*affection*) крайне неопределенно; слово «болезнь» — чуть менее, однако и оно слишком расплывчато, дабы точно описать явление, которое мы намерены изучить. Оборот «поражение или болезнь, вызывающая бред» неизбежно порождает вопрос: в чем именно заключается это поражение или болезнь? Понятие «безумие» дает ясное представление лишь в аспекте нравственном, то есть в области отношений человека с другими людьми; мы же в настоящий момент обратились к патологической физиологии индивида. Логик не понял бы нас, спроси мы его, имеет ли бред свое местоположение в мозгу; ибо что такое «бред, имеющий местоположение», для человека, привыкшего отдавать себе отчет в значении слов?

Выражение «жизненное повреждение» звучит вполне физиологично, однако этот оборот кажется лишь уловкой, призванной удовлетворить не слишком требовательного вопрошателя; ведь всякий мыслящий человек не поймет, что представляет собой «повреждение жизни», которое предшествует повреждению

органов и является его причиной.¹⁰ Выражение нервное поражение (affection), поражение нервов, кажется, на первый взгляд, ближе к цели, ибо оно представляет собой некий видоизмененный материальный объект; однако остается неизвестным, кем и каким образом он был изменен. Между тем, не получив ответа на этот вопрос, невозможно в полной мере представить себе такое состояние нервной системы, которое было бы способно породить всё то многообразие расстройств, кои являют собой столь поразительное зрелище в умах безумцев.

¹⁰ Все сказанное выше о принципе, который пытаются навязать нервной системе для объяснения интеллектуальных явлений, применимо как к жизненной силе, так и ко всем частным силам, на которые ее пытались разложить. Эти силы не воспринимаются чувствами; о них заключают на основании явлений, и каждый множит их по своему усмотрению. Отсюда возникают «силы сокращения», которые подразделяются на столько же видов, сколько существует степеней сократимости и форм животной материи, наделенных этим свойством; отсюда же берутся силы состава, разложения, пластичности, жизненного сопротивления, сжатия, расширения, теплообразования и так далее — в зависимости от большей или меньшей склонности физиологов дробить чувственно воспринимаемые явления. Отсюда же проистекают и споры о числе жизненных свойств.

Когда речь заходит о жизни организма в целом, одни считают ее результатом жизней частных, другие же допускают существование некой первоначальной жизненной силы, их порождающей, и у них эта жизнь разделена на две: одна — для питания и размножения, другая — для разума.

Во всем этом не было бы никакого вреда, если бы, постулировав или предположив существование этих сил, исследователи ограничивались лишь описанием явлений, из которых те были выведены; в таком случае они служили бы лишь алгебраическими знаками, призванными облегчить научный поиск, сокращая изложение. Однако онтологи поступают иначе: будучи истинными идолопоклонниками, они ниц падают перед символическим знаком, который сами же только что создали из ничего, и наделяют его действием, словно некую особую власть. Впрочем, поскольку у них нет иных идей, кроме тех, что почерпнуты из чувственного опыта, и нет иного высшего образца, кроме них самих, они приписывают созданной ими силе собственные способности и намерения. Они заставляют её действовать так, как действовали бы сами, или так, как, по их наблюдениям, действуют некоторые из их собратьев, к коим они питают почтение и восторг. В сущности, все «силы» монпельеских врачей — это сотворенные подобным образом мелкие божества, а великая «жизненная сила» — разум высшего порядка, моделью для которого послужило всё самое великое и необычайное, что есть в человеке. Это не что иное, как продолжение греческого политеизма: в каждый функциональный аппарат помещают фавнов, сатиров, наяд и напей, а на престол головного мозга возводят великого Юпитера, дабы он председательствовал над всеми феноменами взаимодействия. Таковы мотивы, принуждающие нас отвергать слова жизненная сила, жизненное повреждение в строгом языке физиологической медицины или использовать их лишь как формулы, смысл которых мы спешим разъяснить.

Глава седьмая: Теория безумия согласно физиологическому учению

Если теперь мы обратимся к принципам физиологического учения, изложенным выше, то обнаружим в них положения более удовлетворительные. В упомянутой части труда утверждается, что живая животная материя под воздействием определенных агентов способна проявлять в поразительной степени феномены, характерные для жизненного состояния, и это именуется раздражением: нет ничего более ясного. Далее добавляется, что, судя по явлениям, в первую очередь воспринимаемым нашими чувствами, есть четыре основные формы раздражения: воспалительное, геморрагическое, субвоспалительное и нервное. Эта работа дает представление об этих явлениях и об изменениях в органах, соответствующих каждой из четырех форм, при этом оговаривая, что нервное раздражение является главенствующим и именно оно дает импульс трем остальным. Все это представляется вполне постижимым, поскольку речь идет об изменениях живой материи, которые непосредственно поражают наши органы чувств. Посмотрим же, можем ли мы применить эти данные к помешательству; приступим к изложению его краткой истории на языке физиологии, дабы увидеть, будем ли мы поняты и сможем ли разрешить вопрос о локализации (или локализациях) этой болезни.

Прежде всего я напомним одну из основополагающих истин физиологической медицины, на которой я уже неоднократно настаивал: головной мозг расположен между двумя потоками стимуляций — теми, что поступают к нему через нервы внешних чувств, и теми, которые он получает от нервов внутренних органов. Коль скоро это положение принято, возникновение безумия объясняется само собой через соотнесение с физиологической теорией интеллектуальных способностей.

Раздражители, которые были подробно описаны в первой главе, действуя с чрезмерной силой и слишком продолжительно на основные органы (каждый из которых обильно снабжен нервной материей), приводят головной мозг как центр этой материи в состояние раздражения. Иннервация становится избыточной, что проявляется в усилении способности чувствовать и двигаться; ибо проявление нервного раздражения не может происходить иначе, за исключением тех случаев, когда раздражение с самого начала достигает такой степени, что полностью подавляет все феномены иннервации. Следовательно, со стороны головного мозга возникает избыточная восприимчивость ко всем стимуляциям, и прежде всего к стимулам органов чувств. Кроме того, наблюдается избыточность движения в кровообращении и в действии всех мышц, которыми управляет мозг посредством иннервации и через которые он проявляет свое раздражение. Это означает, что усиление — если не частоты, то, по крайней мере, живости сердцебиения, — а также оживление мимики, необычайная подвижность жестов и поспешность речи

совпадут с преувеличенной душевной восприимчивостью, свидетельствуя о близости или первых приступах безумия. Данные проявления могут принимать различные формы, которые необходимо знать; они зависят от первоначально раздраженного участка и от степени раздражения, которая, в свою очередь, обусловлена отдаленными причинами, длительностью их воздействия, индивидуальной восприимчивостью субъектов и прочими факторами.

В самом деле, подчас первичная возбуждающая причина кроется в нравственных отношениях между людьми, либо в чувственных или инстинктивных связях человека с животными, неодушевленными телами или природными явлениями; в таком случае эта причина носит нервный характер, то есть представляет собой прежде всего возбуждение нервов. В других же случаях первичная возбуждающая причина зависит от взаимодействия внутренней среды наших органов с проникающими в них инородными телами, такими как пища, горячительные напитки, лекарства и яды; и в этом втором роде этиологии возможны самые разные оттенки раздражения. Вполне вероятно, что возбудитель по самой своей природе производит в желудке раздражение скорее нервическое, нежели воспалительное; к таковым относятся спиртные напитки и некоторые весьма летучие ароматы. В этом случае раздражение, распространяющееся на головной мозг, также является преимущественно нервическим и более или менее уподобляется тому, которое зависит от определенных душевных причин. Мы говорим «скорее нервическое, чем воспалительное», поскольку — по причине, указанной выше (часть первая) — не бывает нервного возбуждения, которое не затрагивало бы кровеносные капилляры. Столь же возможно, что возбудитель способен породить в желудке раздражение скорее воспалительного, нежели нервического свойства. Во всех этих случаях мозг, принимающий передачу двойного гастрического раздражения, почти всегда испытывает болезненное ощущение. Чрезмерная восприимчивость головного мозга будет сопровождаться горестью, печалью, страхом, гневом; близость же или явное проявление безумия будут отмечены различными видами меланхолии либо склонностью к ужасающим посягательствам на самого себя или на окружающих.

Рассмотрим возможные сочетания этих двух родов причин. Предположим, что нравственные причины воздействуют на мозг, который уже находится под влиянием впечатлений, исходящих от больного внутреннего органа; в таком случае мы получим двойную причину для развития меланхолического или неистового помешательства, а привычные мысли, суждения или верования больного определяют специфический характер его бреда. Если же физические причины воздействуют на внутренние органы, которые, будучи сами по себе здоровы, тем не менее сообщаются с мозгом, уже пораженным мрачными помыслами, то бред неизбежно будет носить гораздо менее скорбный характер. Напротив, если благоприятные нравственные причины, такие как радость, удовлетворенное самолюбие или торжествующая гордость, воздействуют на мозг, уже возбужденный в более или

менее сладострастным ключевым органом, предрасположенным к подобному влиянию (например, половой системой), то следствием станет самый веселый и ликующий бред. Попробуем представить это иначе и бесконечно разнообразным образом скомбинируем все эти стимулы. Присовокупим к ним те процессы, что уже заложены во внутричерепном нервном аппарате, предназначенном для проявлений инстинкта и разума. Этот аппарат весьма обширен, так как он образует полушария большого мозга и мозжечка. Представим себе, что эти нервы на протяжении долгого времени оперируют воспоминаниями, то есть функционируют в особых, уже закрепившихся режимах, что также предполагает чрезмерную активность некоторых из этих нервов за счёт других; будем по-разному комбинировать эти воспоминания посредством иного образа действия, именуемого воображением, которое, быть может, представляет собой лишь преобладающее возбуждение определённых нервов того же аппарата; соединим сии воспоминания, уже искажённые, с текущими впечатлениями, доставляемыми чувствами; представим себе, что итогом сего внутреннего процесса становится постоянное раздражение органов нашего мышления, усугубляемое всеми теми раздражениями, что случайно возникают во внутренних органах. Присовокупим к этому бесконечное многообразие индивидуальной чувствительности и различия в воспитании — и мы, наконец, поймём, отчего в бреде помешанных может существовать столь великое множество оттенков и форм. Впрочем, мы так и не обнаружим здесь первопричины, ибо причина сия — та же, что и у самой мысли.

Кто-то, возможно, потребует от нас привести в подтверждение подобной этиологии иные факты, помимо уже перечисленных, проверка коих, впрочем, нетрудна, но требует знания множества других болезней, а также понимания того, как воздействуют на организм различные лекарственные или гигиенические факторы. Мы можем исполнить это, напомнив о некоторых самых обыденных фактах.

Когда человек глубоко поглощён мыслями о ком-либо или о чём-либо, он сохраняет в себе этот образ; он видит и слышит его столь же отчетливо и после того, как предмет скрылся от его взоров, словно тот все еще находится в непосредственной связи с его чувствами. Тот, кто прерывает требующий крайнего напряжения труд, дабы предаться покою, продолжает размышлять о нем вместо того, чтобы уснуть; если же сон все же приходит, он, как правило, не может прервать череду идей — она продолжается в виде сновидений. До тех пор, пока человек не отклоняется от нормального состояния, развлечение, отдых и сон позволяют прекратить действие этих господствующих впечатлений: иными словами, заставить забыть о горестях, унять былые обиды и, наконец, восстановить равновесие, возвращая человеку способность воспринимать новые впечатления и должным образом на них реагировать. Но если господствующие впечатления обретают чрезмерную силу — будь то вследствие необычайной или непрерывной активности породивших их причин, или же в силу предрасположенности самого субъекта, — эти

впечатления более не стираются. Возникает избыток памяти, навязчивое воспоминание об этих впечатлениях; человек не в силах им противостоять, и, питает ли он к ним влечение, как при эротической меланхолии, или же они ему ненавистны, как при иных видах меланхолии, вскоре он начнет замечать, что эти воспоминания влекут за собой иные, кои у него не было ни малейшего повода воскрешать. Больной — ибо отныне мы вправе называть его так — страдает от этого внутреннего движения, от этой тиранической памяти, принуждающей его созерцать сонм образов, которые он желал бы отринуть. Его беспокойство возрастает, когда он чувствует, как внутри него самого рождаются чудовищные сочетания этих образов — род интеллектуального труда, который обычно приписывают порокам воображения, — и когда всего его разума едва хватает на то, чтобы не уверовать в реальность этих химер.

Что ж, эта избыточная деятельность памяти, эти причудливые сочетания воображения сводятся для физиолога к чрезмерно живому и стойкому действию, к раздражению внутричерепного нервного вещества, предназначенного для отправления мыслительных операций.

Однако впечатления, полученные чрез посредство зрения, слуха и осязания — эти предметные стимулы, столь мощно обогащающие наш интеллект, — не являются единственными, способными воспроизводиться и составлять феномен памяти. Существует также, невзирая на отсутствие внешней причины, возвращение ощущений боли и удовольствия, некогда вызванные изменениями в нервах опорно-двигательного аппарата. Человек не только продолжает ложно чувствовать ампутированную конечность, но и испытывает в ней весьма острые боли, точно указывая их локализацию. Этот феномен памяти может быть объяснен лишь возбуждением мозга, которое возобновляется в отсутствие причины, некогда его вызвавшей; явление, которое, к слову, становится решающим аргументом в вопросе о том, являются ли наши восприятия и идеи чем-то иным, нежели состояниями возбуждения мозгового вещества.

Теперь следовало бы определить, могут ли нервы внутренних органов также давать восприятия, способные сохраняться в памяти. Рассмотрим прежде, каково влияние этих нервов на мозг. Онтологи упорствуют в своем нежелании принимать их в расчет при рассмотрении интеллектуальных явлений, однако у нас есть чем их убедить.

Разве внутренние органы не обладают нервом, относящимся к церебральной области — восьмой парой, — который беспрестанно передает их импульсы в мозг? Разве не сообщаются они с ним и далее, посредством связей симпатического нерва с позвоночными нервами? Не по этому ли двойному пути устанавливаются между мозгом и внутренними органами те отношения, что составляют основу инстинкта? И не ими ли также определяются мышечные движения, необходимые для инстинктивных актов, важнейшими из которых являются дыхание, рвота, изгнание

плода и так далее. Вряд ли кто-либо станет утверждать, что позывы к рвоте, кашлю, опорожнению кишечника или мочевого пузыря, а равно и к рождению ребенка, имеют своим первоначальным очагом мозжечок; напротив, необходимо признать, что именно нервы доносят до головного мозга причину восприятия этих потребностей, являющихся по своей природе инстинктивными. Эта причина представляет собой стимуляцию, ибо она есть не что иное, как распространение возбуждения от висцерального органа, побуждаемого к опорожнению; и всякий раз, когда в аппарат головного мозга поступает множество импульсов подобного рода — какова бы ни была причина, стимулирующая внутренние органы, от которых они исходят, — интеллектуальная деятельность оказывается под их чрезвычайным влиянием, а зачастую и вовсе подавляется. Опыт свидетельствует даже о том, что воля сопротивляется им гораздо слабее, нежели самым острым болям, исходящим от нервов, органов чувств или мышц. Воля заставляет мужественного человека, подвергаемого пыткам, сдерживать крик или вздох; но она не может сдержать действие мышц, служащих для криков и вздохов, когда потребности кашля, чихания или родов требуют содействия головного мозга посредством своего рода влияния, свойственного висцеральным стимуляциям. Причину этого мы усмотрели выше: она кроется в том, что сам образ действия мозга, от которого зависит феномен, именуемый волей, разрушается под воздействием избыточного возбуждения.

Поскольку мозг неспособен защититься от импульсов, которые в естественном состоянии ежесекундно посылают ему внутренние органы; поскольку он вынужден подчиняться их законам, прерывать ради них свои интеллектуальные операции и терпеть насилие над проявлениями воли, — нет ничего удивительного в том, что воспаление органов пищеварения и размножения искажает характер и порождает череду мыслей, совершенно отличных от тех, что владели человеком до болезни. Для изменения хода идей раздражению даже не обязательно достигать степени явного воспаления (*phlegmasie*): доказательством тому служит влияние пищи, алкогольных напитков или воздействие семени, скопившегося в семенных пузырьках и протоках. Тем более характер неизбежно должен измениться, когда органы пищеварительной и половой систем, находясь в состоянии хронического перевозбуждения, терзают головной мозг, непрерывно изливая в его нервные волокна часть того раздражения, которому они сами подвластны. Я упоминаю лишь эти две системы органов, так как, будучи наиболее богатыми нервами, они оказывают наиболее мощное влияние на орган нашего мышления; но я мог бы указать и на другие, ибо при сильных степенях раздражения все внутренние органы обладают способностью нарушать интеллектуальную деятельность мозга. Это изменение осознается и самими страждущими: они чувствуют, как от их внутренних органов исходит некое ощущение, устремляющееся к голове; они чувствуют, как оно воздействует на их разум, отвлекая внимание от предмета, на котором они желали бы его сосредоточить, и неодолимо влечет их к определенным чувствованиям и идеям. Ипохондрик, вследствие гастрического раздражения, ощущает исходящее из желудка томление, которое вселяет в него беспокойство и заставляет придавать

чрезмерное значение любому телесному ощущению, видя в каждом из них причину небывалых, неисчислимых и неукротимых бедствий. Невропатик, при раздражении сердца, с изумлением чувствует, как им овладевает ужас в тот самый миг, когда он испытывает сильное сердцебиение или спазм, который словно сжимает сердце и лишает его движения. Женщина, страдающая истерией, не в силах подавить страх удушья, охватывающий её в тот момент, когда ощущение характерного «истерического комка» закипает в её недрах и грозит подняться к самому горлу. Наконец, человек, пораженный бешенством, не может ни побороть ужас перед водой, ни отогнать от себя мрачные предчувствия и ужасающие, пугающие образы, которые лишают его сна или преследуют в сновидениях до тех пор, пока избыток раздражения не отнимет у него способность мыслить и не заставит погибнуть в конвульсиях. Чем сильнее раздражение в желудке и глотке, тем больше стимулируется его мозг, достигая той степени прилива крови, которая подавляет любые проявления рассудка. Полноту доказательств, предоставляемых этими разнообразными фактами, можно найти в действии успокаивающих средств — например, пиявок. Воздействуя на первоначально раздраженный орган, а не на мозг, они часто мгновенно устраняют все симптомы, указывавшие на вторичное раздражение этого висцерального органа.

Таким образом, характер влияния больных внутренних органов на головной мозг всегда сводится к стимуляции. И вот, когда эти стимуляции мозга становятся чрезмерными, непрерывными и навязчивыми, они могут вызвать в волокнах этого органа состояние постоянного раздражения, которое и составляет истинное безумие. Как только раздражение мозга берет верх над раздражением внутренних органов, сцена меняется: церебральное раздражение может вывести на передний план идеи, которые уже давно не являлись разуму. Но ничто не кажется нам доказательством того, что избыточная память о висцеральных ощущениях возможна; именно это обстоятельство позволяет нам подтверждать утверждения больных и прямым путем доказывать влияние внутренних органов на мозг. В самом деле, мы вызываем бред, воздействуя раздражителем на чувствительную оболочку; мы же прекращаем его, равно как и воображаемые страхи, устраняя раздражение, оставленное в этой оболочке стимулятором. Каких еще доказательств можно желать?

Против теории висцерального влияния могут выдвинуть аргумент, что меланхолия и подобные ей состояния развиваются лишь в силу боязливости, малодушности характера и, следовательно, по причине дурного развития мозга. Однако этой причины недостаточно, ибо субъект не всегда был невропатом или визионером и вполне может перестать им быть: характер составляет лишь предрасположенность; к тому же могут существовать «мнимые больные», которые при этом физически здоровы. Таким образом, мы имеем либо два вида стимуляции, прочно закрепившихся в мозгу, либо непрерывное церебральное раздражение, которое постоянно обостряется раздражением, исходящим от пораженных

внутренних органов. Все внешние признаки этого двойного раздражения проявляются как в преддверии болезни, так и на первых порах самого безумия: мы описали их в соответствующем месте.

Инстинкт извращается даже в тех случаях, когда безумие имеет интеллектуальное происхождение, ибо мозг, оказывая чрезмерное иннервирующее влияние на нервы внутренних органов, получает от них необычайные ответные реакции — импульсы куда более энергичные, нежели в нормальном состоянии. Расстройство поочередно затрагивает различные сферы: Сначала оно проявляется в высших психических отправлениях, порождающих интеллектуальные феномены; Затем — в области чувств и привязанностей: безумец начинает ненавидеть тех, кого прежде любил; И, наконец, в первичных потребностях, как мы уже видели при классификации мономаний. Тем более инстинкт должен исказиться в тех случаях, когда церебральное раздражение, составляющее сущность безумия, было спровоцировано и обусловлено раздражением внутренних органов. К этому роду относятся случаи, когда болезнь начинается с извращения аппетита, каковое наблюдается у некоторых ипохондриков и многих хлоротичных девиц, равным образом страдающих от раздражения пищеварительного тракта. Подобная порочность может проявляться и во многих других инстинктивных влечениях, помимо тех, что относятся к питанию, как это и было отмечено в классификации мономаний; однако в настоящее время я настаиваю именно на раздражении желудочных путей, поскольку проистекающие от него болезненные ощущения более всего способствуют печали, страху, зловещим предчувствиям, гневу и так далее. Именно по этой причине подавляющее большинство мономаний, влекущих к самоубийству и убийству, вызываются хроническими гастродуоденитами. Именно с такими симптомами их описывают все авторы, не исключая и убежденного церебриста *par excellence*, который разделяет с древними мнение, что для их излечения необходимо вывести если не черную желчь, то, по крайней мере, вязкие и черноватые соки (*humeurs*), коими обременены желудок и кишечник. Он словно хочет дать понять, что бред зависит от подобного рода материй; в чем он сам, безусловно, нимало не убежден, поскольку полагает, что всякое безумие берет свое первоначальное начало в расстройстве жизненных сил головного мозга.

Я вовсе не намерен вопрошать его, приписывает ли он образование этих соков влиянию больного мозга, равно как не стану спрашивать, что он думает о слизистой оболочке пищеварительного тракта, о печени или поджелудочной железе, кои и служат источниками этих выделений. Я иду далее и утверждаю, что здесь необходимо провести одно крайне важное различие. Существуют злодеи, кои в силу своего воспитания (известно, какой смысл следует придавать здесь этому слову) склонны к убийству или же имеют привычку к преступлению: таковые не нуждаются в сильном висцеральном порыве, чтобы совершить злодеяние. Сказанное мною относится, следовательно, к людям честным, коих безумие делает убийцами или толкает к самоубийству. Более того, я полагаю, что раз возникнув под влиянием

некой висцеральной причины, подобная склонность может порой сохраняться и после устранения первоначального повода; сие мы наблюдаем у некоторых безумцев, кои лелеют её долгое время, тщательно скрывают и прибегают ко всевозможным ухищрениям, дабы её удовлетворить. Однако не следует забывать: суть безумия составляет именно стойкость церебрального раздражения, сохраняющаяся вопреки прекращению действия всех породивших его факторов. Пока причина сохраняется, мы имеем дело лишь со страстью; лишь когда раздражение мозга становится перманентным, человека можно признать безумным.

Часто задаются вопросом: заслуживают ли имени безумцев те люди, кои, сохраняя в остальном способность здраво рассуждать, терзаемы порывом к убийству или самоубийству, внушающим им самим ужас? Я без колебаний отвечаю утвердительно: ибо разум заключается не в одном лишь умении делать верные умозаключения; он дан нам не только для того, чтобы творить благо; разум также имеет своей функцией удерживать нас от совершения зла. Тот же, кто поддался порыву, который сам же осуждает, рассуждал крайне превратно, ибо его не остановило предвидение последствий; он неверно оценил свои отношения с окружающими или же не рассуждал вовсе, что, в сущности, одно и то же. Он находится в том же положении, что и человек, разгоряченный вином: тот вроде бы рассуждает здраво, однако бьет и крушит всё вокруг ради одного лишь удовольствия от разрушения. Все эти люди не владеют в полной мере своим разумом, поскольку не способны противостоять порывам инстинкта, извращенного раздражением полиспланхического нервного аппарата. Такую мономанию называют рассуждающей, но лишь для того, чтобы отличить её от прочих; это объясняется тем, что помрачение в данном случае проявляется более в поступках, нежели в речах. Однако она неизменно является следствием некоего тайного помысла, осуществлению которого не смогла воспрепятствовать мнимая разумность больных, хотя они и сознавали его. Это свидетельствует либо об отсутствии, либо об извращении данной способности — то есть об утрате нормального типа мозговой деятельности, руководящей поведением человека. В данном случае главный вопрос для судебной медицины заключается в том, чтобы установить, действительно ли склонность к убийству является следствием болезненного извращения инстинкта; и врач всегда окажется в крайнем затруднении при вынесении заключения, если субъект ранее не выказывал иных признаков безрассудства или если таковые не проявились непосредственно после совершения убийства в виде вспышки неистового бреда.

То, что в течение периода, именуемого инкубационным, сдерживает развитие интеллектуального раздражения, ведущего к помешательству, — есть привычка к прежним идеям или, выражаясь языком физиологии, нервные движения, свойственные нормальному состоянию. Однако в конечном счете новый способ стимуляции берет верх над старым; в систему внутримозговой иннервации начинает внедряться иная привычка. До тех пор, пока эта новая привычка не станет

всеобщей и не разрушит прежнюю, мы наблюдаем лишь монотипию или манию с «просветлениями» (светлыми промежутками). Это справедливо и для тех безумцев, которые сами просят связать их или держаться от них подальше, когда чувствуют внезапный позыв к совершению человекоубийства. Когда же нормальный образ действия полностью стирается под воздействием раздражения, больной становится неспособен судить о собственном состоянии. Подобная перемена может быть обусловлена лишь чрезмерной быстротой движений перевозбужденных мозговых нервов; ибо нами было доказано наличие раздражения, а раздражение неизменно предполагает ускорение движений живого волокна, из какого бы вида животной материи оно ни состояло. Основным признаком раздражения в фибрине мышц, равно как и в желатине сосудов, является ускорение сократительных движений. То же должно быть свойственно и альбумину, составляющему белое вещество — собственно нервное волокно головного мозга: здесь оно вибрирует ускоренно, в согласии с желатином и фибрином мозговой капиллярной системы, как мы уже показали в первой части сего труда. И всякий раз, когда эти движения ускоряются чрезмерно и настойчиво, нормальный тип разрушается и безумие становится свершившимся фактом. Поскольку гипернормальный тип движения, составляющий суть помешательства, становится в конечном итоге устойчивой привычкой, «Я» более не способно отличить его от нормального состояния до тех пор, пока сохраняется раздражение. Неоспоримым доказательством моего утверждения служит то, что безумие можно излечить в самом его начале у прежде здорового субъекта после краткого периода инкубации, подавив раздражение мозга обильными и повторными кровопусканиями. Сие исцеление происходит точно так же, как при начинающейся перипневмонии, ибо в главном отношении — в отношении раздражения — между ними наблюдается полное тождество; то есть в обоих случаях кровопускания достаточно для исцеления болезни до тех пор, пока его достаточно для устранения раздражения. Ибо, будем искренни: какое иное состояние оно устраняет у человека, лишенного возможности нормально дышать, и у того, кто не способен нормально рассуждать, кроме как застой крови в легких у первого и в мозгу у второго? Раздражение, породившее этот застой, им же и поддерживалось; оно прекратилось, как только было устранено это полнокровие, и функции обоих органов мгновенно восстановились. Этого не произошло бы, окажись раздражающее изменение более продолжительным; в таком случае потребовалось бы немало времени, чтобы дать раздражению постепенно утихнуть или же устранить его при помощи отвлекающих средств. Эти факты применимы к раздражениям любых органов. Когда экспериментаторы найдут способ вызывать длительное сверхвозбуждение в нервном веществе головного мозга у обезьян и собак, они смогут породить безумие по своему произволу.

Безумие следует считать полным, когда текущие впечатления, воздействующие на органы чувств — например, речи, обращенные к больному, — более не способны выволить его «Я» из плена иллюзии; эта проверка служит пробным камнем; ибо она означает, что сверхнормальный режим внутримозгового движения столь

стремителен, что ничто не в силах его прервать. В самом деле, обратите внимание на его развитие: поначалу он носит лишь мимолетный характер; затем становится более продолжительным и стремится к непрерывности, однако остатков нормального состояния еще достаточно, чтобы его приостановить. Когда же этих остатков становится недостаточно — иными словами, когда обращение больного к самому себе, те акты самосознания, что прежде эффективно удерживали поток разрозненных идей, становятся невозможными, — голос постороннего человека еще может иногда на мгновение произвести тот же результат. Наконец, когда и эта внешняя сила оказывается тщетной, порочный режим торжествует: безумие становится подлинно завершенным.

К чему столь сильно удивляться разнообразию видов бреда? Поскольку все наши инстинктивные импульсы и все наши идеи связаны с движениями нервной материи как следствия со своими причинами, они могут воспроизводиться под действием раздражения, существующего в этой материи; и в этом заключается еще одна из великих истин новой медицины. Я доказал в «Физиологии, примененной к патологии», а также в первой части настоящего сочинения истину, которую нелишне будет вновь изложить, придав ей, по мере возможности, более доказательную форму. Истина сия состоит в том, что между многими страстями и возбуждаемыми ими висцеральными раздражениями существует некая взаимность влияния: так, например, подобно тому, как страх и внезапное изумление вызывают учащённое сердцебиение, само это сердцебиение, возникнув по причине физической, влечёт за собою чувства страха и изумления. То же наблюдается и в отношении желудка: всякие прискорбные душевные волнения, сопряжённые с порывами гнева, заставляют его страдать, а страдание желудка, вызванное физической причиной, неизбежно порождает грусть и нетерпеливость. Однако нет ни единого органа, в коем сия взаимность была бы столь явственной, как в органах деторождения. Лишь возвращением того образа мозгового возбуждения, что сопряжён с привкусом металла, сахара, перца или земли, со звоном колоколов, бряцанием металла или рокотом барабана, можно объяснить частое появление подобных ощущений у ипохондриков, страдающих хроническим гастритом. Таковы примеры памяти ощущений, коя при безумии столь же обострена, как и память восприятий и идей; и подобное обострение здесь вновь является лишь следствием органического раздражения. Эти факты также служат доказательством той ассоциации, которая устанавливается — благодаря интеллектуальным упражнениям и постоянному стремлению к выражению наших внутренних эмоций — между этими самыми эмоциями и идеями, приходящими к нам от органов чувств. Подобные aberrации вкуса, обоняния и слуха совершенно отсутствуют в младенчестве и крайне редки в детском возрасте; они проявляются лишь после полового созревания — в эпоху, когда головной мозг достигает своего полного развития. И чем дольше живет человек, чем больше он упражняет способность чувствовать и ощущать себя ощущающим, тем легче и чаще возникают иллюзии при длительных раздражениях нервного вещества органов чувств и энцефалического аппарата.

Стимулируемый воспаленным желудком, мозг вибрирует: то в режиме, соответствующем одному восприятию, то в режиме, отвечающем другому. В этом можно убедиться путем поочередного применения раздражающих и успокоительных средств, вводимых в этот внутренний орган.

Именно в силу этой ассоциации идей и телесных образов с определенными видами раздражения мозга, бурные приступы в начале болезни и в периоды обострения безумия — словом, то, что называют припадками маниакального возбуждения, — являют собой быструю череду бессвязных идей и галлюцинаций, столь невероятных. Эти явления свидетельствуют о том, что пары внутричерепных нервов, образующие полушария головного мозга и мозжечка, охвачены быстрыми и разнообразными раздражительными движениями. В самом деле, поскольку каждый способ иннервации воспроизводит образ того предмета, с которым он был связан, вкупе с чувствами, кои он обычно вызывал — и всё это в оттенках несравненно более резких и с быстротой гораздо большей, нежели в нормальном состоянии, — становится понятно, почему слова и поступки больного являют столь поразительное разнообразие. Они проявляются с необычайной стремительностью, подобной той, что наблюдается в гневе, при легком опьянении или во всякой бурной страсти; последние, в сущности, представляют собой то же явление, что и безумие, и отличаются от него лишь формально — меньшей продолжительностью: *ira, furor brevis* (гнев есть кратковременное безумие).

Между тем в этом расстройстве обнаруживается и некая постоянная черта: всякий раз, когда раздражение протекает живо, не причиняя боли, и сопровождается усилением иннервации мускулов без судорог, но, напротив, с ростом их сократительной силы, у маньяков пробуждается чувство превосходства, гордыня, невыносимое высокомерие, а зачастую и склонность к неистовству. Большинство таких безумцев сокрушают, ломают и уничтожают всё, до чего могут дотянуться; они убивали бы, будь на то их воля, и людей, и животных, и зачастую без иного повода, кроме инстинктивных порывов: потребности в физической разрядке, нужды в исходе избыточных жизненных сил, или же из самолюбия и чувства самоудовлетворения, которое здесь, без сомнения, совершенно неуместно; однако мы уже демонстрировали, что это внутреннее чувство подвержено поразительным искажениям. Они находятся в состоянии, подобном тому, что переживают юноши в пору полового созревания, когда ощущают, как в их теле пробуждается неведомая мощь; но у лишенных рассудка проявления этого странного возбуждения выражены несравненно сильнее.

Мы видели, что когда страдающие манией испытывают боли в органах пищеварения и в мозгу, инстинкт направляет их умственную деятельность в сторону меланхолии, а воспитание определяет характер идей, которые ими завладеют: это знаменует начало или период возбуждения, в течение которого больных осаждают самые пугающие образы, повергая их в ужаснейшее отчаяние. Преследуют ли их яростные звери, чудовища, разбойники, палач, полиция или сам дьявол; страшит ли

их ад, разверзшийся подле них, или же они воображают себя уже низвергнутыми в бездну и подражают тем конвульсиям, в которых книги и картины изображают проклятых, — всё это едва ли имеет значение; перед нами всегда одно и то же явление. Демонман подобен спящему, чьё «я», лишённое поддержки разума — то есть той степени возбуждения, что свойственна нормальному состоянию, — выстраивает различные образы вокруг легкого ощущения стеснения в груди. Ему кажется, будто на грудь давит огромный чёрный кот, или демон, пытающийся его удушить, или же обрушившееся на него здание; но стоит ему проснуться, как тягостное ощущение почти бесследно исчезает. То же происходит и с меланхоликом: на почве легкого недомогания он выстраивает множество более или менее мрачных химер, к которым привыкает его мозг и которые могут сохраняться, пусть и в меньшей степени, даже после исчезновения вызвавшей их причины. Здесь вновь обнаруживается связь между эмоциями, порождёнными раздражением внутренних органов, и идеями, почерпнутыми из чувственного опыта. Возбуждённая память делает эти идеи более интенсивными и способными в свою очередь воздействовать на те самые эмоции, что их вызвали. Отсюда рождаются те чудовищные образы, которыми одержимо воображение безумцев, и тот избыток гнева, ужаса и отчаяния, что делает их столь глубоко несчастными.

Было бы глубочайшим заблуждением судить об истинных убеждениях и устоявшихся взглядах человека по тому ряду идей, что доминируют над ним в состоянии безумия. Помешательство, еще не достигшее стадии слабоумия, характеризуется необычайным оживлением памяти на отвлеченные идеи в той же мере, что и любым иным интеллектуальным или эмоциональным расстройством. Воскресают самые старые воспоминания; в силу особенностей мозговой раздражительности они могут стать более явными и оказывать на текущую речь, чувства, влечения и желания большее влияние, нежели впечатления недавнего времени. Вполне возможно, что вновь проявятся мнения, от которых человек когда-то отрекся; или же, в силу обратного движения, последние взгляды вновь обретут господство; либо же произойдет причудливое смешение и тех, и других. Именно поэтому врачи, возглавляющие заведения для душевнобольных, столь часто наблюдают поразительные метаморфозы: благочестивый превращается в нечестивца; безбожник — в ханжу; скупец — в расточителя; скептик-пирроник — в ярого фанатика и так далее. По этой же причине страсть, чей избыток подготовил почву для безумия, не всегда сохраняется на протяжении всего течения болезни; время от времени в поведении больного проявляются ребячество и неуместность, создающие нелепые и причудливые противоречия в последовательности идей у большинства монومانов.

Общая мания, как мы уже видели, может протекать с возбуждением или без оного, с яростью или без неё, с увеличением мышечной силы или без него; иными словами, она имеет различные степени интенсивности: от той, что граничит с неистовством и сопровождается местным полнокровием и лихорадочным

возбуждением кровообращения, до той, что представляется исключительно нервной. Первая форма не может быть продолжительной, так как воспаление в короткий срок разрушает структуру мозга, если оно не будет побеждено силами самой природы или врачебным искусством. Вторая форма может длиться многие годы, подобно всякому раздражению нервного вещества, не сопровождающемуся избыточным приливом крови — как, например, невралгии, хронические и нервные ишиасы (обусловленные раздражением одноименного нерва), люмбаго, связанные с поражением нервного пучка, именуемого «конским хвостом», и так далее. Однако наиболее обыденны те случаи, когда частичное помешательство, или мономания, сменяет общую манию, которой она нередко и предшествовала.

Существует несколько способов объяснения мономаний. Теория доктора Галля — самая простая и наиболее заманчивая. Если мозг состоит из различных органов, то, применяя учение о раздражении, совершенно естественно допустить, что каждый из этих органов может быть раздражен изолированно; это дает столько же видов мономании, сколько существует органов, составляющих мозг. Весьма прискорбно, что против столь удобной системы выдвигаются серьезные возражения. Прежде всего поражает трудность в определении границ наших склонностей и способностей или в сведении их к достаточно малому числу категорий, дабы они не превышали количество тех органов, из которых господин Галль составляет головной мозг. В самом деле, что значат двадцать восемь или тридцать органов в сравнении со вкусами и влечениями нашего инстинкта, с дарованиями и многообразием нашего разума? Ограничиваясь тем малым числом органов, что предложено органологом, мы вынуждены прибегать к постоянным ухищрениям, дабы через различную степень развития и всевозможные сочетания признанных органов объяснить те склонности и интеллектуальные способности, кои не имеют собственного органа. Но как преуспеть в этом, не впадая ежеминутно в гипотезы, коль скоро невозможно материально разграничить допущенные теорией органы и обнаружить среди них некий центральный, который сообщался бы со всеми остальными, связывая их и, по мере надобности, ими управляя? Если бы доктор Галль мог выявить при вскрытии хотя бы определенное число пар нервов в большом мозге и мозжечке, тогда можно было бы попытаться распределить между ними все наши интеллектуальные способности и все наши эмоциональные склонности. Однако он весьма далек от подобной анатомической точности; он ограничивается лишь тем, что выдает за обособленные органы отдельные извилины, являющиеся частью единой нервной ткани, в которой природа не провела никаких видимых границ. Именно этой нервной оболочке он вверяет все сокровища разума и, более того, все проявления инстинктов, за исключением лишь одного, который он закрепляет за иным участком, составляющим примерно седьмую часть от первого. Согласимся, что подобное разделение не может удовлетворить анатомов и не может не казаться им в известной степени произвольным.

По его словам, на его стороне стоят наблюдения; но к каким же фактам он апеллирует? В вопросе о мозге он ссылается на костные выступы, которые вполне могут и не соответствовать неизменно одному и тому же пучку нервных волокон, и которые не всегда точно соответствуют интеллектуальным и аффективным преобладаниям. В отношении мозжечка он ссылается на некое совпадение, которое я порой находил ошибочным и которое, вероятно, не является единственным в своём роде. Действительно, при вивисекциях была отмечена тесная связь между мозжечком и мышечным аппаратом; впрочем, можно обратиться к тому, что мы говорили по этому поводу в первой части данного сочинения на странице. Кроме того, помимо эрекции, которая иногда отсутствует при воспалении мозжечка, всегда наблюдаются судороги мышц позвоночника. Наконец, кровоизлияния в мозжечок вызывают апоплексию так же неизбежно, как и кровоизлияния в головной мозг. Следовательно, опыт доктора Галля не является абсолютно точным во всех деталях и не может считаться бесспорным даже для тех, кто изучал его систему с величайшим вниманием.

Объяснение интеллектуальных и аффективных нюансов через различия в образе действия или в степени раздражительности мозгового аппарата — этого общего органа инстинкта и разума — разрешает многие трудности, которые одни лишь костные выступы черепа устранить не в состоянии. Прежде всего, эту трактовку приходится признать для таких случаев, как следующие: господин Галль сам цитирует лиц, у которых раздражение развило способности, коими они прежде не обладали. Подобное явление находит гораздо более убедительное объяснение в повышенной степени активности некоего общего органа, ведающего несколькими способностями и подчиненного единому принципу действия, нежели в экзальтации жизненной силы некоего «специального органа», который до того момента был бы менее крупным и менее энергичным, чем все остальные. Ибо непонятно, почему это раздражение, способное локализоваться и вне пределов головного мозга, не сохранило бы преобладания за другими органами, возбуждая их в той же мере, что и тот орган, который они обычно затмевали. Добавлю, что подобные факты далеко не редки: встречается множество субъектов, которые в состоянии опьянения неизменно проявляют наклонности, прямо противоположные тем, что свойственны им в нормальном состоянии. Гастрит искажает склад характера до такой степени, что делает храбрецов малодушными, а людей, отличавшихся кротостью и хладнокровием, превращает в нетерпеливых и несносных. В целом, болезни, активизирующие кровообращение, не причиняя при этом боли или тоски, имеют тенденцию внушать веселость, усиливать интеллектуальные способности и даровать иллюзорные надежды; в то время как недуги, чье угнетающее влияние сковывает работу сердца посредством особой боли или через недомогание, порождают мрачные мысли, опасения, ужас или отчаяние. Первый случай наблюдается у множества подростков: именно в тот момент, когда наставники расточают им величайшие похвалы, когда ученик с удвоенным рвением отдается труду и, кажется, превосходит самого себя, развивается то раздражение, что

подготавливает легочную чахотку. Второй случай встречается у всех нервических субъектов, страдающих хроническим гастритом.

Несомненно, органы этих способностей должны существовать, дабы те могли развиваться или извращаться под влиянием раздражения; несомненно, передняя часть полушарий головного мозга — органы наших нравственных способностей — при условии ее всестороннего развития во многом способствует наделению нас высокой степенью интеллекта через то, как она видоизменяет совокупность стимулов. Однако нельзя полагать, будто та или иная способность привязана к определенному внутричерепному нервному пучку таким образом, что не может быть осуществлена никаким иным: это никогда не будет доказано. Требуется согласованное действие различных частей внутреннего аппарата, а зачастую даже и внечерепных нервов, дабы завершить те впечатления, из которых слагается суждение, сколь бы мало оно ни было сложным, в особенности когда в процесс вмешиваются инстинктивные эмоции, и для того, чтобы сообщить воле мощный импульс.

Каждый нервный пучок, без сомнения, должен вносить в это свой определенный вклад; но почему бы действию некоторых пучков не отвечать — при известных степенях импульса — на раздражения, побуждающие нас судить, любить или ненавидеть, таким образом, чтобы порождать образ или состояние, отличное от тех, которые этот же пучок обычно производит? Разве не известно, что лишняя степень интенсивности придает удовольствию характер боли? Достаточно простого расчесывания кожи, чтобы в этом не осталось никаких сомнений.

Из системы доктора Галля следовало бы, что орган должен ежесекундно менять свою роль или же придавать новые силы тому, кто призван быть его антагонистом. Кто сказал нам, что десять вибраций вместо пяти в заданный промежуток времени не способны превратить обычного человека в гения, оживив память, которая снабжает разум материалами, прежде обретаемыми с большим трудом? И разве не видели мы, как эта новообретенная легкость в труде меняет вкусы и привычки людей? Не может ли по той же причине произойти обратное у человека, и без того достаточно стимулированного, когда избыток возбуждения, в котором он не нуждается, не повергает ли его в смятение и хаос? Всякий, кто наблюдал за собранием пьющих, знает, что и думать по этому поводу. Не может ли случайное уменьшение раздражимости ослабить иные способности, обладавшие лишь той мерой деятельности, которая была необходима для их полноценного функционирования? Не подобного ли рода изменениями обусловлено внезапное развитие высших способностей у людей, коих прежде считали обреченными на унылую посредственность, равно как и своего рода вырождение, проявляющееся в определенном возрасте у членов некоторых семейств? Легкое проявление гастрита или гипертрофии сердца, чрезмерное напряжение ума или памяти, удар или падение — всего этого достаточно, чтобы вызвать улучшение или ухудшение способностей, в зависимости от того, возникнет ли в результате больший или

меньший прилив сил, большая или меньшая подвижность, необычайное ли расслабление или же застой, затрудняющий сократимость мозгового белка. И всё это происходит без заметного изменения объема самого мозга; ибо изменение объема может совершаться лишь в течение длительного времени, тогда как перемены, возникающие в легкости умственных операций, влекут за собой и перемены в вкусах и склонностях, за весьма незначительный промежуток времени.

Если неослабевающее возбуждение при безумии способно расслаблять или напрягать, расширять через размягчение или уплотнять через отвердение саму мозговую массу; если избыток памяти сопутствует избытку действия и сократительной силы; если утрата этой способности есть следствие недостатка подвижности или чрезмерной вялости; если в состоянии безумия все прочие способности находятся в прямой зависимости от памяти — то почему бы не допустить, что подобные изменения возможны и при нормальном состоянии мозга? Разумеется, для интеллектуальных способностей необходим определенный объем мозга; несомненно и то, что их проявления должны иметь различия, соответствующие преимущественному направлению мозговых волокон. Однако это далеко не единственные факторы, обуславливающие те многообразные отличия, которым данные способности подвержены. *Деятельность влияет на возникновение глубоких различий в гораздо большей степени, нежели масса: будь иначе, эти различия не казались бы нам столь поразительными.* Дистанция, отделяющая гения от обыкновенного человека, отнюдь не пропорциональна тому превосходству в развитии мозга, коим он может обладать; и зачастую те из людей, что стоят ниже его по способностям, обладают большим объемом мозгового вещества, чем он сам, именно в той области, от которой принято ставить в зависимость его интеллектуальное превосходство. Сколько литераторов жило во времена Вольтера, чей мозг по своей массе превосходил его собственный — даже в тех отделах, которые, согласно теории господина Галля, соответствуют дарованиям, коими философ обладал в столь высокой степени?

Наше твердое убеждение заключается в том, что для проявления выдающихся способностей человеку действительно необходимо определенное развитие мозга как органа интеллекта; мы согласны, что наиболее яркие таланты сопряжены, как того требует учение доктора Галля, с развитием передней половины полушарий головного мозга — мнение, которое высказывалось еще в античности. Однако мы полагаем, что когда эти части достигают определенного объема, между человеческими способностями возникают различия, обусловленные иными причинами, нежели просто масса. Мы верим, что эти различия подчинены характеру действия; что большая или меньшая степень раздражимости, сократимости, устойчивости в состоянии плотности, гибкости или ригидности нервных волокон мозга заставляет их варьироваться до бесконечности; что движения подвижной животной материи, перемещения весомых субстанций и того неуловимого нечто, что пробегает по нервным волокнам, играют огромную роль в

возникновении этих различий. Раздражения, поступающие от внешних чувств, равно как и те, что исходят от чувств внутренних, а также то, каким образом разум, сообразно обстоятельствам, реагирует на те и другие — всё это непрестанно видоизменяет наши способности. Вследствие этого невозможно установить постоянную, неизменную связь между той или иной склонностью или дарованием и соответствующей им костной выпуклостью черепа.

Таковы причины, побуждающие нас не соглашаться с доктором Галлем и не классифицировать мономании сообразно строению черепного свода; однако это ничуть не мешает нам высоко ценить труды сего превосходного и неутомимого наблюдателя. Основы его системы отличаются большой основательностью; мы почитаем его одним из тех, кто наиболее глубоко постиг функции нервной системы, и исполнены негодования при виде того легкомыслия и неблагодарности, с коими к нему относятся иные авторы. Едва выйдя из числа его слушателей, они позволяют себе нападки на него, хотя всем разумным, что было ими высказано о функциях мозга, они обязаны именно ему. Мы упрекаем сего ученого мужа лишь за недостатки, которые ни в коей мере не колеблют основ его доктрины, заключающейся в сведении всех интеллектуальных и инстинктивных явлений к деятельности мозгового аппарата. Однако мы находим, что он наделяет этот аппарат избыточной независимостью и проводит в нем произвольные разделения; ибо упреки, которые мы ему предъявляем, вкратце сводятся к следующему: (1) Изоляция наклонностей и способностей в определенных нервных волокнах, коим приписывается статус своего рода самостоятельных существ — каковыми они быть не могут, что мы уже доказали, рассуждая о психологах; (2) Отрицание согласованности всего аппарата при осуществлении каждого интеллектуального явления и произвольное установление некой «онтологической республики» внутри головного мозга; (3) Допущение взаимодействия органов друг с другом без содействия этой общей согласованности, при том что в его системе отсутствует какой-либо регулирующий орган — изъян, в котором его уже упрекали и на который он так и не ответил; (4) Непризнание того, что различия в жизненной деятельности могут обуславливать глубочайшие перемены в наклонностях и способностях; (5) Отказ от признания должной роли колоссального влияния, которое оказывают органы пищеварения и репродуктивной системы на головной мозг; (6) Наконец, утверждение, что выступы на поверхности мозга являются безусловными, неизменными признаками и дают верную меру аффективных и интеллектуальных преобладаний. Однако, несмотря на этот последний упрек, мы не оспариваем большинство его наблюдений касательно влияния развития определенных областей головного мозга на склонности и способности; мы лишь порицаем его за то, что он не признает за этими склонностями и способностями иной причины, кроме преобладания массы.

Заклучение по теории помешательства

Сравнение данных вскрытий с проявляемыми симптомами проливает на безумие достаточно света, чтобы можно было окончательно сформулировать физиологическую теорию этой болезни.

С самого начала этой статьи я утверждал, что безумие является одним из следствий раздражения. История причин, образ их действия, физиономия и ход симптомов — словом, всё при жизни больного способствовало доказательству моего утверждения. Посмертные изменения подтвердили его для острого состояния, поскольку мозговое вещество было найдено затвердевшим и пронизанным кровяными тельцами в пропорции, значительно превышающей норму, и поскольку это вещество казалось сильно прижатым к костным стенкам и сплюснутым, словно подвергшись некоторой степени гипертрофии. Эти изменения соответствуют тому периоду, когда наблюдается совпадение избыточной сократительной силы и кровяного застоя.

Хроническое состояние не обнаружило ничего противоречивого, ибо инъекция сосудов и помутнение оболочек суть очевидные следы раздражения, господствовавшего в кровеносных сосудах. С другой стороны, если атрофия в хронической стадии сменила гипертрофию острой фазы; если на смену твердости пришла мягкость; если твердость, когда она имела место, порой являла следы болезненного уплотнения, — во всем этом я могу видеть лишь точное исполнение законов, общих для всех воспалений и подвоспалительных состояний, кои можно наблюдать и в других органах. Зачастую мозг умалишенных, подвергаясь атрофии, сохранял свою плотность без видимых признаков дезорганизации; это служит верным доказательством того, что уменьшение объема было следствием не всасывания серозной или гнойной жидкости, а постоянного усиления сократимости всей мозговой массы, то есть мощного и продолжительного раздражения. В иных обстоятельствах присутствие настоящего гноя не оставляло сомнений в существовании воспалительного процесса из числа тех, кои именуются истинными. Во всех случаях атрофии головного мозга череп сужается, выступы на его внешней поверхности сглаживаются, в то время как по мере прогрессирования безумия лицо утрачивает свою выразительность. Но одновременно с этим обнаруживается, что кости либо утолщены, уплотнены подобно слоновой кости и налиты кровью, либо же, напротив, истончены и хрупки. Кто может усмотреть в этих переменах что-либо иное, кроме непреложного закона, развитого в нашей «Физиологии»? Согласно ему, стенки полостей всегда должны находиться в строгом соответствии с заключенными в них органами, если только между ними не оказывается какого-либо постороннего тела. Мозг уплотнился; следовательно, было необходимо, чтобы и череп сжался. Внутренняя пластинка кости сначала последовала за органом, отделившись от внешней; однако со временем и внешняя была вынуждена последовать за ней, отчего наружные выступы сгладились. Господин Галль упоминал об этом, не дав, однако, объяснения феномену раздражения, концепцию которого он не проработал в достаточной мере. Изменения в мозге он приписывает

болезни и искажению жизненной силы. Сказанного недостаточно: подобное утверждение слишком туманно для нашей эпохи. Лишь распространением раздражения изнутри наружу следует объяснять склеротическую гипертрофию костей черепа; что же касается хрупкости черепа, сопровождающейся его истончением, то подобные явления наблюдаются у безумцев, состарившихся в состоянии деменции; эти явления относятся к разряду атрофий, которые приходят на смену гипертрофиям, вызванным чрезмерным раздражением.

Неравенство объема двух полушарий, по-видимому, немало удивило исследователей; но что же в этом удивительного, если речь идет о парном органе? Доводилось ли когда-нибудь видеть обе половины подобных органов пораженными болезнью или разрушенными в совершенно одинаковой степени? Разве к концу долгой жизни во всех наших симметричных органах не устанавливается неравенство в ущерб правильности наших форм? Очевидно, это происходит оттого, что мы не можем подвергать все части этих органов одинаковому внешнему воздействию.

Резюмируя данные вскрытий, я утверждаю, что: излияния и инфильтрации; гидатиды оболочек; общие уплотнения, с кровенаполнением или без оно, сопровождающиеся гипертрофией или атрофией; излияния и кровоподтеки в мозговом веществе или замеченные в нем мраморные пятна; окаменения и частичные размягчения; оссификация артерий и оболочек; наконец, «слоновое» уплотнение мозга с гиперемией, равно как и его истончение и хрупкость, — все это суть следствия раздражения. Все это доказывает, что раздражение, если оно не успело с самого начала всё смешать и разрушить путем бурного воспаления, действует, по меньшей мере, в форме скрытого воспаления (subinflammation) и дезорганизует каждую ткань сообразно природе образующего её живого вещества и её особым свойствам.

Поражение слизистой оболочки пищеварительного тракта и неизбежно сопутствующее ему поражение печени могли начаться ещё до развития безумия и, под воздействием определенных факторов, ускориться в ходе болезни, став в итоге причиной смерти. Однако доподлинно известно, что длительное раздражение головного мозга неминуемо влечет за собой раздражение органов пищеварения и печени, которому нередко сопутствует водянка. Что же касается воспалений (phlegmasies), следы которых могут быть обнаружены в грудной клетке или опорно-двигательном аппарате, то они носят случайный характер и не должны нас задерживать.

Таков фактический материал. Перейдем теперь к объяснениям, то есть попытаемся посредством индукции вывести из этих фактов иные, менее очевидные положения, которые бы обосновали первые; для этого достаточно будет обобщить всё то, что мы только что столь подробно изложил

Первым следствием раздражения той части мозгового вещества, которая управляет интеллектуальными явлениями, становится чрезмерное развитие памяти и воображения; ибо само воображение есть не что иное, как одна из форм памяти. Если этот избыток непрестанно нарастает, сон сокращается или, по меньшей мере, становится почти неотличим от бодрствования. Избыточная внутричерепная активность воскрешает былые впечатления и сочетает их самыми разными способами, новыми для сознания индивида; он видит и чувствует в себе это зарождающееся смятение. Более того, он оказывается обманут галлюцинаторными ощущениями, причина которых кажется ему внешней, тогда как она — не что иное, как раздражение его собственного мозга. Он содрогается при мысли, что едва не поверил в эти химеры и странные сочетания своего возбужденного воображения; он сокрушается, чувствуя, как они возникают и длятся вопреки его воле — даже в те мгновения, когда он более всего жаждет от них освободиться. Таково было наше изложение; теперь же сделаем еще один шаг вперед.

От веры в эти призраки его всё еще удерживает некий остаток нормального режима деятельности головного мозга; но в конечном счете аномальный режим берет верх. С этого мгновения разум, неразрывно связанный с нормальным состоянием, перестает существовать: сознание становится ложным, а воля — извращенной, поскольку воля более не повинуется «Я» в его нормальном состоянии. Действительно, при полном безумии сознание и само «Я» настолько искажены, что больной перестает воспринимать себя в истинных отношениях с себе подобными; наблюдатель обнаруживает в нем уже не «Я» здорового человека, но ложное «Я», ложное сознание, действующее согласно идеям — будь то разрозненным или же связным и последовательным, — но зиждущимся на ложных принципах. Таковы отличительные черты высшей степени общей мании.

Когда безумцы подобного рода сохраняют память о том, что они говорили и делали, можно было бы предположить, что их «Я» было лишь подавлено, а не разрушено; однако этого не происходит в моменты крайнего возбуждения: они не способны вспомнить то, что было сказано или сделано в чрезмерной стремительности порыва. Они подобны людям в состоянии опьянения или во власти неистовства, которые мгновенно забывают свои слова и поступки. В аналогичном положении находятся и находящиеся в состоянии бреда. Самонаблюдение, а следовательно, и память о своем интеллектуальном состоянии, изменяют человеку всякий раз, когда его умственная деятельность превышает определенную степень стремительности. Таким образом, поскольку память о приступах безумия зачастую хранит лишь обрывки многих сцен их бреда, она не может служить доказательством сохранения сознания и собственного «я».

Когда пришедший в себя безумец описывает всё, что он совершил, и признаёт, что был обманут ложными образами вещей; когда он доказывает, что его рассуждения, основанные на фактах, казавшихся ему реальными, были выстроены безупречно; словом, когда он сохраняет память о приступе, — всё ещё можно было

бы предположить, что он сохранил своё «я», но его сознание было введено в заблуждение ложными образами, возникшими вследствие раздражения головного мозга. Однако в тех случаях, когда он попеременно то благоразумен, то безумен, или же рассудителен в одном вопросе и безумен в другом, причём его совершенно невозможно разубедить, — что должны мы думать о его «я» и его сознании? Если мономан верно судит о температуре или форме предмета, следует ли из этого заключать, что он обладает разумом? Если он здраво отвечает на вопросы о своих насущных потребностях, можно ли вывести из этого, что он обладает сознанием своего «я»? Но если мы допустим это, то где же обнаружатся разум, сознание и само «я», когда тот же самый индивид объявит себя собакой, оборотнем, бутылкой, бурдюком, дорожным столбом, горчичным зерном и тому подобным? Скажут ли тогда, что он обладает двойственным «я», двойственным сознанием — одним для истинных представлений, а другим для ложных? Будь то даже для того, кто воображает себя животным, еще можно, в строгом смысле слова, допустить наличие «я» собаки или оборотня; но какое представление следует составить о «я» придорожного столба или о «я» бутылки? Если же мы откажем ему в двойственном «я» и двойственном сознании, станем ли мы утверждать, что он обладает лишь своим обычным сознанием, которое попросту омрачено болезнью? Здесь возможны два ответа:

1. Можно допустить существование сознания, подавленного недугом, у того, кто порой являет признаки здравомыслия; но можно ли признать его за тем, кто не обнаруживает их на протяжении многих лет? Где пребывает «я», где таится сознание человека в состоянии безумия, который, прожив долгое время в полном отупении, умирает, так и не подав свидетельств того, что сохранил разум? Встречаются те, к кому он возвращается в последний миг; но куда же он удалялся в пору столь долгого отсутствия? Скажут, что болезнь подавляла его; что ж, я перехожу ко второму ответу.
2. Утверждая, что «я» и сознание были подавлены болезнью, необходимо определить, что же такое сама болезнь. Ее нельзя мыслить как некое существо определенной формы, которое стесняет или гнетет другое существо с такими же определенными формами, именуемую «я», или же сущность той же природы, именуемую сознанием. Как же в таком случае следует представлять себе это «я», сознание и болезнь, дабы высказать нечто разумное?

Завершая сие рассуждение, которое я не намерен продолжать далее, ограничившись лишь ссылкой на первую часть настоящего труда, сделаем вывод: если мы желаем избежать онтологических излишеств, не следует утверждать в общем или абсолютном смысле, будто безумен разумен или же он утратил разум; будто он сохраняет или не сохраняет сознание своего «я»; будто чувство собственного «я» подавлено бременем недуга и лишь стремится к восстановлению, как это происходит после исцеления, а порой и в последний миг жизни; и будто,

даже не проявляясь вовне, чувство это тем не менее существует, поскольку оно якобы является некой вещью или простой, неразрушимой субстанцией и так далее, и тому подобное. Подобный метафорический язык ничему не учит; он лишь способствует продлению власти иллюзий и дает оружие в руки фанатизма. Надлежит говорить о вещах так, как они есть на самом деле: порой безумец обладает разумом, а порой — нет; иногда он сознает собственное «я», а в другое время лишен этого сознания; когда же он выздоравливает, то он вновь обретает разум; он также может обладать им в течение нескольких мгновений перед смертью, но нередко он погибает, так и не вернув его. Причина этих различий кроется в том, что слова «разум», «я», «сознание» выражают лишь результаты деятельности нервного вещества головного мозга — деятельности, которая способна изменяться до тех пор, пока теплится жизнь. Наконец, следует добавить: именно в силу того, что больной не обладает ни постоянным разумом, ни рассудком, который всегда был бы здоровым, он более не находится в нормальных отношениях с другими людьми.

Что касается объяснения этого столь переменчивого нравственного состояния, то, опираясь на изучение причин, течения болезни и данных вскрытий, следует заключить: когда мозг раздражен слишком сильно, безумец не имеет ни разума, ни сознания; когда же раздражение лишь умеренно, он обладает и тем, и другим; но стоит раздражению вернуться, как они исчезают — подобно тому, как это случается при обычном сне или, если угодно, при апоплексии. Если же разум вновь является на несколько мгновений при приближении смерти, то это происходит вследствие прекращения болезненного перевозбуждения в мозгу, который болезнь еще не успела окончательно разрушить; и это служит последним доказательством роли, которую играет раздражение во всех видах бреда: вот что следует сказать об этом роковом мгновении.

Что же касается выздоравливающих помешанных, у которых слишком живые беседы или преждевременная свобода вызывают рецидив, то следует добавить следующее: упражнение их разума и сознания, равно как и приложение того и другого к текущим чувственным впечатлениям, суть не что иное, как мозговые стимуляции. Последние, превращаясь в мозговые раздражения, заставляют исчезать разум, сознание и само «я» — или, если угодно, тот нормальный тип деятельности мозга, от которого всё это зависит. Когда человек лишен разума, как это бывает при общем помешательстве, он в данный момент не обладает этим типом деятельности; когда же разум возвращается лишь порой и утрачивается при малейшем возбуждении, человек не владеет этим типом уверенно и постоянно, но он владел им прежде — следовательно, он его утратил; в то время как врожденный идиот, никогда им не обладавший, не мог его и лишиться. Таковы доводы, подтверждающие определение безумия, которое я дал.

Добавим, чтобы дать новые опоры этим истинам, всё теснее связывая их с физиологией, что при хроническом раздражении сократительная сила не уничтожается до тех пор, пока не нарушается память; ибо ослабление этой

способности является первым признаком убывания упомянутой силы. При этом болезненная привычка по прошествии определенного времени делает состояние неизлечимым, если только эта неизлечимость не является следствием органического разрушения тканей. Вся масса головного мозга в большей или меньшей степени поражена болезнью даже при мономаниях; следовательно, они отнюдь не являются частичными поражениями мозга. Мы основываемся в своих суждениях на следующих фактах: Мономаны проявляют слабость во всех интеллектуальных аспектах; Предметы мономаний изменчивы и могут сменять друг друга; Ни один факт патологической анатомии не подтверждает совпадения повреждения конкретного участка мозгового вещества с определенным видом бреда; Деменция, когда она развивается у мономанов, никогда не ограничивается лишь теми темами, на которых был сосредоточен частичный бред; она всегда носит общий характер и начинается с ослабления памяти, каким бы ни был предшествующий вид бреда и даже если не существует иного поражения головного мозга, кроме уменьшения мышечной силы.

Мы также утверждаем: если мы видим безумцев в состоянии деменции, которые играют в шашки или занимаются музыкой, это происходит лишь потому, что деменция еще не завершена. В самом деле, ослабление сократительной способности в самом начале дает о себе знать лишь через снижение наиболее сложных интеллектуальных операций, таких как суждения, требующие сопоставления значительного числа восприятий. Именно по этой причине память о высших абстрактных идеях и дедуктивных умозаключениях ослабевает и исчезает первой, в то время как для разрушения памяти об образах, служащих для простых комбинаций и действий, наиболее близких к инстинктивным, требуется гораздо больше времени.¹¹

Слабоумие, в известном смысле, подвергает наши способности анализу через ту последовательность, в которой оно их разрушает. Когда интеллектуальная составляющая этих способностей — или тот образ действия мозга, от которого они зависят, — перестает существовать, больные предаются самым грубым и отвратительным инстинктивным актам, зачастую глубоко противоречащим нормальному состоянию, что свидетельствует о деградации инстинкта. Если же такие больные живут еще некоторое время, слабоумие лишает их даже инстинкта, даже воли, низводя их до состояния, которое в этом отношении ставит их ниже зоофита и, возможно, даже ниже растения;¹² это наблюдение представляет исключительную ценность для физиолога, поскольку оно демонстрирует, до какой степени нервная система становится необходимой для жизнедеятельности тех животных, у которых она достигла высокого развития, и в особенности для

¹¹ Могут возразить, что игра в шашки требует сложных комбинаций... однако самые сильные игроки в шашки, которых я знал, были людьми ограниченными.

¹² Смотрите выше, описание того прискорбного состояния, в коем заканчивают свои дни те слабоумные, чья жизнь не была прервана случайным осложнением прежде естественного завершения их мозгового недуга.

человека.¹³ Врачи-физиологи также должны извлечь немалую пользу из этого факта, дабы подтвердить уже сказанное нами о роли головного мозга и его производных во множестве болезненных симпатий, которые наши предшественники отказывались объяснять.

Глава восьмая: Прогнозы при безумии

Прогноз при безумии основывается на его причинах, телосложении больного, характере начала болезни, её течении и осложнениях.

Безумие, вызванное случайными причинами, всегда оставляет больше надежд на благоприятный исход, нежели то, которое обусловлено врожденной предрасположенностью, когда внешние обстоятельства послужили лишь определяющим фактором. Среди последних причин наиболее опасаться следует причин нравственных (душевных), в особенности если они воздействовали на протяжении долгого времени. Однако в тех случаях, когда длительные душевные страдания осложняются хроническим заболеванием пищеварительного тракта, исцеление всегда оказывается более затруднительным, поскольку оба раздражения взаимно стимулируют и поддерживают друг друга. Таков случай тех, кто долгое время предавался пьянству; полагают даже, что они могут передавать эту предрасположенность своим детям, однако сие утверждение представляется мне весьма сомнительным. Гораздо чаще случается так, что порочное устройство мозга предрасполагает человека одновременно и к безумию, и к беспутству; именно это предрасположение в некоторых семействах передается от отца к сыну.

Безумие, возникающее вследствие причин чисто физических — таких как прекращение выделений, подавление кожной сыпи (экзантемы) и тому подобное, — обыкновенно поддается правильно выбранному лечению, если только оно не осложнено наследственностью или теми нравственными и физическими причинами, которые были подробно описаны выше. Самыми же тяжелыми признаются случаи, когда безумие следует за болезнью, нанесшей урон самой

¹³ Нам неизвестно, что некоторые животные, такие как зоофиты и им подобные, распознают и схватывают свою добычу, не обладая выраженной нервной системой. Дело в том, что у них нервное вещество, будучи слито с иными формами животной материи, оказывается достаточным для того малого числа действий, кои им предписаны. Окружающая среда в изобилии снабжает их пищей, а раздражимость их волокон дает им возможность её захватывать. Однако по мере того, как акты, необходимые для питания и размножения, множатся и усложняются, нервное вещество всё явственнее обособляется от прочих тканей, становясь более обильным и приобретая всё большее влияние на функции организма. Наконец, у человека оно достигает такой степени значимости, что само существование не может поддерживаться без иннервации и, что еще более важно, без явлений чувственного восприятия.

структуре мозга: к таковым относятся эпилепсия, параличи, апоплексия и прочие. В этих обстоятельствах наступление слабоумия не заставляет себя долго ждать.

Когда безумие у прежде здорового человека начинается внезапно и бурно, это внушает гораздо меньше беспокойства за исход дела, нежели когда болезнь предвещается: ослаблением памяти; затруднением при произнесении определенных слогов; кратковременными иллюзиями, которые больной замечает и которых может даже избегать, намеренно напрягая свое внимание. Эти признаки, обычно проявляющиеся после продолжительных умственных трудов, душевных невзгод или болей, сопровождающихся слабостью в мышцах спины, а также верхних и нижних конечностей, нередко сопровождаемые дрожью и судорожным трепетом, возвещают, что сократительная способность мозга уже истощена раздражением и что больной вскоре впадет в глубокое слабоумие, отягощенное общим параличом, какую бы видимость рассудка он еще ни сохранял. Подобная форма начала болезни более свойственна старческому возрасту, нежели иным периодам жизни; если же к ней присоединяются склонность к многоречивости, галлюцинации, беспричинная веселость и бессвязность суждений, то следует ожидать наступления собственно старческого слабоумия.

Когда крепкий телом больной впадает в безумие, проявляющееся в полной бесчувственности, когда он остается неподвижным, с лишенным всякого выражения взором, отказываясь от питья и пищи, — подобное состояние нельзя приписать ничему иному, кроме как застою крови в мозгу. Происходит ли это оттого, что разум больного совершенно пуст, или же мысли его столь спутаны, что он не находит никакого побуждения к действию; либо же, наконец, им всецело овладевает некая навязчивая идея, поглощающая всё его внимание и препятствующая движению или принятию пищи — к примеру, когда он воображает, будто стоит ему сделать шаг, и он разобьется вдребезги, или что единственное произнесенное слово станет для него роковым. Ни в одном из подобных случаев положение не является безнадежным. Это тупое оцепенение часто служит прелюдией к сильному припадку. В других, более редких случаях, безумие сохраняет подобную форму и далее; однако в таких ситуациях больные пребывают в печали, проливают слезы и мнят себя разоренными или погибшими. Таким образом, о вероятном исходе этого состояния судят по оценке жизненных сил пациента.

Безумие, которое больные, обыкновенно склонные к меланхолии — будь то от любви или по любой иной причине — долгое время скрывали и которое лишь изредка выдавало себя, может внезапно вспыхнуть с величайшей яростью. Если субъект все еще телосложения крепкого, то на его выздоровление можно возлагать большие надежды. Однако если болезнь обнаруживает себя лишь потерей памяти и иными признаками, о которых только что шла речь, следует заключить, что длительная борьба, вынесенная больным, истощила сократительную способность мозга, либо же дезорганизация нервного вещества головного мозга уже свершилась, и вскоре наступит полное слабоумие.

Чем крепче подопечные, тем меньше стоит опасаться рокового исхода, за исключением случаев застоя крови или острого воспаления мозга, кои легко предотвратить посредством кровопускания. Напротив, всего худшего стоит ожидать для лиц немощных, для тех, чьи ткани дряблы, а чувствительность столь велика, что душевные потрясения вызывают у них великое потрясение: такие люди весьма склонны к рецидивам и почти всегда быстро впадают в слабоумие.

Прогностические данные, выводимые из самого течения безумия, полностью согласуются с предыдущими выводами. Общая мания, сопровождаемая воспалительными симптомами и сильным возбуждением, долгое время оставляет немалую надежду на исцеление — даже в тех случаях, когда больной совершенно не внемлет рассудку, кажется постоянно поглощенным своими химерами и легко впадает в ярость. Как мы уже упоминали, наблюдались случаи, когда она прекращалась лишь спустя несколько лет. Таким образом, даже если болезнь не проходит в течение первого полугодия — срока довольно обычного — можно сохранять надежду в течение года, двух и даже гораздо дольше, ибо известны примеры выздоровления после десяти и двадцати лет душевного помешательства. Частичная мания, или мономания, зачастую оказывается более упорной, так как обычно носит более хронический характер. Её следует опасаться прежде всего тогда, когда идеи, занимающие умы больных, по природе своей вызывают у них сильное раздражение, препятствуют принятию пищи и быстро истощают жизненные силы нервной системы; такие случаи тем более серьезны, когда к ним присоединяется гастроэнтерит. К этой категории следует относить религиозный бред, при котором безумцы воображают себя одержимыми дьяволом или ввергнутыми в преисподнюю. Подобная демономания представляется наиболее грозной, когда она сопровождается признаками иступленного отчаяния: когда у больных дикий взор, лицо безобразно искажено, волосы стоят дыбом, и они отвергают любое попечение, которое им желают оказать. Однако в тех случаях, когда они сживаются с мыслью о дьяволе или сами мнят себя злым духом; когда они смеются над этим и не придают тому значения, прогноз строится уже не на характере бреда, а на сопутствующих осложнениях, физических силах больного и, прежде всего, на состоянии памяти.

В самом деле, именно память и внимание, которое всегда ей предшествует, дают основные элементы для прогноза при уже запущенных формах помешательства. До тех пор, пока память сохраняется и больные не впадают в состояние тупости и скудоумия, пока они способны внимать тому, что им говорят, не следует терять надежды — связывают ли они ваши слова со своими химерическими идеями, или же отвечают здраво, обнаруживая бессвязность мыслей лишь в привычном предмете своего бреда.

Как только у душевнобольных начинает ослабевать память и утрачивается способность к сосредоточению внимания, они — как уже было сказано выше — освобождаются от терзаний, порожденных пылким воображением, которые прежде

препятствовали нормальному питанию организма. С этого момента усвоение веществ происходит с большей легкостью; и если больные не страдают хроническим воспалением (флегмазией) пищеварительного тракта, можно заметить, как они полнеют, обретают здоровый цвет лица и даже внешнюю свежесть, лишенную, однако, какой-либо мимической выразительности. Если же подобного улучшения нутритивной функции не наблюдается, следует усматривать в этом дурной прогноз и установить, раздражение какого органа поддерживает худобу, препятствует здоровой окраске кожи и так далее.

Это избыточное питание, столь часто наблюдаемое у безумцев в состоянии деменции, само по себе не лишено определенных опасностей: оно нередко подготавливает почву для повторных приступов возбуждения с воспалительными симптомами. Поскольку во время этих приступов память не восстанавливается, они не могут считаться предвестниками выздоровления. Подобная тучность также становится причиной эпилепсии, а иногда и молниеносных апоплексических ударов. В других случаях больные долго живут в таком состоянии, оставаясь тучными и прожорливыми, но конец их всегда один — общий паралич, а также раздражение, застой и хроническое воспаление органов пищеварения и печени. Признаки этого последующего гастроэнтерита следует считать крайне неблагоприятными: они предвещают увеличение печени, желтуху, водянку и диарею, которые ведут к постепенному угасанию этих несчастных. Многие из них погибают от гангренозных пролежней и сопутствующих им осложнений.

Частые возвраты возбуждения, даже имеющие характер воспалительного процесса, у больного, чье состояние тяготеет к переходу в слабоумие, вовсе не являются доказательством его излечимости. В таких случаях следует скорее полагаться на оценку состояния памяти и внимания. Как мы уже отмечали, подобные обострения, как правило, чаще случаются в периоды сильных холодов, изнурительной жары или в пору равноденствий; однако любые случайные потрясения, будь то нравственного или физического свойства, также могут их спровоцировать. Гораздо больше опасений должно вызывать то состояние, при котором приступы развиваются без всякой видимой причины. Напротив, подобные вспышки служат добрым предзнаменованием для больного, чье заболевание изначально протекало в торпидной (вялой) форме. В патологии существует закон, согласно которому в момент разрешения застойных явлений (конгестий) возникает ответная нервно-сосудистая реакция. Желательно лишь, чтобы подобные реакции длились лишь считанные дни; однако их встречают без радости у тех безумцев, что кажутся находящимися в состоянии выздоровления, ибо они служат доказательством возврата церебрального раздражения, что неизбежно влечет за собой новые приступы бреда.

Перемежающееся безумие поначалу оставляет некоторую надежду, основанную на той точности, с которой больные соблюдают предписания разумной профилактики; но когда это безумие становится застарелым, излечить его крайне

трудно. С периодическими раздражениями, вызывающими бред, дело обстоит так же, как и с теми, что производят эпилептический застой: чем дольше они длились, тем сильнее их склонность к повторению. В конечном счете периодическое раздражение энцефалического аппарата, подобно раздражениям всех прочих внутренних органов, в итоге устанавливается на постоянной основе; и когда оно достигает этого типа, слабоумие — сей роковой предел — оказывается уже не за горами, если только оно еще не началось.

Исходя из того же принципа, следует выносить аналогичное суждение и о рецидивах, не имеющих регулярной периодичности. Поскольку каждый приступ наносит мозгу новый удар, всегда следует ожидать тем больше препятствий к исцелению, чем больше рецидивов перенес больной. В целом, частичное безумие имеет тенденцию переходить в общее безумие; а все общие формы помешательства более или менее тяготеют к слабоумию и общему параличу. Именно по состоянию памяти и двигательной способности мышц всегда определяют близость этого рокового исхода.

Из всех возможных осложнений мании три являются наиболее грозными: эпилепсия, хроническое воспаление (флогоз) пищеварительного тракта и хроническая пневмония.

Первое из них теснее всего связано с самой природой безумия; часто оно предшествует болезни и обуславливает её, в других же случаях осложняет её течение на более или менее поздних стадиях. Одиночные наслаждения, коим столь подвержены умалишенные, часто служат тому определяющей причиной. Впрочем, поскольку мания представляет собой раздражение мозга, стоит ли удивляться, что оно порой усиливается и вызывает мозговой прилив (конгестию), порождающий припадки эпилепсии? В любом случае эпилепсия подвергает больных риску молниеносного апоплексического удара; если же этого не случается, она ускоряет наступление слабоумия и паралича, будь то общего или частичного.

Воспаление пищеварительного тракта сперва вызывает отсутствие аппетита или, напротив, ненасытность; иногда желтуху и брюшную водянку (асцит): заканчивается же оно обыкновенно поражением толстой кишки и убивает больных диареей. Все эти осложнения оказываются фатальными, когда они поражают безумца, уже долгое время находящегося в хроническом состоянии или в короткий срок истощенного вспышками ярости и возбуждения, которые не удалось унять никакими лекарственными средствами.

Хроническая пневмония, становящаяся причиной изъязвлений и легочной чахотки, наблюдаемых у некоторых помешанных, часто развивается вследствие повторяющихся бронхитов или катаров, которых не в силах избежать большинство неизлечимых больных. Будучи отталкивающими, нечистоплотными, неблагодарными, озлобленными и даже опасными, эти несчастные лишаются того малого ухода, который мог бы предотвратить последствия простуд и

раздражающего кашля, ими подхваченных. Зачастую хроническая пневмония к моменту обнаружения прогрессирует настолько, что всякая врачебная помощь становится бесполезной.

Когда безумцы подолгу страдают от ревматических и подагрических болей, к которым их делает весьма предрасположенными холод и сырость их каморок, следует ожидать, что эти раздражения проникнут внутрь и вызовут органические поражения сердца в форме перикардита или аневризмы, а также легких в форме хронического плеврита или легочной чахотки. Следовательно, было бы ошибочно приписывать им некую особую стойкость к воздействию холода: безумцы обладают ею лишь в периоды возбуждения.

Эта же и иные причины делают их подверженными перемежающимся лихорадкам и острым воспалениям важнейших внутренних органов. Подобные недуги всегда представляют для безумцев величайшую опасность, поскольку хроническое раздражение мозга может принять острый характер и оборвать их жизнь, проявляясь симптомами того, что не совсем верно называют мозговой, гнилостной, атаксической или злокачественной горячкой.

Если судить об излечимости безумия по доле выздоровлений, приводимой в различных трактатах о мании, то можно обнаружить, что в надлежащем образом содержащихся заведениях излечивается по меньшей мере четверть, а зачастую и более трети душевнобольных, принятых на лечение. Если же рассмотреть данные об излечимости в зависимости от возраста, то станет заметно, что в период от десяти до двадцати лет выздоравливает более половины пациентов; от двадцати до тридцати число исцелений становится меньше; от тридцати до сорока доля выздоровевших еще менее значительна; от сорока до пятидесяти она составляет лишь треть, а от пятидесяти до шестидесяти лет доля выздоровлений оказывается еще несколько ниже; наконец, в возрасте от шестидесяти до семидесяти лет можно почтись за большую удачу, если удастся излечить хотя бы седьмую часть больных. Было замечено, что женщины поддаются лечению легче, нежели мужчины. Остается надеяться, что те успехи, которые физиологическая медицина приносит в лечение прочих недугов, проявят себя и в области сего заболевания. Добавлю к этому, что я уже располагаю достаточным числом наблюдений, кои кажутся мне весьма убедительными и способными подкрепить сию отрадную надежду.

Глава девятая: О лечении безумия.

Античность противопоставляла различным видам безумия лишь кровопускания, сильнодействующие слабительные (среди которых на первом месте стоял морозник) и холодные ванны. Особое значение придавалось так

называемым «внезапным ваннам», суть которых заключалась в том, чтобы стремительно погружать больного в холодную воду и тут же извлекать его обратно, повторяя это несколько раз. Некоторые авторы, жившие в эпоху, еще не столь отдаленную от нашей, доходили в своей дерзости до того, что удерживали больных под водой в течение всего времени, необходимого для прочтения псалма *Miserere*. Их целью было воздействие через смертный ужас. Когда подобные средства не приносили успеха, ограничивались лишь строгой изоляцией. Впрочем, на протяжении многих столетий эта болезнь считалась настолько непокорной врачеванию, что большой удачей считалось иметь возможность упомянуть хотя бы о немногих случаях исцеления.

В Средние века — время фанатизма и невежества — часто встречались демономаньяки; однако их вверяли не столько заботам врачей, сколько священникам, которые подвергали их обряду экзорцизма и мнимым исцелениям, совершаемым немногими алчными обманщиками, которые придавали подобного рода «лечению» широкую известность в ущерб медицине, которая в этой области не совершала решительно никаких успехов.

Ослабление фанатизма в Европе едва ли облегчило участь умалишенных: когда их перестали подвергать экзорцизму, их не перестали истязать, заковывать в цепи и даже избивать в те моменты, когда они проявляли буйство. Безусловно, не врачи были виновны в этих жестокостях; однако по невежеству со стороны медицинской науки всё же допускалась роковая ошибка. Первоначально яростное помешательство и начальное возбуждение пытались побороть при помощи кровопусканий, сильнодействующих слабительных средств, холодных ванн и ледяного душа на голову. Однако если быстрый успех не достигался, больные переставали быть заботой врачей. Их оставляли на попечение надзирателей, лишенных должного надзора, которые выходили из себя по малейшему поводу и подвергали несчастных жестоким наказаниям. Даже в наши дни в ряде крупных городов Европы существуют приюты для душевнобольных, где побои всё еще остаются в ходу.

Обильные кровопускания, слабительные, холодный душ, «внезапные ванны» и изоляция — таково было, в общих чертах, положение безумцев во Франции, когда Пинель стал врачом лечебницы Бисетр. Его человеколюбие возмутилось тем дурным обращением, которому подвергались умалишенные, и тем своего рода забвением, в коем их оставляли, едва лишь первые меры не приносили успеха.

Он создал труд, ставший его величайшим памятником славы, призванный обратить внимание исследователей на этот род болезней, коими прежде слишком пренебрегали. Пинель провозгласил, что можно достичь гораздо большего числа исцелений, нежели случалось прежде, если: относиться к безумцам с большим милосердием; предупреждать словами утешения и отвлечением внимания те чувства унижения, стыда и отчаяния, что подстерегают их при первых проблесках

рассудка; избавить их от насильственных средств, таких как сильнодействующие слабительные, удары и страх перед холодной водой, которые слишком сильно потрясают их ослабленные нервы после чрезмерных кровопусканий; сохранять использование душа лишь как средство исправления в исключительных случаях. В его сочинении отчетливо выделяются две основополагающие идеи: (1) Связать маниакальный бред, доселе казавшийся врачам и философам невнятным и непостижимым, с интеллектуальными и эмоциональными способностями, признанными школой «идеологов» вслед за Локком и Кондильяком; (2) подчинить лечение правилам гиппократова выжидания, основанного на периодических усилиях природы и более или менее регулярном возникновении кризисов.

Эти новые воззрения, развитые с глубокой убежденностью и воодушевлением просвещенного человеколюбия, произвели сильное впечатление на ученый мир; повсюду безумие начали изучать с пристальным вниманием; поспешно собирались факты: безумцы стали объектом профессионального интереса врачей, который те вскоре сумели передать и людям, облеченным властью. Участь душевнобольных улучшилась; и если сам Пинель лично и не совершил великого прорыва в способах лечения помешательства, то, по крайней мере, он имел перед смертью удовлетворение наблюдать благотворные последствия того импульса, который он придал этому делу.

Сказанное мною о разделениях, коим подвержено безумие в физическом и нравственном отношениях, освобождает меня от необходимости обсуждать мнения Пинеля касательно анализа способностей разума, проведенного им на основании различных видов помешательства. Я ограничусь, посему, лишь разбором его метода лечения. Я нахожу его слишком пассивным. Несомненно, лучше предоставить безумцев благотворному влиянию режима, нежели истощать их чрезмерными кровопусканиями или истязать сотрясениями, холодной водой, страхом и доведением органов пищеварения до воспаления при помощи сильных слабительных средств. Но разве не существует золотой середины между подобными пытками и гиппократовой инертностью? Полагаю, что она есть, и намерен изложить здесь то, чем я обязан собственному опыту и опыту некоторых моих друзей, которые, подобно мне, применяли принципы физиологической медицины к лечению безумия.

Установление показаний. Безумие есть раздражение. Следовательно, для борьбы с ним мы располагаем двумя общими разрядами воздействующих средств: седативными и контрраздражителями, которые также, и даже чаще, называют отвлекающими (ревульсивными). Если мы рассмотрим болезнь — как это и следует делать — в её начале и в высшей точке её развития, то обнаружим симптомы воспалительного раздражения: нам придётся бороться с энцефалитом. Следовательно, мы должны атаковать его кровопусканиями, воздержанием, смягчающим питьём и применением холода. Со времён Пинеля было произнесено слишком много обличений против обильных кровопусканий, и его школа проявила

чрезмерную скупость на кровь душевнобольных; посему они не могут привести ни одного примера внезапного исцеления, тогда как врачи-физиологи способны процитировать множество случаев, когда кровопускание и в особенности пиявки, многократно повторяемые в течение трех, четырех и пяти дней подряд, они купировали зарождающееся безумие так же эффективно, как устраняют перипневмонию или начальный гастроэнтерит, внезапно возвращая больным рассудок. Ранее уже имелись факты, способные привести к подобной практике, однако надлежало извлечь из них полезное и отсеять дурное. Во времена Депорта средний срок лечения излечимых душевнобольных составлял пятьдесят пять дней. В 1822 году в Бисетре он достигал ста тридцати дней для мужчин, а в Сальпетриере – ста сорока пяти дней для женщин. Вместо того чтобы удивляться благотворным результатам метода, применявшегося в эпоху Депорта, и приписывать неудачи истощению пациентов, следовало бы задаться вопросом: не зависели ли эти неудачи скорее от потрясений, вызванных холодной водой, от дурного обращения и сопутствующего ему отчаяния, и, наконец, от раздражения, вызываемого драстическими средствами, которые назначались без всякого учета чувствительности органов пищеварения? Сверх того, можно было бы искать «золотую середину» и пытаться бороться с церебральным раздражением в первые же дни с помощью кровопусканий, соразмерных силам больного, вместо того чтобы позволять безумцам метаться в бреду по три или четыре месяца, дабы болезнь успела пройти через все свои стадии.

Впрочем, обильные кровопотери не всегда лишены опасности при бреде, сопровождающемся судорожным возбуждением. В прежней практике я часто наблюдал, как люди, охваченные острым лихорадочным бредом с судорожной дрожью вследствие злоупотребления спиртными напитками, внезапно погибали спустя всего несколько часов после кровопускания. В свое время я за короткий срок собрал пять или шесть подобных примеров в клинике покойного Корвизара, который не принимал системы и терминологии своего коллеги Пинеля. Он вовсе не называл эти болезни атаксическими лихорадками; для него они были лихорадками злокачественными. В бреде и покраснении глаз он видел признак воспаления мозга, осложняющего основную лихорадку; и прежде, чем назначить камфору, хину и спиртовые настойки против «злокачественности» – ибо их он тоже прописывал, – он противопоставлял воспалению кровопускание из стопы, и зачастую больные умирали в тот же день.

Подобная неудача может произойти и при мании: один из наших коллег, доктор Пресса, обязанный своими поразительными успехами антифлогистическому методу лечения, весьма рассудительно сделал это замечание. Этот просвещенный практик полагает, что следует давать смягчающие напитки тем субъектам, которые внезапно впадают в буйное помешательство вследствие избыточного употребления спиртных напитков; в подобных случаях следует в течение нескольких дней давать им смягчающие питья, позволяя пульсу восстановиться, прежде чем приступить к

извлечению крови. Чем больше пускают кровь таким безумцам, тем более неистовыми они становятся, после чего внезапно впадают в смертельный коллапс. Это замечание заслуживает тем большего внимания, что исходит оно от практика, который неоднократно купировал начинающееся безумие с помощью общих и местных кровопусканий — подобно тому, как пресекают развитие плевритов или острых гастроэнтеритов в самом их начале.

Вслед за вскрытием крупных сосудов следуют капиллярные кровопускания: применение пиявок; постановка банок с насечками вдоль яремных вен, на предварительно обритую голову, у основания черепа и под затылочной костью. Данные средства крайне эффективны во всех областях, где слишком сильно ощущается жар, где больной испытывает боль или даже там, где кожа просто болезненна. Наконец, их использование на затылке и между лопатками, по методу Целия Аврелиана, также весьма действенно. К этим мерам следует прибегать в той мере, в какой позволяют силы больного, — как в недавних случаях, так и при обострениях, — присоединяя к ним иные вспомогательные средства.

Основными из вспомогательных средств являются тепловые воздействия на нижнюю половину тела в виде полуванн с температурой воды двадцать пять или двадцать шесть градусов. Одновременно с этим на голову следует осторожно и с очень малой высоты лить теплую воду; этот метод, называемый обливанием (affusion), в данном случае не менее полезен, чем при острых воспалениях головного мозга, однако в его применении необходимо проявлять настойчивость.

Если к маниакальному бреду присоединяется воспаление желудка, с ним надлежит бороться без малейшего промедления. В случаях, когда оно предшествовало безумию и послужило его причиной, следует после общего кровопускания неоднократно ставить пиявок на эпигастральную область — как до, так и во время их прикладывания к голове.

Если же безумие не уступает вышеуказанным средствам, подкрепленным воздержанием и охлаждающими напитками (такими как оршад, гуммиарабиковая вода, лимонад и т. п.), больные, по крайней мере, до известной степени успокаиваются, и ими овладевает сильный аппетит. Было бы опасно удовлетворять этот голод полностью, однако столь же пагубно подвергать их и чрезмерно строгому посту. Следовательно, кормить их должно супами, крахмалистыми блюдами, овощами и фруктами. Молочная пища также может быть им полезна, но употребление мяса пока следует отложить.

Именно в эту пору, то есть тотчас после спада возбуждения, больные начинают страшиться холода, который они столь отважно презирали в порыве своего неистовства. Поскольку некоторые из них погибли от одного лишь воздействия стужи, надлежит принимать меры предосторожности, дабы избежать подобного несчастья. Это замечание принадлежит Пинелю.

Когда наиболее острые проявления болезни будут усмирены противовоспалительным лечением, следует доискаться до причин недуга, дабы извлечь из них надлежащие терапевтические указания. Всякое прекращение привычного кровотечения требует усилий по восстановлению этого тока, ставшего необходимым для равновесия жизненных функций. Сего можно достичь — при условии, что важнейшие внутренние органы не претерпели глубоких поражений, — путем рассеивания их раздражения и привлечения крови к обычному месту ее истечения при помощи пиявок, приставляемых в те сроки, когда оно обыкновенно имело место. Последствия подавления экзантем (кожных сыпей) и застарелых истечений требуют применения экзугориев, таких как каутеры (прижигания) или сетоны; или, по меньшей мере, частого использования нарывных мазей и пластырей, дабы вызвать покраснение кожи и поддерживать на ней пустулезные высыпания.

Применение слабительных средств иногда признавалось полезным; однако прибегать к ним можно лишь после того как посредством общих и местных кровопусканий желудок и кишечник были приведены в состояние, позволяющее без вреда переносить действие лекарств, предназначенных для возбуждения кишечных опорожнений, всё же не следует чрезмерно настаивать на этих средствах. Не будем забывать, что именно ложная теория, а не опыт, внушила мысль о применении сильнодействующих слабительных, и лишь неверно истолкованные случаи успеха поддерживали их популярность. Некоторые из них, в особенности чемерица, почитались средствами водногонными; и поскольку в головном мозге видели орган холодный, закупоренный слизистыми соками (питуитой), полагали за благо отвлекать эти соки к нижней части живота и выводить их тем же путём. Отдельные случаи исцеления, ставшие следствием удачного отвлечения (ревульсии), укоренили это предубеждение, сохранившееся до наших дней. Ныне более не прибегают к драстическим слабительным; ограничиваются лишь мягкими очистительными средствами, когда находят нужным послабить кишечник душевнобольных. Мы не одобряем ни этой практики, ни употребления рвотных средств; следует устранять желудочно-кишечные раздражения у таких больных с помощью местных кровопусканий и предупреждать их строгим режимом. Всегда пагубно превращать пищеварительный тракт в постоянный центр прилива крови (флюксии). В том затруднительном положении, в котором оказались врачи, они полагали, что могут испробовать рвотное средство в высоких дозах в качестве контрстимулянта, следуя методу Разори. Однако предпринятые попытки дали такие результаты, что ныне эта практика оставлена.

Летучие антиспазматические средства, опиум, мускус и все зловонные снадобья не принесли значительного успеха при лечении мании. Опиума страшатся более всего, ибо он способствует приливу крови к мозгу; однако после достаточных кровопусканий его можно назначать некоторым больным для смягчения чрезмерной нервной раздражимости. Доктор Пресса с успехом применяет его для

этой цели в своем заведении, расположенном близ заставы Трон; я равным образом успешно прибегал к нему в частной практике — доведя кровопускания до крайнего предела — во всех тех случаях, когда преобладающими симптомами становились нервная подвижность и склонность к судорогам. Среди заменителей опиума можно также испробовать экстракт белены белой; однако белладонна слишком сильно возбуждает мозг, чтобы ей можно было доверять.

Наперстянка, насколько мне известно, не дала результатов, достойных упоминания; тем не менее, некоторые практикующие врачи прибегают к синильной кислоте, рекомендуемой при острых энцефалитах. Это лекарственное средство весьма ненадежно, и использовать его надлежит с величайшей осмотрительностью ввиду его губительных свойств.

Хина испытывалась против периодических маний; ей приписывают несколько случаев исцеления, однако это средство нельзя назвать верным. В подобных обстоятельствах лучший метод заключается в том, чтобы устранить причины недуга, произвести кровопускание при приближении срока рецидива, а затем прибегнуть к наружным отвлекающим средствам — как тем, о которых мы уже упоминали, так и тем, что будут предложены далее.

Вслед за медикаментозным лечением идут гигиенические меры, во главе которых справедливо будет поставить психическое (моральное) лечение. Первым правилом такового лечения является изоляция. Прежде всего необходимо, чтобы больной был разлучен с людьми, в кругу которых он привык жить. Оставаясь среди своих близких, он неизменно проявляет властность, и управлять им становится труднее: любое сопротивление, с которым он сталкивается, доводит его ярость до предела, если же он видит, что ему повинуются, его гордыня достигает необычайных высот. Обе эти крайности лишь усугубляют церебральное раздражение и делает исцеление более трудным. Кроме того, для усмирения яростных приступов необходимо быстрое и внушительное пресечение, которое может быть надлежащим образом осуществлено лишь посторонними людьми. Бессильное сопротивление лишь ожесточает безумцев. Напротив, сила очевидно превосходящая, проявленная спокойно и всегда опирающаяся на справедливость и разум, мгновенно внушает им почтение и значительно умеряет стремительность нервного возбуждения. Несмотря на иллюзии, захватившие их внимание, и вопреки тем веским, по их мнению, причинам, побуждающим их относиться ко всем свысока и творить всяческое зло, душевнобольные — по крайней мере, в большинстве своем — не утратили окончательно понятия о справедливости. Проблески нормальной деятельности мозга проявляются у них время от времени, позволяя осознавать непристойность или предосудительность своего поведения. И если их хватают, изолируют или затягивают в смирительную рубашку только тогда, когда это действительно уместно, это не приводит их в ярость, а, напротив, скорее усмиряет. С другой стороны, если рассудок их поврежден настолько, что они остаются к этому нечувствительны, можно без опасений прибегать к подобным средствам, при

условии соблюдения необходимых предосторожностей, дабы они не были ни ранены, ни ушиблены. Эти меры усмирения, которые мудрое человеколюбие Пинеля ввело взамен побоев и цепей, коими прежде обременяли умалишенных, ныне являются едва ли не единственными, принятыми во Франции; притом замечено, что неистовство теперь встречается реже и оно менее упорно, нежели в прежние времена.

Холодный душ на голову остается единственным насильственным средством, которое еще находит применение: сначала больного знакомят с ним, а затем используют его как своего рода пугало, дабы укротить его ярость и отвратить от дурных поступков. Безумцы подобны тем сорванцам четырнадцати-пятнадцати лет, коих тайный инстинкт толкает на дурные дела: хотя они прекрасно сознают, что поступают предосудительно, и втайне сами себя осуждают, их неизменно влечет к злу удовольствие, прельщающее их более всякого иного. Их наслаждение зиждется на печали и гневе окружающих, а ироническая улыбка служит тому внешним признаком — это и называют злонравием. В подобных случаях мы усматриваем извращенную потребность в самоудовлетворении при полном бессилии разума. Подобное состояние у юноши проистекает из еще несовершенного развития головного мозга; у безумца же оно является следствием раздражения. И те, и другие обладают чрезмерно возбудимым мозгом, и оба лишены мерила разума; однако они коренным образом различаются в том, что у здорового подростка раздражительность головного мозга естественна и имеет тенденцию к уменьшению по мере того, как область, ведающая интеллектуальной деятельностью, обретает преобладание. Напротив, у безумца эта раздражительность носит болезненный характер и ведет к искажению как органов интеллекта, так и органов инстинкта. Ни тот, ни другой не находятся в застывшем состоянии; однако в первом случае достаточно лишь способствовать органическому развитию, тогда как во втором необходимо приложить все усилия, чтобы его подавить.¹⁴

Как только возбуждение исчезает, время принудительных мер проходит, но срок изоляции еще не окончен. Впрочем, за больным, страдающим манией, необходимо постоянно наблюдать, и вскоре станет ясно, разумно ли предоставлять ему определенную свободу. Особую бдительность следует проявлять в отношении тех, кто был одержим манией убийства или самоубийства; ибо сие пагубное влечение склонно пробуждаться вновь даже после долгих периодов затишья. Подобные больные искусно владеют притворством, дабы внушить доверие и обрести уровень свободы, необходимой для осуществления их замыслов. Их хладнокровие в этом отношении поистине поразительно. Поскольку зачастую именно гастрит поддерживает эти ужасные наклонности, врачу следует приложить все усилия, дабы стереть даже малейшие его следы. Прижигание, произведенное в области того или иного подреберья, могло бы способствовать устранению этих зачастую столь

¹⁴ См. «Трактат о мании» Пинеля, «Большой словарь медицинских наук», «Медицинский словарь в восемнадцати томах» и сочинение Гофбауэра.

упорных раздражений. Не подлежит сомнению и то, что использование сетона (волосянки), помещенного на затылке, может оказаться полезным — после достаточных кровопусканий — при переходе безумия в хроническую форму, дабы предупредить те изменения в головном мозге, которые ведут к слабоумию и общему параличу.

Пинель ввел обычай классифицировать душевнобольных и изолировать их в отдельных отделениях. Его достойный преемник, доктор Эскироль, последовал этому примеру. Первое разделение должно производиться по половому признаку; кроме того, необходимо иметь: (1) Отделение для буйных помешанных, коих удерживают с помощью смирительной рубашки, фиксируя их привязями к кровати или к креслу, сконструированному особым образом; (2) Отделение для безумцев, не склонных к злодеяниям, но находящихся в возбужденном состоянии: для них достаточно простого содержания под замком; (3) Отделение для слабоумных, пребывающих в состоянии деменции, нечистоплотных и паралитиков, за коими приходится ухаживать как за детьми; (4) Отделение для сопутствующих случайных заболеваний, таких как пневмония или перемежающаяся лихорадка; (5) Наконец, отделение для выздоравливающих и тихих помешанных, которые пользуются свободой прогулок в саду и возвращаются в свои покои по собственному желанию. Среди последних также необходимо проводить разграничения, ибо среди них встречается множество мономанов. Если собрать вместе тех, чей бред сосредоточен на одном и том же предмете, они будут взаимно возбуждать друг друга, выражая одобрение или вступая в противоречие, что может привести их в состояние иступления или ярости, а это неизменно снижает шансы на исцеление.

Впрочем, чаще всего наблюдается иная картина. Безумцы эгоцентричны и склонны к обособлению; каждый из них столь глубоко поглощен собственной химерой, что мало обращает внимания на товарищей по несчастью. Один расхаживает размашистым шагом, сопровождаемый воображаемыми существами, коих он беспрестанно видит подле себя; другой уединяется в углу, дабы на досуге созерцать фантастические образы и вести с ними мирную беседу; третий же застыл в неподвижности и безмолвии, являя вид человека, предавшегося глубочайшему раздумью, хотя зачастую он не думает ни о чем, как об этом метко заметил доктор Эскироль в том живописном описании дома для умалишенных, которое он составил (см. «Словарь медицинских наук»). Все они относятся друг к другу с глубоким недоверием, взаимно презирают друг друга и почитают себя единственно здравомыслящими; ибо они прекрасно осознают, что находятся в лечебнице для душевнобольных, но полагают, что содержатся там несправедливо, став жертвами преследований со стороны своих врагов или близких. Из этого не следует делать вывод, будто пребывание в подобных местах служит препятствием к их выздоровлению или должно внушать семьям отвращение к таким заведениям. Безумцы уделяют слишком мало внимания другим безумцам, чтобы те могли произвести на них неблагоприятное впечатление; и даже если бы они оставались у

себя дома, они ничуть не меньше питали бы злобу к своим родным и друзьям. У них всегда нашелся бы повод для обиды в самом факте стеснения их свободы или затворничества. Они точно так же выходили бы из себя, негодуя либо на произвол родителей, либо на неповиновение подчиненных: их гордость неизменно страдала бы от малейшего сопротивления или властного тона прислуги и так далее, и так далее. Свойство безумия заключается в том, чтобы исказить чувства точно так же, как и разум; и опыт доказывает, что, придя в себя, больные вовсе не сохраняют зла на тех, кто предал их заточению.

До тех пор, пока безумцы не утратили память и внимание, они способны оставлять привычный ход своих мыслей в тот миг, когда к ним обращаются, и в течение более или менее продолжительного времени вполне верно отвечать на заданные вопросы. Всех, кто находится в подобном состоянии, не следует считать лишенными всякой надежды. Если отбросить в сторону все персонифицированные абстракции, выступающие под именами «способностей» или «начал» — словом, все онтологические соображения, — и довериться лишь наблюдаемым явлениям, мы обнаружим, что человек лишается рассудка по причине чрезмерного возбуждения его мозга. Следовательно, первое указание состоит в том, чтобы вернуть покой этому органу всеми средствами, эффективность которых была подтверждена опытом. Как только это первичное предписание исполнено, внимательное наблюдение показывает: хотя мозг всё еще находится в возбужденном состоянии, возможно вернуть мысль в её нормальное русло посредством воздействий на органы чувств. Заметно, что пока интеллект опирается на эти внешние впечатления, он представляется здоровым; однако стоит ему обратиться к воспоминаниям, как он вновь становится ненормальным. Иными словами, чувственные впечатления порождают идеи, согласующиеся с доводами разума, тогда как из воспоминаний проистекают идеи, чуждые этому типу. Следовательно, предписание состоит в том, чтобы заставить интеллект действовать в наибольшей степени сообразно чувственным впечатлениям и в наименьшей — сообразно воспоминаниям. В этом и заключается смещение возбуждения, контр-возбуждение, подлинная ревульсия (отвлечение) — как физическая, так и моральная. Однако она происходит в самом нервном аппарате головного мозга; она воздействует слишком близко к очагу перевозбуждения и потому может утратить свой характер контр-возбуждения, сообщая ей ревульсивные свойства, превратившись в возбуждение прямое и даже крайне пагубное. Ведь настойчиво пытаясь отвлечь безумцев от их навязчивых идей, их нередко лишь сильнее возбуждают, доводя порой до состояния яростного исступления. Именно по этой причине предпочтение следует отдавать таким занятиям и физическим упражнениям, которые по самой своей природе способны удерживать внимание выздоравливающих. С этой целью уже не раз восхвалялись садоводство и некоторые игры, направленные на упражнение тела. Гимнастика же должна занимать в этом ряду первое место, и все лечебницы для душевнобольных следует оснастить снарядами, изобретенными или усовершенствованными полковником Аморосом. В подобных средствах обнаруживается двойная ревульсия:

переключение одного ряда идей на ряд совершенно иной, а также отвлечение иннервации, служащей для интеллектуальных операций, от памяти и воображения к иннервации, управляющей мышечной деятельностью; иными словами, к такому отвлечению (ревульсии), которое действует гораздо дальше от основного очага раздражения, нежели то, что достигается путем воздействия на органы чувств.

Что касается дискуссий, имеющих целью доказать безумцам их заблуждение, то от них следует воздерживаться еще строже, нежели от дурной привычки потакать их химерам ради снискания их расположения. Первый метод мгновенно приводит их в ярость; это и есть то прямое возбуждение, о котором мы упоминали лишь мгновение назад; второй же метод в конечном итоге привел бы к тому же результату, если бы практиковался слишком долго. Уступать им следует лишь на краткий миг, дабы мягко направить их к отвлечению и труду. Обманывать их всегда опасно, ибо они замечают это и не прощают легко; это лишает их мужества, раздражает и препятствует установлению нервного спокойствия, столь необходимого для их исцеления.

Все врачи, близко наблюдавшие безумцев, сходятся в одном: первым и самым верным признаком выздоровления является возвращение привычных привязанностей. До тех пор, пока больной поносит людей, которые были ему дороги, и отвергает заботы своего врача и зрителей; до тех пор, пока он бесосновательно жалуется на несправедливость и дурное обращение, следует с недоверием относиться к мнимому возвращению его рассудка. Такого же суждения стоит придерживаться и в том случае, если больной не осуждает содеянное им в состоянии помешательства; ибо первым его искренним порывом должно быть признание того, что он был безумен, и порицание своих прежних причуд. Память о них редко утрачивается полностью; напротив, он описывает свои действия в мельчайших подробностях, за исключением лишь того, что происходило в моменты наивысшего возбуждения — по причине, которую мы уже изложили выше.

Как только безумцы теряют способность поддерживать разумную нить разговора; как только их внимание притупляется, когда они слушают собеседника; когда взгляд их становится бессмысленным, и они вновь погружаются в разнообразные и бессвязные химеры или возвращаются к привычным автоматическим движениям, которые только что прервали, — если всё это происходит вопреки их видимым усилиям сдержаться, слушать и понимать, следует заключить, что память ослаблена, наступает слабоумие и болезнь неизлечима. Однако, прежде чем вынести окончательный приговор, не стоит забывать, что невозможность мыслить и даже самая глубокая тупость и полное оцепенение может быть лишь следствием преходящего застоя крови. Следовательно, душевнобольного нельзя причислять к разряду слабоумных, пребывающих в деменции, до тех пор, пока он не прошел через все стадии болезни. Однако в тех случаях, когда после проявлений чрезмерной психической возбудимости, выразившейся внешне в бледности, худобе и судорожном стягивании черт лица, больной теряет память и

внимание, а лицо его обретает спокойствие, в то время как сам он полнеет и приобретает свежий вид – состояние деменции становится несомненным. С этого момента физические и нравственные отвлекающие средства (ревульсии) не могут более иметь иного эффекта, кроме поддержания питания организма и предотвращения приливов крови к мозгу. Если же, ко всему прочему, речь становится затрудненной, а походка – шаткой, это свидетельствует о близости общего паралича, и любые попытки терапевтического воздействия в обоих указанных направлениях оказываются бесполезными. Тем более это справедливо, если больные уже перенесли несколько неполных апоплексических ударов, страдают эпилепсией или утратили владение какими-либо чувствами или мышцами. С этого времени следует ограничиться лишь мерами гигиены, соблюдением чистоты и лечением случайных расстройств, которые могут возникнуть у таких слабоумных. Нередки случаи, когда избыточное полнокровие подвергает больных риску апоплексии, и для её предотвращения становятся необходимы кровопускание или пиявки. О целесообразности этого средства судят по чрезмерному покраснению кожных покровов, по усилению оцепенения мышечных движений, по нарастающей сонливости и косноязычию, по наполнению пульса и прочим признакам. Кровопускание, совершённое в подобных случаях, словно оживляет больного, возвращает ему способность ходить и даже некоторую сосредоточенность; это внушает ложную надежду неопытным людям, однако надежда эта вскоре бесследно исчезает.

Равным образом возможно, что гастродуоденит, застой в печени или каловый завал потребуют приставления пиявок к эпигастральной области, к подреберьям или использования слабительного; однако было бы опасно позволять больным привыкать к подобным средствам.

Лечение сопутствующих заболеваний у безумных не отличается от того, каким оно должно быть для прочих людей; но прежде всего следует стараться предупреждать подобные осложнения: оберегать их от холода с помощью шерстяной одежды; отучать от часто встречающейся у них привычки раздеваться донага; следить за чистотой их палат, за тем, чтобы в них никогда не застаивалась сырость, и для того надлежащим образом обогревать их в зимнее время, при помощи каминов, устроенных таким образом, чтобы безумец не мог обратить огонь себе во вред.

Порой приходится прибегать к принудительному кормлению лиц, пребывающих в состоянии слабоумия, дабы не дать им погибнуть от голода, а также совершать их туалет по несколько раз в день, очищая от нечистот. Впрочем, можно изготовить такие кресла и кровати, конструкция которых препятствовала бы больному мараться.

Нередко также возникает нужда в устройстве таких лож, с которых полупарализованные больные не могли бы упасть на пол, где они рискуют

замерзнуть насмерть или, по меньшей мере, нажать серьезный недуг. Ни одной из этих малых забот не следует пренебрегать, дабы предупредить осложнения, которые и без того слишком часто сокращают дни этих несчастных.

Дополнения

Эта работа была уже завершена, когда в свет вышли «История философии XIX столетия» г-на Дамирона и начали публиковаться лекции г-на Кузена. Хотя в «Трактате о раздражении» можно найти более чем исчерпывающие ответы на все доводы этих философов в пользу гипотезы о некоем высшем начале, надстроенном над нервной системой, мы сочли необходимым в данном Дополнении подробнее остановиться на двух фундаментальных пунктах, которые, по мнению названных авторов, представляют собой жизненно важные вопросы философии: Аргумент Юма; Начала разума, изложенные г-ном Кузеном в его четвертой лекции от 8 мая 1828 года.

Юм утверждает, что всё определенное и конкретное в чувственном явлении не заключает в себе отношения следствия к причине; что этот чувственный феномен являет лишь случайное сочетание или побочную связь. Из этого, согласно убеждениям онтологической школы, с неизбежностью следует, что коль скоро род человеческий в полной мере усматривает это отношение причины и следствия в явлении там, где органы чувств не способны его воспринять; отсюда делается вывод, что оно может обнаружить его лишь посредством разума. Пример: на сукне лежат два шара, один движется, другой неподвижен; движущийся ударяет по другому, и тот приходит в движение. Приверженцы этой школы утверждают, будто зрение не дает представления о том, что первый шар является причиной движения второго, поскольку сама идея причинности есть индукция — нечто такое, что нельзя ни увидеть, ни осязать. То же рассуждение применимо ко всем индуктивным выводам о причинности, которые делаются по поводу природных явлений, равно как и к тем, что прежде выводились из явлений, созданных искусством. Пример: наблюдается чередование дождя и ясной погоды, тепла и холода; происходят землетрясения, бьют горячие источники; существуют растения и животные, являющие наблюдателю различные функции, и так далее. Едва мы успеваем заметить эти явления, как проникаемся убеждением, что у каждого из них есть своя особая причина, своя цель, свои средства и прочее, хотя ни причина, ни цель, ни средства не воздействуют непосредственно ни на один из наших органов чувств.

В первых главах этого труда было доказано, что данные суждения о причинности явлений природы суть не что иное, как сравнения, продиктованные индукцией; но здесь речь идет о самой индукции: именно её стремятся представить как феномен, не зависящий от нервной системы. В качестве довода приводится то, что индукция не осуществляется через органы зрения, слуха, осязания, вкуса или обоняния...

Полноте, господа, разве кто-либо когда-нибудь помышлял утверждать обратное? Если индуктивные выводы, которые вы приводите — как и те, что составляют основу ваших и наших рассуждений в текущей дискуссии, — не совершаются органами чувств, то они совершаются мозгом. Это прямо следует из наших соображений о развитии нервного аппарата. Таким образом, их возражение сводится к следующему: *феномен индукции отличается от феномена восприятия физического тела*. «Безусловно», — отвечаем мы. Отличие заключается в том, что индукция есть следствие восприятия; иными словами, она проявляется после восприятия и в результате него. Но это отнюдь не исключает того, что мозг столь же необходим для одного процесса, как и для другого; просто одну операцию он выполняет легче и чаще, чем другую. В дальнейшем именно наблюдение должно выявить ощутимые причины этих различий.

Они утверждают, что индукция — к примеру, установление равенства между двумя величинами, когда мы заключаем, что «два» с одной стороны равны «двум» с другой, — якобы недоступна ни чувствам, ни воображению, поскольку она невидима, неосязаема и лишена конкретного существования. Безусловно, это так; однако если мы пожелаем утверждать то же самое о простом восприятии, мы сделаем это с той же легкостью. Восприятие белого и черного, равно как круглого и квадратного, само по себе не является вещью ни видимой, ни осязаемой, ни конкретной: лишь физические тела, дающие повод к этим восприятиям, и органы чувств, их обеспечивающие, обладают подобными качествами.

Онтологи соглашаются, что мы обладаем идеями о телах, поскольку наделены органами чувств; почему же они не признают и того, что мы обладаем способностью к индукции, поскольку наделены мозгом? В настоящем труде мы представили им достаточно доказательств этого тезиса. Они отказываются признать это лишь потому, что не видят самого процесса. В таком случае им следовало бы отрицать и то, что восприятие цвета осуществляется мозгом, ибо без мозга глаз не дает никакого представления о цветах; между тем, увидеть воочию, как совершается восприятие белого или черного, невозможно в той же степени, в какой невозможно увидеть и совершение феномена индукции. Однако чувственное наблюдение, обращенное на других людей так же, как и на самого себя, учит нас, что и восприятие белого, и индуктивный вывод о его отличии от черного — суть в равной мере операции мозга. Но, как мы уже показали в основном корпусе сочинения, психологи совершают ошибку, пытаясь судить о человеке лишь по своему внутреннему чувству, не давая себе труда проверить собственные суждения через опыт ощущений.

Выведя из превратно понятых функций нервной системы существование некоего начала, чуждого этой системе, онтологи-психологи возлагают на это начало всё то, что они не в силах объяснить в силу своего неведения фактов, составляющих естественную историю человека. Обособив мысль от нервной системы, они наделяют её свойствами самостоятельного существа; они вверяют ей право на достоверность, доказательство и реальность; словом, они обходятся с ней

так, будто она и есть всё в человеке. Затем они надстраивают над ней еще одну сущность, обозначаемую иным именем, по отношению к которой сама мысль становится лишь свидетельством или выражением. Таковы их гипотетические метаморфозы, и авторов ничуть не страшит их произвольность. На этом шатком основании зиждется и всё их учение о морали.

Мы говорим им: вы — лишь жертвы интеллектуальных феноменов. Вы принимаете слово, служащее для их обозначения, за саму причину этих явлений. Мы уже доказали вам это, опираясь на историю самих феноменов и их инструментов; теперь же мы представим вам доказательства иного рода. Вы утверждаете: «Этот дух, не являющийся нервной материей, именно дух воспринимает, чувствует, рассуждает, желает, предвидит и так далее». Мы же отвечаем: «Все это совершает нервная система». Вы вопрошаете: «Как же она может это делать?». Мы возражаем: «Нам это неизвестно, и мы более не стремимся это познать, ибо осознали, что это невозможно». Вы поражаетесь нашей покорности и добавляете: «А вот мы — знаем. Это происходит потому, что дух пребывает в нервной материи».

«В таком случае, — парируем мы, — покажите нам, как именно он действует».

И тогда вы берете слово и заставляете ваш дух, который не материален, действовать в точности так же, как действовал бы человек, который поистине материален; иными словами, вы лишь повторяете нам то, что мы и без вас прекрасно знаем о функциях человеческого организма. В самом деле, какие бы муки вы ни принимали, пытаясь изложить историю «действующего духа» так, чтобы она отличалась от истории «действующего человека», тождество оказывается полным. Это — воображаемый человек, которого вы помещаете в мозг, как мы уже продемонстрировали вам в настоящем труде; и этого созданного вами человека, который, по вашим словам, не имеет ничего общего с человеком материальным, но на деле отличается от него лишь навязанным вами именем, — вы заставляете его делать прежде всего то же самое, что делает человек материальный. Не знаю, замечаете ли вы это, но, дабы лишить его сходства, вы затем приписываете ему действия, которых материальный человек не совершает. То вы заставляете его действовать подобно животному, то — подобно растению; в иных же случаях — как инертное тело или некую невесомую субстанцию. Когда же вам требуется существо более возвышенное — некий гений, существо, посредствующее между Богом и людьми, — вы произвольно сосредоточиваете в нём всё, что кажется вам поразительным и необычайным как в явлениях объяснимых, так и в необъяснимых; и тогда, охваченные живым волнением, вы преклоняетесь перед этим чудом. Слов уже не хватает для вашего восторга, ибо вы распалились созерцанием собственного идола и пробудили в себе подлинные страсти.

Вот что вы делаете; и вы полагаете, что идете дальше нас. Да, вы идете дальше, но путь ваш пролегает в области гипотез и идеала. Если ныне мы очистим ваши велеречивые описания сущего от всего, что приложимо к известным нам телам;

если мы сведем ваши произвольные нагромождения качеств к тому, что поддается доказательству, то в конечном счете обнаружится следующее: либо вы не сказали о пресловутом «начале», якобы отличном от нервной системы, ничего такого, что не было бы уже сказано о самом человеке; либо же всё то лишнее, что вы добавили, не допускает никаких доказательств и может считаться лишь гипотетическим и воображаемым, если и вовсе не заслуживает именоваться абсурдным.

Мы можем заключить, что вы не сообщили ничего достоверного о том, как именно действуют способности восприятия, рассуждения и воли, и что это «как» известно вам ничуть не более, чем нам. Перейдем теперь ко второму пункту, который мы намеревались рассмотреть в данном дополнении.

Г-н Кузен недавно усовершенствовал категории Аристотеля и Канта, дабы превратить их в элементы разума, который является главным двигателем его философии. Это усовершенствование доказывает прежде всего то, что для онтологических школ разум не является феноменом, по необходимости единым, доступным чувственному наблюдению и таким, в отношении которого каждый был бы обязан согласиться; напротив, он представляет собой некую искусственную сущность, которая видоизменяется по произволу философов. Разум в том виде, в каком его мыслит г-н Кузен, открывается ему — как он мог бы возразить — через самосознание; однако в настоящем труде мы доказали, что самосознание есть лишь результат восприятий, поставляемых чувствами, как внутренними, так и внешними. Следовательно, мы имеем право подвергнуть элементы или категории французского философа проверке чувственным опытом — иными словами, исследовать, являются ли чувственные восприятия источником этих элементов и каким образом они могли их породить.

Мы будем кратки, дабы не увеличивать чрезмерно объем сего тома, тем более что можем отослать читателя к основной части сочинения. Элементы г-на Кузена суть:

1. ОТНОСИТЕЛЬНО ЧИСЛА: единство и множественность... Это идеи, истекающие: А) из воздействия органов чувств на мозг; Б) из деятельности мозга, реагирующего под влиянием чувств. Сравнения, проводимые между числами, суть индукции, кои, подобно всем возможным индукциям, также есть явления мозговой деятельности. То, как всё это происходит, остаётся неизвестным.¹⁵

¹⁵ Мы просим читателей не забывать, что точка расхождения между физиологами и спиритуалистами заключается именно в этом, и только в этом. Вот краткое резюме того, как мы рассматривали данный вопрос: мы доказали фактами, что все инстинктивные и интеллектуальные феномены суть акты раздражимости нервной системы, однако мы отказались объяснять сам механизм того, как это совершается. Мы проводим принципиальное различие между фактом порождения мысли мозгом и объяснением этого факта; в то время как спиритуалисты выводят невозможность самого факта из невозможности его объяснения и помещают в мозг некую «сущность», дабы это объяснение подменить. Мы же возражаем, что эта сущность — лишь гипотеза. В этом заключается вся

2. ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОСТРАНСТВА: оно бывает определённым (ограниченным) либо неопределённым (абсолютным). Идея определённого пространства есть результат чувственного восприятия. Идеи же неопределённого пространства как идеи простой не существует: в ней следует видеть лишь формулировку гипотетической индукции, свидетельствующую о нашем невежестве и силе привычки.

3. ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩЕСТВОВАНИЯ, его абсолютного или относительного качества... Наши чувства позволяют нам познать лишь относительное существование. Существование же абсолютное — не более чем гипотетическая индукция, рассуждать о которой невозможно, не впадая в область чистого вымысла.

4. ОТНОСИТЕЛЬНО ВРЕМЕНИ: оно бывает либо определенным, либо абсолютным, что и дает понятие о вечности... Мы получаем представление о времени через последовательность впечатлений, воздействующих на наши органы чувств, и неизменно уподобляем его линии, проведенной в пространстве — то есть, вопреки самим себе, мы его материализуем. Впрочем, не имея никакого чувственного представления о точной длительности последовательных впечатлений, из которых слагается время, мы можем рассуждать о нем лишь гипотетически. Таким образом, когда мы утверждаем, что вещи существовали всегда и будут существовать вечно, или же что они имели начало и будут иметь конец, — мы не можем привести доказательств ни в пользу первого, ни в пользу второго. Мы опираемся на две гипотезы: Первая основана на том, что, будучи не в состоянии постичь небытие, примеров которого мы не знаем, мы решаем его отрицать; Вторая зиждется на том, что мы судим о начале Вселенной по началу какого-либо отдельного тела в этой Вселенной, не задумываясь о том, что в мироздании всё есть лишь бесконечные трансформации.

5. ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМ: Они определены, ограничены, измеримы; но они обладают неким началом, которое не является ни ограниченным, ни конечным, ни измеримым... Представления о формах суть результат наших чувственных восприятий. Представление же об их начале есть индуктивный вывод, восходящий к области первопричин. Автор ничего не сказал о цветах, плотности и температуре; однако они стоят в том же ряду, что и формы, хотя мы и приписываем их объектам, внешним по отношению к тем, в которых, как нам кажется, мы их воспринимаем. Все эти понятия напоминают о восприятиях, возникших у нас одновременно с восприятием тел, воздействовавших на наши органы чувств; это восприятия, которые мы абстрагировали друг от друга, поскольку одни и те же тела воздействовали на нас разнообразными способами. Между тем, если мы изолируем их от самих тел, эти восприятия окажутся не более чем модификациями нас самих,

суть вопроса. Он подробно разобран в первой части труда, и все последующие ответы лишь напоминают о тех доказательствах, которыми мы подтвердили: (1) что мнение физиологов есть выражение фактов, (2) что мнение спиритуалистов зиждется на гипотезе.

и мы не сможем — не прибегая к гипотезе — приписать им существование, независимое от тел и нашей нервной системы.

6. ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ: Его представляют либо ограниченным, вторичным и относительным, либо абсолютным и являющимся первопричиной... Идея действия сложна; она охватывает множество явлений, которые мы познаем полно или неполно, в зависимости от того, насколько они отдаляются или приближаются к первопричине. Но здесь, как и в предыдущих категориях, мы обнаруживаем склонность судить о неизвестном по известному. Именно так — то есть путем гипотетической индукции, и никак иначе — мы формируем представление об абсолюте или о первопричине, и не можем сказать о них ничего иного, кроме как через посредство того же метода: что и побуждает мудреца воздерживаться от всяких рассуждений об их природе.

7. Относительно всех явлений, происходящих внутри и вне нас. Мы обладаем понятиями проявления, или видимости, и чего-то иного, что ими не является, — и это есть бытие в себе; таким образом, мы проводим различие между видимостью и реальностью. Это положение отличается удручающей туманностью. Можно, конечно, признать, что порой наши чувства обманывают нас относительно существования тех или иных тел; но нельзя утверждать в общем смысле, будто тела, воздействующие на наши органы чувств, суть лишь иллюзорные видимости; ибо в таком случае нам пришлось бы подвергнуть сомнению и самих себя, и мы не имели бы никакого права обсуждать этот вопрос. Что имеют в виду философы под своим «бытием», отличным от видимых проявлений? Абстрагировать бытие от проявлений в данном случае — если мы правильно поняли — означает то же самое, что абстрагировать от материи силы или первоначальную силу. Однако здесь эта абстракция применяется к самому существованию, вместо того чтобы относиться к движению и переменам формы материи. Во-первых, не имея в чувственном опыте представления о каком-либо созидании *ex nihilo* (из ничего), мы можем рассуждать о нем лишь на основе ложных аналогий; во-вторых, если речь идет о сущем, рассматриваемом в отрыве от его возникновения, нам опять-таки известно лишь то, что воздействует на наши чувства. Тела пребывают в состоянии непрерывной метаморфозы, то есть предстают перед нашими чувствами в различных последовательных образах, находясь в состоянии многообразия. Это — предел нашего знания, ибо это всё, чему нас учат чувства. Если же мы затем станем говорить о некоем неизменном бытии, которое предсуществует всем этим подвижным сущностям и главенствует над ними, то, поскольку чувства нам его не обнаружили, мы можем мыслить его лишь посредством сравнительной индукции; иными словами, мы имеем о нем лишь внутреннее чувство и можем рассуждать о нем лишь в порядке гипотезы.

8. ОТНОСИТЕЛЬНО МЫШЛЕНИЯ. Наш разум, как говорят, порождает мысли, относящиеся к тому или иному предмету, к вещам, которые могли бы и не быть; более того, он постигает сам принцип мышления, который проходит сквозь все

частные мысли, не останавливаясь ни в одной из них... Поскольку мышление является способом деятельности мозга, его постижимым принципом может быть лишь раздражимая мозговая субстанция, приводимая в действие через органы чувств, а его непостижимым началом может быть лишь Первопричина. Следовательно, лишь посредством метафоры или ложного сравнения — ибо ничто не подобно мысли — можно абстрагировать это начало и заставить его последовательно переходить от одной мысли к другой.

9. ОТНОСИТЕЛЬНО НРАВСТВЕННОГО МИРА. В нем воспринимают прекрасное и доброе, и на них неизбежно переносят категории конечного и бесконечного; здесь они принимают форму несовершенного и совершенного, идеальной и реальной красоты, святого в его неоскверненной чистоте... Выражение «нравственный мир» является иносказательным. Оно может означать лишь человеческие мысли, то есть деятельность мозга в определенных режимах в силу его раздражимости; и так как в этом участвуют восприятия, исходящие как от внутренних органов, так и от внешних чувств, эти выражения должны напоминать о совокупном действии нервной системы под влиянием всех природных факторов. Рассматриваемый таким образом, человек обладает восприятиями, которые: более или менее приятны благодаря связанному с ними общему чувству удовольствия; более или менее благоприятны для выполнения его функций самосохранения, размножения и наблюдения; более или менее способны удовлетворить испытываемую им потребность быть довольным самим собой; и в этих двух последних отношениях они по-прежнему приятны. Определения «прекрасного» и «благого» вначале приписываются телам; затем их переносят на восприятия, которые эти тела напоминают, и, наконец, на некую искусственную сущность, коей их подменяют. Затем в силу вступает привычка к гипотетическим сравнениям, побуждающая человека множить эти качества, которые он отныне персонифицировал, подобно тому как он множит пространство и время: это одна и та же интеллектуальная операция. И именно это гипотетическое приумножение заставляет его находить конечным то, что он считал бесконечным, и несовершенным то, что казалось ему совершенным. Именно оно порождает в нем абстрактные идеи святости и неоскверненной чистоты, ибо он не может поверить, что причина испытываемых им эмоций почтения и благоговения может заключаться в существах, которые не стояли бы неизмеримо выше него. Он подобен влюбленному, который обожествляет свою пассивность: самолюбие нашептывает ему, что простая смертная не могла бы внушить столь сильную страсть. Но онтолог идет еще дальше; ибо он целиком и полностью создает из бестелесных качеств, гипотетически возведенных в бесконечность, сущности, которые не представляют собой ничего иного, кроме... живого возбуждения его собственной нервной системы.

Таков же источник и нравственных идей, противоположных предшествующим; я имею в виду понятия уродства, порочности, нечистоты и осквернения. Впервые они внушаются человеку тягостными ощущениями, которые он испытывает при

отправлении своих жизненных функций, а также теми препятствиями, что возникают на пути к их осуществлению. Подобно идеям, описанным выше, им следовало бы представлять собой лишь восприятия, находящиеся в прямой связи с породившими их телами; однако, персонифицировав их в силу первого допущения, человек множит их в силу второго — точно так же, как он поступал ранее, — и доходит до крайнего уродства, до ужасающего, гнусного и нечестивого, пока избыток его внутреннего волнения не достигает такой степени, что он более не находит для него подходящих слов. Заметьте также, что мучительные эмоции множатся бесконечно чаще, нежели эмоции приятные; более того, последние при их чрезмерности сами превращаются в страдание, если только и вовсе не лишают человека всякой чувствительности. Природа добивается повиновения с помощью удовольствия и боли; но из этих двух её служителей второй — несравненно более могуществен и деятелен. Именно в этом кроется причина того, почему религиозные секты в своих пророчествах о будущем были столь изощрённо щедры на описание мучений, уготованных для преступников, и столь скудны в описании блаженств для людей добродетельных.

В этих физиологических соображениях мы находим объяснение неистовству фанатизма и изощренной жестокости пыток, изобретенных для карания цареубийства и святотатства. В самом деле, чем более люди привыкают к гипотезам, тем большую экзальтацию испытывают они в своих внутренних переживаниях. Первое гипотетическое приумножение качеств, приписываемых вымышленной сущности, порождает второе, затем двадцатое, сотое; и эмоции растут в той же пропорции, ибо именно они и послужили причиной этих гипотетических наслоений. Но так как приятные эмоции по своей длительности и мере гораздо более ограничены, нежели болезненные, то страсти, основанные на печали и гневе, всегда возносятся гораздо выше тех, в основе которых лежат радость и счастье. Вдоволь насладившись в пору быстротечной юности приумножением радостей любви — а мы знаем, сколь велика здесь роль воображаемого, — предавшись утехам стола, удовольствиям, кои сулит любопытство в поиске новых предметов, а также упоению самолюбием и прочим, человек чувствует, что в нем зарождаются иные желания. Он не утратил вкуса к прежним наслаждениям, но они более не заполняют каждое мгновение его бытия; ибо иллюзия, продлевавшая очарование любви, застольных усад, созерцания новых предметов и зрелищ или мелкого успеха, льстящего тщеславию, рассеялась под неизбежным воздействием привычки. В человеке остается еще нерастроченный избыток деятельности, который может быть направлен по самым разным путям. Однако если, к несчастью, эта энергия обращается к гипотезам о первопричинах, то человек — шаг за шагом и в силу неизбежности, вызванной противодействием со стороны тех, кто мыслит иначе, — приходит, повторимся, к нетерпимости, а зачастую и к фанатизму и свирепости. Он достигает этого состояния как во имя интересов королей или сената, так и во имя богов: ибо в основе здесь лежит всё та же изначальная абстракция, то же гипотетическое приумножение, которое управляет метаморфозами всех этих

сложных идей. Это лишь первый сделанный шаг; но как только под влиянием подобных гипотетических приумножений в вождях народов глубоко укореняются чувства, порожденные уязвленным самолюбием и следующим за ним гневом, эти эмоции начинают передаваться и распространяться далее в народных массах в силу законов подражания, чья власть безгранична: именно так жестокость охватывает целые народы. История всех наций — даже самых кротких из них, приносивших на заре своей цивилизации хотя бы несколько человеческих жертв своим богам — дает тому преизобильные доказательства. В настоящее время перед нашими глазами предстают иные свидетельства того же рода, перечислять которые излишне. Добавим лишь, что исполненные ненависти и свирепости страсти всегда находятся в прямой зависимости от раздражительности нервной системы и, следовательно, головного мозга; причина этого достаточно ясна, и именно она объясняет нам, почему южные народы всегда проявляли больше фанатизма и жестокости, нежели народы Севера.

Чтобы окончательно достичь цели, поставленной нами в данном «Дополнении», мы выведем из всех фактов и рассуждений, изложенных в настоящем труде, следующие тезисы: (1) Объяснения психологов суть лишь досужие вымыслы, не приносящие никакого нового знания; (2) У них нет никаких средств, позволяющих дать те объяснения, которые они обещают; (3) Они становятся жертвами собственных слов, коими пользуются для рассуждений о вещах непостижимых; (4) Физиологи — единственные, кто вправе авторитетно рассуждать о происхождении наших идей и познаний; (5) Люди, чуждые науке о животной организации, должны ограничиться изучением инстинктивных и интеллектуальных явлений в их связи с различными состояниями общественного устройства.

Эта область еще достаточно обширна, чтобы заполнить жизнь прилежного исследователя, и достаточно интересна, чтобы внушить ему истинное воодушевление. Историю философии, равно как и историю рода человеческого, можно составить, не выдвигая никаких предварительных предположений о том, каким именно образом развивались способности людей, коих автор обязан вывести на сцену. Все абстрактные языковые знаки могут быть использованы как формулы, вызывающие в памяти определенные жизненные картины и те или иные состояния мысли, без необходимости намеренно олицетворять эти знаки. Можно развивать чрезвычайно широкие взгляды на взаимосвязи вещей, охватывать обширную совокупность фактов, разворачивать величественно задуманный план и преподавать слушателям или читателям основательные наставления, не опираясь при этом на гипотезу об априорных знаниях. Глубокий интерес, мощные побуждения, образы пленительные и даже захватывающие, отнюдь не исчезнут лишь потому, что означенная гипотеза окажется несостоятельной. Высота чувств от этого также несколько не пострадает, ибо, с одной стороны, почтение к Верховному Двигателю ничуть не ослабнет: божественное первоначало ничего не выигрывает от того, что его облачают в человеческие атрибуты. В глазах истинного философа подобное

искажение лишь умаляет его достоинство, и рано или поздно народ неизбежно распознает в этом искусственный прием. С другой стороны, в человеке заложены достаточно мощные стимулы, побуждающие его к добру, справедливости и возвышенному, и стимулы эти — реальные; в то время как те, что иные философы пытаются привить ему через доктрину абсолютов, со временем неизбежно утратят доверие как чисто гипотетические. Речь здесь идет уже не о расчетливом личном интересе и не о жажде наслаждений как двигателях наших поступков, но о чем-то более истинном и достойном той роли, которую мы исполняем во Вселенной. Мы обретаем все начала благородства, милосердия, самоотверженности и самого величественного героизма в том инстинкте любви, что влечет нас к подобным себе, в нашей потребности в самоуважении и в том несравненном, нежнейшем удовольствии, которое мы испытываем, сознавая себя творцами, или созидателями деяний, приносящих людям счастье. Эти принципы заложены в нас; они существуют независимо от любых усвоенных или выведенных суждений об их первопричине. Они обусловлены самим устройством нашей церебральной нервной системы, в неразрывной связи с которой они и развивались; однако они соседствуют в нас с иными побуждениями, толкающими к поступкам предосудительным. Посему, вместо того чтобы воздвигать гипотезы об их первоначале или олицетворять эти инстинкты — к каковой уловке нередко прибегают люди с порочными наклонностями, дабы оправдывать свои преступления, — устремим свои силы на возвращение этих зачатков общественного и частного благоденствия. Сделать это надлежит через систему воспитания, основанную на примерах правосудия, честности, величия души и преданности человечеству и обществу. Одним словом, нам следует привить привычку творить добро: в этом нет ни обмана, ни гипотезы, ни софизма, который злонамеренный человек мог бы обернуть в пользу своих преступных наклонностей.

Париж, 17 мая 1828 года.

КОНЕЦ